Новый Журнал

94

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать восьмой год издания

Кн. 94 НЬЮ ИОРК 1969

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, March 1969
Quarterly, No. 94
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price $10. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

М. Демин — Неудачник 5
Г. Адамович — Стихи 42
Г. Газданов — Эвелина и ее друзья 45
Е. Матвеева — Стихи 53
М. Л. Толстой — Мои родители 55
И. Елагин — Стихи 89
В. Ростов — Раковый корпус 91
Д. Кленовский — Стихи 101
Н. Ульянов — На гоголевские темы 103
О. Ильинский — Стихи 113
С. Карлинский — Оперная драматургия Равеля 115
З. Шаховская — Стихи 126
А. Лурье — Наш марш 127
Г. Глинка — Стихи 143

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Дело Солженицына 145
Т. Алексинская — 1917-й год 161
Л. Шейнис-Чехова — Тургеневская библиотека 178
И. Гапанович — На юге Китая в годы войны 200
Письмо русского историка об «обновленчестве» 213

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Р. Плетнев — Новая попытка перевода «Слова о полку Игореве» 222
Ю. Мишалов — Наука и идеология 234
В. Филипп — Б. Г. Унбегаун 250
Д. Шуб — Мартов и Ленин 258

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

Р. Гуль — Владас Станка 269
Г. А. — Т.И. Алексинская 271

БИБЛИОГРАФИЯ:

Е. Таубер — Б. Зайцев. Река времен. *Ю. Иваск* — Г. Федотов. Лицо России. *Е. Климов* — А. Бенуа размышляет. *А. Небольсин* — K. Mochulsky. Dostoevsky. *В. Завалишин* — Гумилев как прозаик и критик. *О. Ильинский* — В. Одоевский. Русские ночи. *Т. Петровская* — Эстонская литература в изгнании. *Я. Б.* — В. Панова. Тредьяковский и Волынский. *С. Карлинский* — И. Легкая. Попутный ветер. *Р. П.* — Hymnologie starochorvatska. S. Wollman. Slovo o pluku Igorové. Прот. С. Ляшевский. История христианства в земле русской. *Письма в редакцию* 274

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013

420

НЕУДАЧНИК

Посвящается Татьяне

«Я много раз проходил по этой деревне, но и понятия не имел о том, что она существует на свете...»

Ярослав Гашек.

Прислонясь к окну вагона, Андрей курил, задумчиво озирая летящие мимо поля. Пустынные, пасмурные, поля простирались до самого неба; край его тлел и тускло дымился. Там, вдали, уже начиналось солнце.

Поля вращались и таяли, дымясь. Все выше распахивалось над ними ветренное небо и все яснее становилось вокруг. И вот, в зябком свете, замаячили приближаясь, косые, острые очертания крыш.

Промелькнула будка стрелочника, потянулись дощатые стены пакгаузов. Блескучая стальная колея за окном раздвоилась, раздалась вширь.

Рельсы множились, сплетались, рябили в глазах. Андрей отвернулся, загасил окурок и бережно упрятал его в карман (выбрасывать нельзя — пригодится! — там еще есть на пару затяжек). В этот момент сосед его — грузный мужчина в очках — сказал, позевывая в ладошку:

— Видать, узловая станция. Охо-хо... — Он потянулся смачно. — Едешь, едешь — скука берет. И лежать надоело, и

Московский поэт и прозаик Михаил Демин, член Союза Советских Писателей с 1959 г., остался на Западе в июле 1968 года, в Париже. «Неудачник» — его первая вещь, написанная на Западе. После смерти в 1937 г. его отца (известного советского военного времен гражданской войны) М. Демин пережил концлагерь, тюрьмы, беспризорничество, был в армии во время войны. Печататься начал с 1954 г. В СССР выпустил четыре сборника стихов и книгу прозы. Сейчас М. Демин пишет автобиографию в форме романа. РЕД.

Copyright by The New Review. New York, 1969.

смотреть тошно. Но ничего, теперь до Бахмача недолго... Верно?

Андрей молчал — думал свое. Человек в очках (большой любитель поговорить!) какое-то время возился на полке, посапывал и кряхтел. Потом спросил, придвигаясь:

У вас там, вы говорили, родственники?

— Да, — пробормотал Андрей нехотя. — Сестра.

— Ага, ну, что ж. — Сосед пожевал губами. — Поживете у сестры, посмотрите: городишко веселенький, зеленый.

Он умолк, сузил глаза; мимо, посверкивая огнями, проплыла кирпичная громада вокзала.

— Конотоп! — сказал сосед. — Ну, правильно — узловая...

«Конотоп», — Андрей вскинул голову, прислушиваясь к этому слову; знакомое и щемящее, оно пробудило в нем странную тревогу. Он сидел, напрягшись и оцепенев, и чувствовал, как все в нем наполняется протяжным легким звоном; словно бы в сердце его, где-то в самой глубине, дрогнула и тонко запела медленная струна.

— Стоянка десять минут! — объявил, проходя вдоль вагона, проводник.

Поезд крикнул, дернулся и затих. И тотчас же Андрей засуетился; казалось он дремал все это время и теперь, неожиданно, очнулся от забытья.

Торопливо набросил он на плечи телогрейку, сдернул с полки фанерный, обшарпанный сундучек; двинулся к выходу. И столкнулся в дверях с проводником.

— Эй, — сказал тот, — эй, друг, ты чего? Слезать, что-ли надумал?

— Да, да, — нетерпеливо и нехотя ответил Андрей. — Точно.

— Да ведь, чудак, твоя станция следующая — Бахмач! Или забыл?

— Знаю, — сказал Андрей, — все знаю. — Он почти не слышал проводника, не улавливал его слов; сейчас он прислушивался к себе — к тревожному голосу воспоминаний.

— Н-ну, дело твое, — сказал проводник, качнув с сомне-

нием головой. — Билет вернуть?

— Не надо.

Андрей шагнул в тамбур и потом, помедлив:

— А впрочем, — сказал, — давай. Может еще сгодится.

— Нет, милок, — усмешливо проговорил проводник, — если слезешь — хана! Больше уже не пригодится.

Он стоял, внимательно и недоверчиво изучая Андрея, щупая взглядом худые его небритые щеки, потертую телогрейку, тяжелые стоптанные сапоги.

— Ты что же думаешь — так вот, запросто, будешь с поезда на поезд сигать? Не-ет...

— Ну, нет, так нет.

Андрей отвернулся и потянул вагонную тяжкую дверь; в лицо ему ударил упругий ветер, свистнул, запорошил глаза. И уже уходя — повиснув на поручнях — Андрей услышал:

— Подозрительный какой-то тип. (Это сказал за его спиной проводник). Сидел, сидел, и здрасьте! На одну остановку раньше слезает... К чему бы это? У приличных людей так не случается.

— Он откудова едет? — отозвался другой, медлительный голос. — Не знаешь?

С севера. Из Воркуты.

— Ах так... Значит — из заключения!

— Похоже.

— С этими лагерниками завсегда волынка — я знаю.

— То-то вот и оно.

— Ты проверь, как бы он под шумок чужие вещички не приласкал...

— Я уж глядел, присматривался... Мужик вроде бы смирный.

— Они все, дьяволы, смирные — пока до дела не дойдет!

Когда поезд ушел, Андрей ощутил внезапную слабость; стало маятно и тоскливо — одному, в пустоте, на рассветном этом скользком перроне.

Он тяжело опустился на сундучок, сдавил руками помраченное лицо.

Зачем, ну зачем он слез? Во что он поверил и на что понадеялся? Прошло шестнадцать лет с тех пор как он здесь был. За это время случилось многое: война, плен, побег из плена. А затем — сибирские лагеря...

Все изменилось — он сам и, конечно же, те, кого он знал здесь когда-то. Да и живы ли они? Что с ними сталось?

Андрей шевельнулся, провожая взглядом последний, мотающийся на стрелках вагон; вот он мелькнул у семафора и сгинул-пропал за изгибом пути. Да, — подумал Андрей, — глупо. Вспомнил былое, поддался порыву, а теперь уже поздно. И нет ни билета, ни денег, ни табаку.

Он нашарил в кармане смятую недокуренную сигарету, аккуратно разгладил ее и зажег. И затянулся несколько раз — жадно, со всхлипом, обжигая пальцы и краешки губ.

Над ним, над крышей вокзала, шатались тощие тополя. В пореденых кронах шевелился сырой, рассветный ветер... Этих тополей раньше не было — он не запомнил их! Да и вокзал показался иным, вероятно, его построили уже после войны.

Но утро, когда Андрей появился здесь в первый раз, было такое же — чистое, исполненное прохлады, пахнущее росой.

Оранжевый легкий лист закружился возле Андрея и, покачиваясь и слабо шурша, прикоснулся к плечу. Андрей снял его осторожно, укусил и наморщился, чувствуя терпкую горечь осени.

Потом он медленно поднялся.

Надо идти; раз уж так получилось — колебаться бессмысленно. Придется еще раз попытать судьбу... Сколько раз Андрей испытывал ее! И нигде, ни в чем, не было ему удачи. Если вдуматься, у времени один только истинный счет — счет потерь. И все минувшие годы прошли по этому счету. А годы немалые... Тогда ему было двадцать пять, теперь — уже за сорок. Две трети прожито впустую. И зубы и волосы его давно осыпались, облетели, кончились как эта листва с тополей. И уже не осталось в душе его ни сил, ни надежд.

Но вот, что любопытно, — все повторяется в мире, все движется по замкнутому кругу. Тогда — шестнадцать лет назад — он тоже ведь ехал в Бахмач к сестре! И слез по пути,

остался, в сущности так же случайно, как и сейчас.

Он ехал в Бахмач с Востока — в отпуск — вместе с другом своим Давидом. (Оба они в ту пору работали на полярном прииске; Андрей — геологом участка, Додик — врачом в приисковой лечебнице). И оба, получив отпускные и премиальные — немалые деньги по тем временам! — они резвились и пили всю дорогу; ах, как молоды были они и веселы, и беззаботны!

И как-то утром, на станции Конотоп, Додик сказал, увязывая вещмешок:

— Слушай, старик, хочешь заглянуть ко мне, а? Погостишь, развеешься... Сестра твоя — она ведь рядом — успеешь в любой момент.

И Андрей, с минуту поколебавшись, сошел на скользкие плиты перрона.

Утро было чистое, исполненное прохлады, пахнущее росой.

Додик — маленький, сутуловатый, с мягким розовым круглым лицом — шагал, помахивая котомкой, и говорил, заглядывая Андрею в глаза:

— Тебе, Андрюша, понравится — я уверен. Дом большой, просторный, а нас всего двое: я да мама.

— А отец где же? — лениво, размышляя о постороннем, спросил Андрей.

— Видишь ли, Андрюша, отец у меня большой оригинал.

Додик говорил спокойно, тихо, с какой-то даже усмешечкой.

— Понимаешь, вышел однажды утром в магазин — за спичками... И не вернулся! Как был — без пиджака, без шапки — так и исчез. Испарился!

— И давно это случилось?

— Да уж лет семь прошло с тех пор... Я тогда как раз в институт поступал.

— За спичками!.. — Андрей помолчал в растерянности. — Черт знает, что такое!

— Поступок, конечно, странный, — сказал Додик, — но

с другой стороны, может быть, ему так было нужно? Может, его быт заедал... Он ведь в душе романтик!

— И ничего с тех пор неизвестно — где он, что с ним?

— Известно... По последним сведениям — в Москве. Работает парикмахером в цирке.

— Романтичная профессия, — пожал плечами Андрей.

Додик внезапно сказал, поднимая белесые свои реденькие брови:

— Что это мы все — обо мне да обо мне? Давай-ка о деле... Видишь эту дверь?

— Вижу, — сказал Андрей, останавливаясь возле закусочной.

— Зайдем!

— Но погоди, — пробормотал Андрей, — не лучше ли сначала...

— Нет, не лучше, — заявил Додик решительно, — никак не лучше!

Он толкнул дверь и посторонился, пропуская Андрея.

— Ты думаешь, мама не поймет? Все поймет. А уж простит — тем более... Она у меня тоже романтик!

Закусочная была тиха в этот час, пустынна и чисто прибрана; опрятные столики, сквознячок, струистые белые полосы света.

— Я вижу, мы тут — первые, — заметил Андрей, осматриваясь.

На стене, у входа, висела громоздкая, в пестром багете картина: зима, завьюженное село, лихо скачущая тройка... Здесь же — в широкой зеленой бочке — торчала чахлая пальма; она кренилась, задевая листвою багет. Додик сказал, широко поводя рукой:

— Пальмы... Снега... Россия!

Сейчас же из глубины зала, из-за стойки, выдвинулся человек — усатый, тучный, в белой замасленной куртке.

— Здрасьте, Давид Маркович, — сказал он. — С приездом! — И поклонился степенно. — То-то я слышу: знакомый вроде бы голос... Понять не могу. А это — вон кто!

— Здравствуй, Авдеич! — Додик сорвал с головы берет — поднял его приветственным жестом. — Принимай гостей!

— Милости просим.

Додик с грохотом двинул стул. Уселся плотно. Сказал, потирая ладони:

— Ну-с, начнем, пожалуй. — И потом, поворотясь к Андрею. — Насчет водочки, надеюсь, не возражаешь?

— Имеется перцовочка, — доверительно сообщил Авдеич. — Подать?

— Подай, — согласился Додик. — Графинчик для разгона! Выпьем за приезд. — Он усмехнулся. — Берцовочки... Из коленных чашечек...

— Ну и тогда уж — на закуску — жареные миндалины, — подхватил Андрей. — Еще глазные яблоки...

— Нет, — заявил Додик, — закусочка — разговор особый, тут без баловства!

Он посмотрел на Авдеича, мигнул значительно:

— Подай, дружок, пару пива и это... — Он пошевелил пальцами. — Рыбки какой-нибудь, ветчинки. И зелени, зелени побольше; сам знаешь, мы люди северные — соскучились.

— Будьте покойны, — кивнул Авдеич, — не впервой. Все мигом сделаем.

Он исчез, и явился вскоре, таща на расставленных ладонях тяжелый, переполненный поднос. Разгладил скатерть — смахнул с нее несуществующие крошки. Ловко разместил закуски. Со стуком опустил на стол объемистый, тускло и холодно поблескивающий графин.

— Рванешь с нами? — спросил Додик.

— Да уж и не знаю...

Авдеич оглянулся; дверь в этот миг распахнулась и в закусочную, топоча, ввалилась шумливая компания.

— Неудобно, вообще-то, перед клиентами. Ну, да ладно. — Авдеич потянул ноздрями воздух, принял рюмку толстыми пальцами. — Со свиданьицем, значит! — и звонко чокнулся с друзьями.

Выпили. Притихли. Андрей понюхал корочку. Авдеич вы-

тер кулаком повлажневшие усы — морщины на лбу его разгладились. Додик сказал, примеряясь вилкой к соленому огурцу:

— Хорошо пошла, проклятая... Мягенько!

— Хорошо, — хрипло выдохнул Авдеич, — я правда, не приучен так-то вот — с утра... Нет... Только разве что — за компанию.

И он заспешил к угловому дальнему столику; там уже звали его, гомонили нетерпеливо.

— Занятный мужик, — сказал Андрей.

— Глупец, — пожал плечами Додик. — С утра не приучен, видишь ли... А по-моему, если уж пить, так именно — с утра!

Он сказал это и потянулся к графину.

— По второй?

— Наливай, — весело сказал Андрей, — поехали.

Мягким, точным движением разлил Додик водку по рюмкам — сперва Андрею, потом себе — хлебнул, крякнул, тряхнул щеками.

— Именно с утра! — повторил он с придыханием. — В этом самый смак... Люди суетятся, на работу спешат, а ты сидишь себе — попиваешь, греешься... Кум королю!

— Что-то я таких не вижу, которые спешат на работу. — Андрей окинул взглядом зал. — По-моему, все уже здесь — в забегаловке.

— Что ж, — сказал Додик, — ясное дело. Такая жизнь... В чем-то ведь надо искать утешение.

И опять он повел, как и давеча, пухлой своей рукой:

— Россия!

Закусочная между тем наполнялась; хлопала дверь, гудели и дробились голоса. Стало душно, тесно, накурено. Дым взвивался над столиками и полз по залу широкими струями.

Друзья сидели обмякшие, затяжелевшие от выпитого; графин иссяк незаметно, и Авдеич, погодя, принес еще один.

Поминутно подходили какие-то люди — узнавали Додика, здоровались с ним и бойко рассаживались рядом, Андрей раз-

глядывал их и жмурился; все вокруг него качалось и плыло — заволакивалось зыбким туманом.

Потом из тумана возникло рыхлое, все в дряблых складках, распаренное лицо.

Додик сказал, придвигаясь к Андрею:

— Познакомься! Мой лучший друг — цыган. Вот только имя не помню... Алеко, что-ли? Н-нет... Слышь-ка. — Он дернул цыгана за рукав. — Тебя, милый, как зовут?

Володя, — жуя и подмигивая, отозвался цыган.

— Это ведь ты — поешь?

— Я... Кто же еще? Я здесь один. Цыганский Шаляпин, — вот как меня называют!

Ладно, Володя, ты не болтай. Спой что-нибудь.

Еще не время.

То-есть, как — не время? Тряхни кудрями.

Мы позже работаем. — Володя потянулся к ветчине. — Вечером.

— Да какой он певец, — сказал Андрей. — Гони его, Дод! Ходит тут по столикам...

— Зачем сердиться? — Цыган икнул, огладил ладонью мокрые вялые губы, смахнул с них мусор. — Если надо — лады... Ради гостя дорогого!

Брякнула гитара, зазвучала, заныла томительно. Глуховатый басок — развалистый и надрывный — запел в разразившейся тишине:

«Вечер, поле, огоньки...»

Склонясь Андрею на плечо, Додик всхлипнул, проговорил невнятно:

Уйдем, Андрюша? С табором — к чортовой матери...

Уйдем, — сказал Андрей.

На свободу!

Ладно.

Ты только вообрази: поле, огоньки. — Додик мотнул головой. — Дальняя дорога..

— Душевные слова, — сказал, раздувая усы, Авдеич. — На чистом сливочном масле.

Андрей вздохнул, прислушиваясь к песне; она сочилась

сквозь дым и гул голосов, летела над хмельным этим столиком, тревожила и звала куда-то.

— Слова, действительно, превосходные, — сказал он. — Классика.

— Еще бы! — встрепенулся Додик, — конечно! Эту песню, милый мой, сочинил Аполлон Григорьев... Да и вообще, весь цыганский эстрадный репертуар создан русскими классиками. Если бы цыгане умели сами так сочинять, будь уверен — кочевать было бы некому! Все давно бы разбежались по издательствам.

Кто-то рядом с Андреем (кажется, тоже — цыган) засмеялся, тряся животом стол. Звякнули, сталкиваясь, бутылки, повалился стакан.

Песня кончилась. Володя отложил гитару и снова, с величайшим удовольствием занялся ветчиной... Но Додик уже забыл про него, отвлекся, теперь он рассуждал о литературе; он сидел, развалясь, задрав ногу на ногу и упираясь локтем в колено. Мягкое круглое лицо его было влажно и воспалено.

— Классики! — воскликнул он. — Имена! Творения! Да, было, было... Сейчас сочинителей навалом — голова пухнет — а что толку? Мы с Андреем на прииске перерыли всю библиотеку... Скушно! Куда не ткнешься — Сафронов, Жаров, Никулин. А зарубежных мало. Одного только Ярослава Гашека нашли; им и утешались всю зиму... Мощный писатель, насмешливый, великий мастер бреда! Помните образ пьяного фельдкурата? Он едет домой и пристает к денщику своему Швейку, во хмелю принимая его за женщину: «Как поживаете, мадам?» И затем, когда денщик начинает двоиться в его глазах: «Изволите иметь уже взрослого сына?»

Вдруг он умолк — скосил глаза. На плечо его, возле самой щеки, легла узкая женская рука.

Рука легла прочно — зажала воротник в горсти. Додик вздрогнул, поглядел на нее бессмысленно, поднял голову. И сейчас же оживился, залопотал, улыбаясь:

— Варя! Вот не думал... Ну, молодец, что пришла. — Он пододвинул стул. — Садись, милая.

— Некогда мне тут рассиживаться, — строго сказала

Варя; она стояла над Додиком — светлоглазая, с тугими щеками, в легком открытом ситцевом платьице. Шея ее и голые плечи, и худые нежные руки, все было облито крепким южным загаром.

— Это что же такое, Давид? Прямо с вокзала в кабак — винище хлестать... Ай-ай!

Да мы на минутку. Только сели.

Ой, не смешите! Вы с каким поездом приехали?

С утренним, девятичасовым.

Ну, а сейчас уже одиннадцать вечера! — Варя поджала губы. — Хорошо я мимо шла — знакомых встретила... Здесь, говорят, сосед твой Додик спивается; целый день бушует! Приехал, говорят, с дружком каким-то — с золотых приисков.

— А что, — сказал Андрей высокомерно, — мы действительно — с золотых...

Деньгами, говорят, швыряются; у них денег куры не клюют.

И это верно! Не клюют.

— Всю шпану городскую вокруг себя собрали.

Варя поежилась, дернула смуглым плечиком; ей, видимо, было неловко стоять так — в чаду, в гогочущем этом зале, под мужскими липкими взглядами. Она проговорила нетерпеливо:

— Вы идете или нет? Я упрашивать не буду. Только маму вашу жаль; нынче ко мне чуть свет прибегла — изюму просила для пирогов. Теперь — ждет, убивается...

— Иду, милая, иду.

Додик огляделся, помахал рукой:

— Авдеич... Где Авдеич? Счет!

— Погоди, — быстро сказал Андрей, — плачу за все я.

— Поч-чему? — удивился Додик, — ты мой гость!

— Гостем я у тебя в доме буду, — сказал Андрей. Слабыми пьяными пальцами расстегнул он пиджак — пошуршал там, порылся, и вытащил пухлую пачку червонцев.

Варя сказала, отводя взгляд:

— И зачем только вам, идиотам, такие деньги плотют? Все равно ведь прокутите... Прахом пойдет.

— А-а-а, ерунда!

Андрей небрежно похлопал себя по груди, — по туго набитым карманам, — хрустнул бумажками.

— Знаешь сколько тут? Двадцать с лишним тысяч! Отпускные... Две премии... На все хватит. Еще и останется. Мы же ведь не алкоголики; скажи, Дод!

— О чем разговор?

Додик поднялся с усилием — низенький, сутуловатый, в помятом, залитом пивом пиджачке. Постоял так, разглядывая Варю. И вдруг спросил игриво:

— Как поживаете, мадам?

Он открыл коробку папирос — протянул ее галантным жестом: — мадам курит? — и затем, хихикая, указывая пальцем на Андрея:

— Изволите иметь уже взрослого сына?

— Хватит кривляться-то, — нахмурилась Варя. Цепко ухватила его под руку. Покосилась мельком на Андрея — обожгла его взглядом. — Идемте, идемте! Домой!

— Да, да, — сказал Додик. — Пироги с изюмом, говоришь? Ах, ч-черт... Конечно же, я скотина.

Он качнулся, выпучил глаза. И побрел, задевая столики, волоча за собой табачный дым.

Что было потом?

Странное дело, все дальнейшие события этого дня потускнели и спутались в памяти, выцвели, — как на засвеченной пленке.

Отчетливей и ярче всего, почему-то, запомнилась ему именно эта закусочная... Почему? Быть может, потому, что вот так — свободно и мирно — Андрей веселился тогда в последний раз... А может, просто оттого, что сейчас он голоден?

Он засопел, сглотнул густую вязкую слюну. Сколько времени он не ел? Суток двое — не меньше... Ну, конечно, последний заветный трешник он потратил позавчера — на степном разъезде; купил огурцов, картошек и буханку хлеба. А потом, всю дорогу, пробавлялся пустым чайком.

От этого — от мутного, пахнущего жестью, вагонного нечистого чая — Андрея мутило теперь, одолевала тошнотворная слабость.

Медленно, на ватных ногах, шагал он знакомой привокзальной улицей; озирался устало и заново переживал былое.

Вот там, на углу, они долго тогда слонялись с Додиком; шумели, тревожа тихую эту улицу. Забрели в соседний магазин. Кажется там Андрей швырял на прилавок червонцы — требовал коньяку... Что же было потом?

Память сберегла немногое — случайные, отрывочные картины: лиловый закат, испещренную тенями мостовую, зернистую сирень у Додика во дворе.

Сирень клубилась по краям двора и тяжело и густо нависала над оградой; за ней — по соседству — темнела высокая кровля Вариной хаты.

Как он попал туда — к Варе? Когда? По какому случаю? Смутно, как в полусне, увидел Андрей просторную комнату: белёные глиняные стены, цветастый коврик, мягкую, горячую, разбросанную постель.

Варя лежала недвижно, навзничь, закинув за голову худую смуглую руку и протянув другую поверх простыни. Рот ее был полуоткрыт, рубаха складками расходилась на крепкой ее груди.

Потом началось беспамятство, жаркая пустота.

Андрей очнулся трудно, захлебываясь и часто дыша словно бы вынырнув из темной воды.

Сел. Прокашлялся с натугой. Пошарил пальцами по сторонам — никого! Кровать была пуста, подушка возле него — скомкана и прохладна. А ведь здесь (он знал это, чуял кожей, нервами, всей кровью своей!) с вечера лежала женщина...

Медленно разлепил Андрей веки, протер их, провел ладонями по лицу (оно было, как чужое — оплывшее, мятое, все в испарине). Подумал, морщась от головной боли:

Куда она запропастилась? И вообще — кто она?... Нет, эти пьянки надо кончать! — Он длинно зевнул. — Закурить бы...

Был уже поздний час; в комнату сквозь тюлевые занавесочки сочилось солнце. Андрей босиком прошлепал к столу — склонился над ним, помаргивая.

Пестрая клеенка была вся в мусоре, в кислых винных пятнах. Тонко отсвечивало бутылочное стекло. Какая-то бумажка белела на краю стола — рядом с папиросной коробкой.

Он достал папиросу, постукал мундштуком о ладонь. Осмотрелся, отыскивая спички... И не найдя их, схватил торопливо бумажку — свернул и сунул в печь. (Там еще тлели угли; кажется, хозяйка что-то стряпала ночью... и вот почему так жарко было в комнате!) Потом, прикурив, Андрей потянулся с хрустом. Округляя губы, вытолкнул колечко дыма. И засмеялся, чувствуя, как легчает в груди и меркнет, отходит от глаз похмельная муть.

Нет, все-таки, жизнь — хорошая штука! Впереди — отдых, жаркое украинское лето, веселая пора... Надо только с умом все делать. Эти попойки, и в самом деле, пора кончать! Эдак в угаре, во хмелю, все на свете проворонишь... Вот — Варя... Куда она подевалась?

Андрей оделся не спеша. Вышел из хаты, на волю; в лицо ему ударил пахучий, режущий свет.

Он стал у ворот — заслонился рукавом от солнца. Денек был безоблачный, ясный, парной. Пахло сочной зеленью и нагретой пылью.

Где-то в отдалении, гулко и коротко, прокатился гром. Подул ветер и — странно! — принес запашок гари.

Из-за угла появилась женщина; она бежала, задыхаясь, хватая руками воздух. Платок ее сбился, волосы просыпались на глаза.

Она бежала по середине улицы — мимо Андрея — кричала что-то и крик ее был тонок, пронзителен, тягуч...

— Что с вами? — спросил Андрей, настораживаясь. — Что случилось?

— Что? — Женщина запнулась набегу, отбросила прядь со лба. Взглянула в упор на Андрея застывшими колючими точками зрачков. — Да ты откуда взялся-то? Не знаешь, разве?

У нее захрипело и вздулось горло.

— Война!

Война...

Теперь внезапно Андрей понял, угадал — что это за гром ему слышался только что.

По мостовой, топая и пыля, нестройно прошли солдаты. Он уловил обрывки фраз:

Утром, ровно в четыре...

— Нет, ты скажи — что же это они, сволочи, творят?!

— Соседнюю станцию разбомбили. Там нефтехранилище — знаешь? Все вдребезги.

Самолетов налетело — ой-ой. И откуда у них такая сила?

Нет, ты мне скажи...

Еще раз громыхнуло вдали и там, над горизонтом, вспухло, клубясь, косматое, грязносерое облако. Тогда Андрей поворотился круто, и побежал разыскивать друга...

— Ушел, — сообщила мать Додика, — с зари еще отправился в военкомат... Не пивши, не евши. Обещал вернуться — и нету.

Она стояла, уцепившись за дверь — седая, сухонькая, с темным, сморщенным, вздрагивающим лицом.

— И ничего с собой не взял... Если вы в военкомат пойдете — я соберу ему кое-что... — Она подняла к Андрею выцветшие глаза. — Собрать?

— Давайте, — сказал Андрей пересохшим голосом. — Только быстро!

Затем в военкомате (уже оформившись и получив назначение в саперную часть) он долго сидел, дожидаясь отправки.

Вокруг него шумел людской водоворот — шинели, пиджаки, бушлаты. Протяжно и резко звучали слова команды. Все здесь уже пахло казармой, пахло войной.

Андрей сидел, сцепив на коленях пальцы и полуприкрыв глаза. Он еще не опомнился после вчерашнего — ломило виски, одолевала жажда. Да и на душе было скверно; Додик куда-то исчез — Андрей так и не смог его разыскать... И к сестре своей не заехал, не успел с ней повидаться. Все спуталось, изменилось, и уже чувствовал Андрей, что перемена эта — надолго!

Сидящий рядом с ним парень (тоже — сапер) проговорил, позевывая:

— Чтой-то начальство наше задерживается. — Помолчал, крепко поскреб подбородок ногтями. — Пить охота — спасу нет... Сейчас пивка бы холодненького — ох хорошо! — Он покосился на Андрея. — Может, скинемся? По рублику. По рваному.

— Скинемся, — сказал Андрей. — Похмелимся напоследок.

Он полез в карман пиджака; растерянно поднял брови. Вскочил. Заморгал. Ощупал брючные карманы. Вытащил смятый рубль, и затем — повертев, помяв его в пальцах:

— Что за черт, — сказал, — где же деньги? Неужто в кабаке посеял? Или в гастрономе? Не может быть. А впрочем...

— Да ладно, — ухмыльнулся парень, — давай рубль! Чем не деньги?

— Погоди, — Андрей отер ладонью взмокший лоб. — У меня вчера было — знаешь, сколько? Двадцать три тысячи.

— Чего ж так мало? — Парень прищурился насмешливо. — Сказал бы уж — миллион...

— Я правду говорю.

— Брось трепаться, милок, — лениво проговорил кто-то сзади. И похлопал Андрея по плечу. — Эти разговорчики мы знаем... Ну, а если и в самом деле потерял — теперь жалеть нечего. Такой уж ты, видать, невезучий! О другом думай; себя жалей!

«Невезучий», — случайно оброненое это слово запомнилось ему и часто потом приходило на ум.

Да, невезучий, что ж тут поделаешь? Он думал об этом во время отступления и в первом своем бою, и в госпитале, куда его притащили после боя — контуженного, стонущего, опаленного взрывом.

Санитарный эшелон, в котором везли Андрея, неожиданно застрял на полустанке — под Харьковом и был захвачен немецким десантом.

Так началась для Андрея война.

Только раз — один лишь раз за все эти годы! — улыбнулась ему судьба, подвалила удача... И обернулась бедой.

В сорок втором, на исходе лета, Андрей бежал из плена — с этапа — и долго потом скитался в лесах, плутал и бедствовал, пока не набрел на партизан.

Там он пробыл два года. Дождался прихода регулярных частей. А затем, незадолго до конца войны, его вызвали в особый отдел — на допрос.

Следователь — сухощавый, бритый наголо, затянутый в тесный новенький китель — спросил, листая страницы «дела»:

Итак, вы утверждаете, что бежали из этапного эшелона?

Так точно.

— На ходу?

— Да. Я уже объяснял...

— Как же это у вас получилось?

— В общем-то, несложно, — сказал Андрей, пожимая плечами (с них уже были спороты погоны). — Нас везли в товарных вагонах; там, как вы знаете, пол дощатый. Ну, мы нашли гнилую доску, отодрали — и вниз...

— Сколько же человек участвовало в побеге?

— Насколько я знаю — двое. Первым шел солдат Сазонов. За ним — я. Еще был один десантник, но забоялся, ослаб в последний момент. Н-ну, а после...

— Что же случилось с Сазоновым?

— Понятия не имею...

Вы потом встретились?

Нет... По-моему, он погиб.

А вам, значит, повезло!

Выходит так.

— Н-да. — Следователь вяло пошуршал бумагами. — Повезло.. Странно — откуда такое везение... А может, все было гораздо проще?

— Что значит — проще? — забеспокоился Андрей, — как это понять?

— Не притворяйтесь, — сказал следователь. — Вы прекрасно понимаете, о чем речь! — он сказал это убежденно,

медленно отделяя слова. — Может, сами немцы помогли вам бежать... Что вы на это скажете? Это ведь старый прием. Испытанный способ. А Сазонова после устранили, как ненужного свидетеля.

Он стремительно подался к Андрею, привстал, упираясь кулаками в стол — помолчал выжидательно:

Ну? Чем вы докажете, что это не так?

— Но это явная чушь...

— А все-таки, — сказал следователь, — докажите!

Андрей поднялся смятенно. Снова сел. С хрустом сцепил на коленях пальцы; они дрожали и он никак не мог унять эту дрожь... Он чувствовал: перед ним стена! Стена, которую не поколеблешь и ни проймешь ничем. Ничем — никакими словами. Слова здесь бессильны. И уже не веря в то, что его поймут, Андрей произнес сквозь сомкнутые зубы:

— Посмотрите мой послужной список! Два года в партизанской бригаде, затем саперный батальон. Выполнял ответственные задания... Недавно представлен к награде.

— Вот эта-то награда вас и подвела, — торжествующе усмехнулся следователь. — Стали оформлять документы, навели справки — все и выяснилось. Там, в партизанском штабе, отнеслись несерьезно, прошляпили это дело. Ну, а нас не проведешь!

— Но почему, почему вы мне не верите? Почему?

А с какой стати я должен вам верить?

— Просто по-человечески...

— Это вы бросьте. Здесь не церковь, здесь особый отдел.

— Так неужели, если бы я был в плену...

— Да, — жестко проговорил следователь, — да. Кстати плена вы могли бы избежать. Мы разыскали госпитальные списки; контузия-то у вас была легонькая. Да и сам побег — он тоже странный. На полном ходу... Под колеса! И ни одного живого свидетеля.

Андрей опустил на мгновение веки, прикрыл их рукой. И тотчас же — издалека, из темных глубин — забрезжило воспоминание.

Он увидел:

Тряский, битком набитый вагон. Спящие люди, бледные пятна лиц. В зарешеченном окошке — ночная просинь, волокна дыма, холодные острые брызги звезд. Там, за решеткой, пролетают, кружась, последние версты России; эшелон идет на запад, в Польшу, в фильтрационный лагерь.

Две темные фигуры молча возятся под нарами — выламывают доску в полу. Андрей сидит поодаль, он на стреме; озирает сонный вагон, ловит каждый сторонний шорох.

Работа движется трудно. А ночь уже на переломе, синева за окошком линяет — надо спешить!

— Вы долго там, ребята? — торопливо, рвущимся шопотом спрашивает Андрей. — Не тяните.

— Готово! — отвечает Сазонов; рябое плоское лицо его лоснится от пота. — Есть такое дело!

Осторожно, стараясь не шуметь, отодвигает он доску. Устало переводит дух. Смотрит на руки: они в крови.

Рядом с ним, в полумраке, примостился десантник — курносый, жилистый, молодой. Он лежит, опираясь на локоть, вобрав голову в плечи. Потом говорит с хрипотцой:

— Что ж, братцы, пошли!

Пригибается, заглядывая в провал... И отшатывается, вздрогнув.

— Ну? — Сазонов хмурится. — Ты чего?

— Не знаю, — бормочет десантник; рот его оскален, глаза бледны и странно расширены. — Не могу...

— Но ты пойми, это — последний шанс! Другого не будет.

— Какой же тут шанс? Явное самоубийство!

— Это уж, браток, как получится. Если упасть удачно — между рельсов — вагон пройдет, не заденет, я знаю.

— Ну, а если...

— Мало-ли что! Здесь выбирать не приходится. Да и какая разница? Все равно — нехорошо.

— Нет... Не могу... Потом...

— Тогда посторонись!

Сазонов вздыхает и крестится, размазывая кровь по рубашке. Затем он скрывается в щели: только пальцы его видны

— посиневшие, судорожные, с содранными ногтями. Они слабеют, скользят, срываются во мглу...

Короткий сдавленный крик проносится в глубине, под вагоном, и глохнет в громе колес.

Теперь очередь Андрея. Он ползет под нары — мимо десантника. Парень скорчился, затих, уткнулся лицом в ладони; его бьет мелкая дрожь. Осторожно подползает Андрей к провалу — упирается руками в края и долго опасливо смотрит вниз. Там, в клубящейся тьме, в потоках черного света, мелькают шпалы, гремит и похрустывает металл.

Холодный вихрь хлобыщет в лицо Андрея, — застилает глаза, идет по коже липким ознобом. Сердце тяжко ворочается в груди, и словно бы в такт ему — гулко, грозно, стремительно — стучат на стыках колеса.

Вагон шатается и скрипит... И неожиданно, замедляет ход. Слышен долгий пронзительный гудок паровоза.

Должно быть, разъезд! — соображает Андрей. И уже не раздумывая, не колеблясь, опускается под пол в узкую щель, в гудящую, погибельную темень.

Андрей шел привокзальной улицей просторной, обсаженной тополями. В просветах меж стволами сквозило солнце; оно поднималось, разгоняя осеннюю муть, окрашивая кроны и гребни крыш. Лиловые тени роились по сторонам и текли через дорогу. День разгорался, светлел и тени делались все отчетливей. Андрей шел и думал о том, что вся наша жизнь, по существу, состоит из такой вот смены теней и света. Вся жизнь! И теней в ней больше, чем света, гораздо больше. Здесь все зависит от людей; от тех, кто нас окружает, с кем мы общаемся, с кем связаны делами или судьбой. Почему-то так всегда получается, что окружают нас, в основном, люди равнодушные, чуждые нам внутренне, а иногда и попросту — недобрые... Приятелей много, а опереться не на кого. Приятелей много, а истинных друзей почти нет! Кого он, к примеру, мог бы назвать своим другом? Додика? Да, конечно. Но ведь Додик — особый случай — он из той, редкостной породы чудаков, которых в наш практичный век почти уже и не встре-

тишь. Они вымирают, чудаки, их время кончилось! Кончилось давно; тогда была пора идеалов, теперь — идей... И люди теперь иные; деловые, суетные, бездушные. Именно, в их окружении находимся мы всю жизнь. Таково общее правило. Страшное правило! Все мы, в сущности, одиноки, — живем без просвета, бродим среди теней.

Андрей добрел до угла и свернул налево. Он помнил этот поворот и знал: где-то тут должна быть почта — громоздкое, кирпичное, двухэтажное здание. (В ту, последнюю ночь — накануне войны — Андрей заходил сюда; хотел вместе с Додиком послать телеграмму на прииск... Они долго ломились в запертые двери, бесчинствовали и шумели, и, помнится, Додик приставал тогда к ночному сторожу, оглашая воплями сонный перекресток: «Мадам курит?» «Мадам пьет бензин?»).

Сразу же за почтой — Андрей это тоже помнил отлично! — была трамвайная остановка, а дальше, шагах в десяти — додиков дом.

Почты за углом не оказалось. Здание исчезло. На месте его пестрел теперь цветник — небогатый, хилый, типично городской. Цветы росли в беспорядке, дико, окруженные мусором и песком. В ранний этот прохладный час цветник был пустынен. Пахло медом. Казалась лаковой зелень. Искрился песок, окропленный крупной росой.

Цветник был пустынен... Но кто-то уже успел пройти по нему, опередил Андрея. На сочном песке, в росяных накрапах, виднелись свежие отчетливые следы. Следы шли неровно и замысловато, они петляли, пятная песок, — словно бы неведомый этот путник искал здесь что-то. А может, просто, был пьян. — Наверное, вроде Додика, — подумал Андрей, — такой же любитель утренней выпивки...

Он пригнулся. И с удивлением понял, разглядел: человек ступал так не зря! Каждый шаг его был, по своему, расчетлив, исполнен особого смысла. Терпеливо и тщательно обходил он каждый цветок — берёг, боялся его повредить. И внезапно, идя по бережным этим следам, Андрей почувствовал странное облегчение.

Так ты, что же, совсем не пьешь?

Совсем.

Ну, хотя бы за встречу — по маленькой!

Нет, милый, нельзя. Завязал.

И давно?

Да как тебе сказать, Андрюша. — Додик поднял в задумчивости брови. — В общем-то пытался давненько, с войны еще... Но всерьез бросил в прошлом году.

— Это по какой же причине?

— По идейной! Сразу же после Двадцатого съезда, после критики Сталина. Подумал, что теперь начнется новая жизнь... Надрался, понимаешь-ли, на радостях... Ну и — свезли в психолечебницу.

Сколько ж ты там, у психов, пробыл?

Полгода.

Ну и как?

Да ничего, понравилось. Жить можно. Главное — все ясно, все на своих местах.

Андрей повертел в руках бутылку — встряхнул, посмотрел сквозь нее на свет. И отставил нехотя.

— Если уж ты завязал, — сказал он скучным голосом, — я тоже воздержусь. А то как-то неловко получается; я буду пить, а ты — смотреть, расстраиваться...

— Ничего, милый, — засуетился, замахал руками Додик, — не стесняйся! На меня эти застольные пьянки не действуют.

Что — даже и не тянет?

— Иногда тянет, конечно... Хочется... Но не так, не за столом. Вот по утрам — другое дело! — Додик улыбнулся, щуря узкие свои глаза. — Как-то раз — недавно было — просыпаюсь; на душе маятно, нехорошо. Внутренний голос мне говорит: «Сейчас ты встанешь, пойдешь в магазин, купишь бутылку водки и выжрешь ее где-нибудь в подворотне. И все будет в порядке»! Ну, я встаю, конечно... В этот момент возникает новый голос: «Ты что это, сукин сын, затеял? Или забыл о клинике? Сиди на месте». Сейчас же вмешивается еще один внутренний голос — третий. «Бросьте, ребята, — заявляет он, — о чем спор? Пускай просто так погуляет, подышит возду-

хом. И вовсе не обязательно идти к магазину, можно — в другую сторону...» Второй голос отвечает: «Да ведь в другой стороне — вокзал! Там рядом закусочная, пивные ларьки». Третий голос говорит: «Чего ты, собственно, придираешься? Я, что-ли, затеял весь этот дурацкий разговор?» Тогда опять встревает первый голос: «А ну вас, — говорит, — надоело...»

— И что же, пошел? — спросил, давясь от смеха, Андрей, — решился все-таки?

— Нет, — покрутил головой Додик, — я от этих внутренних голосов ошалел, почувствовал себя, как на профсоюзном собрании. А потом и действительно — надоело... Но ты не стесняйся, тебе можно. Пей!

— Н-ну, если так...

— Конечно, Андрюша. Не только можно — нужно! Такая встреча, все-таки!

Андрей наполнил стакан, и медленно — как пьют с усталости — вытянул из него. Затем сказал, отдуваясь и жадно жуя:

— Да, старик... Хорошо! Я признаться, когда шел сюда к тебе — сомневался: неизвестно, думаю, жив ли, нет ли...

— Жив, как видишь! — ухмыльнулся Додик. — У меня — без изменений. Судьба тихая.

Андрей пил, и разглядывал друга, и думал о том, что вот — удивительное дело! — время почти не коснулось, не изменило его; Додик был все тот же — мягкий, улыбчивый, ироничный. Только чуть пополнел, пожалуй, да еще сильнее ссутулился.

И дом этот тоже пощадило время; все здесь было как прежде, как встарь — мохнатый розовый абажурик, круглый стол, комод в углу, фотографии над диваном. Их много висело тут, этих снимков — поблекших, убранных под стекло. Надежный, все-таки, быт, — подумал с завистью Андрей, — незыблемый, тихий, уютный... Везет же Доду!

Внимание его привлекло большое, в овальной рамке семейное фото; на нем изображен был Додик (стриженный, лопоухий, совсем еще юный), мать его в вязаной шали и пожилой, с унылым лицом мужчина, в полосатом, застегнутом наглухо пиджаке.

Андрей спросил, кивнув на портрет:

Отец?

— Он, самый, — сказал Додик.

— Кстати, что о нем слышно?

— Все там же, — в цирке. Он недавно рассказывал...

— Да ну? — удивился Андрей. — Вернулся, стало-быть?

— Нет, случайно заглянул — проездом. — Додик облокотился о стол, оттянул и ослабил узел галстука. — Видишь ли, Андрюша, у него, оказывается, была давнишняя мечта: разгадать секреты Кио. Есть такой цирковой фокусник-иллюзионист, слышал, может быть? Ну, вот... Когда-то Кио гастролировал в наших краях, показывал свои дурацкие фокусы. И потряс папашу. А ведь он у меня романтик в душе.

Андрей зажег сигарету, разогнал ладонью дым. С любопытством глянул на портрет.

— Значит, ради этого он и сбежал из дома! Действительно, романтик... Ну и как — разгадал?

— Кое-что, — сказал, поигрывая бровью, Додик, — кое-что разгадал. Три фокуса — полностью. Остальные пока еще ему не ясны, но ведь время терпит.

— Сколько же лет прошло?

— Двадцать с лишним. Без малого четверть века.

— И всего лишь — три фокуса. Не густо!

— Да как тебе сказать, Андрюша... Может быть, он потом и не стремился к разоблачениям? Может, в нем еще сохранилась детская вера в чудеса, кто знает? Для романтика ведь главное — мечта... Во всяком случае, неудачником он себя не считает. Нет, не считает.

— Не то, что я, — пробормотал Андрей.

— Ну, тебя я тоже не назвал бы.

— Вот как! — Андрей прищурился, положил на скатерть кулаки. — Кто же я по-твоему? Ты, понятно, человек деликатный. Но если вдуматься...

— При чем здесь моя деликатность? — сказал с досадой Додик. С минуту он молча смотрел на Андрея — морщил лоб, размышлял о чем-то. Потом спросил, наклоняясь:

— Ты... Варю помнишь?

Варю? — Андрей рывком загасил сигарету. — Какую Варю? Ах, да, конечно...

Слабая трепетная улыбка скользнула по лицу Андрея — высветила его на миг — и угасла тотчас же.

— Да, конечно, помню... Но погоди. Я — о другом! Если вдуматься вся моя жизнь — сплошная цепь кошмаров, промахов, потерь. Я неудачник законченный, классический, можно сказать, образцовый.

— Ох, не кликушествуй, пожалуйста, — сказал Додик.

— А что? Я точно говорю.

— Промахи, потери! — Додик слабо махнул рукой. — У кого их нет? Послушай-ка. Я насчет Вари не зря спросил...

— Да погоди! — резко сказал Андрей. — Ну чего ты заладил?

Он шевельнулся, налегая на стол — двинул локтем тарелки. Сейчас же, заслышав грохот и звон, возникла в дверях седая сухонькая Додикова мама; постояла у притолоки, озирая друзей, сказала, морща губы:

— Может, горяченького пора́? У меня как раз борщ поспел — украинский, со свежей капустой...

— Да уж и не знаю, Роза Яковлевна. — Андрей обвел взглядом стол. — Здесь и так полно... Не беспокойтесь.

— Какое тут беспокойство! Кушайте, поправляйтесь.

— Давай, милая, — с готовностью согласился Додик. — Давай! Самое время! — Он покосился на Андрея. — Люблю грешным делом поесть. Да и то сказать, какие у меня теперь радости? Пить нельзя. С девушками тоже не получается — ростом не вышел... И вообще... У каждого, милый мой, свои ахинеи. Да, у каждого! Думаешь, ты — один? Кого ни возьми...

— Ну, ты не ровняй.

— А я и не ровняю. Тебе досталось, конечно, не дай Бог! Но сейчас я о всем поколении говорю. В целом. Хэмингуэй назвал свое поколение потерянным... Ну, а каково — наше? Оглядись, поразмысли: годы культа, бедствия, нищета, война.

Кстати, о войне... Ты ее как закончил — в каких чинах?

— Майор! — сказал Додик, раскидываясь на стуле. Помощник начальника госпиталя.

— Вот видишь! А меня и тут обошла фортуна.

Андрей помрачнел при этих словах, две глубокие темные складки обозначились в углах его прямого рта.

— День победы, девятого мая, встретил в пересыльной тюрьме... Ты ведь знаешь — я сидел.

Знаю, — сказал Додик.

— Откуда? — поинтересовался Андрей, — любопытно.

— Ну, милый мой, слухами земля полнится. Я же тебя разыскивал, выяснял! Но, между прочим, ты и сам мог бы написать.

Не мог, — сказал Андрей, — в том-то и дело, что не мог.

Почему?

Я все время содержался на штрафняках, — без права переписки. — Андрей сидел, опустив низко голову — стукал ногтями о край стола. — Особенно после этого довеска...

— Что еще за довесок?

— Второй срок, — пояснил Андрей. — Дополнительный... Усекаешь?

— Второ-о-ой, — протяжно и жалостно проговорил Додик. — Когда ж ты этот срок получил?

— В пятидесятом году.

За что?

— Долго рассказывать...

Но — все же?

— Ты что-нибудь слышал о сучьей войне?

— Н-нет. Хотя, постой... Это — в преступном мире, среди блатных — так, кажется?

— Точно.

— Какая-то у вас там резня была. Слышал. Но ты же ведь не вор — с какой стати?..

— Случайно, — сказал с трудно сдерживаемым вздохом Андрей. — Так уж получилось... За приятеля вступился. Я его давно знал — еще на воле, в армии. Его, понимаешь, удавить хотели; набросились, повалили... А я как раз поблизости ока-

зался — с топором. Рубил дрова. Слышу — зовет, хрипит уже...

Он умолк и распрямился, опрастывая место; перед ним на столе появилась тарелка дымящегося борща.

Роза Яковлевна сказала, придвигая сметану и хлеб:

— Кушайте, прошу вас. Сметанку кладите! Вам поправляться надо — вон какой вы худой, одни кости, это ж смотреть невозможно.

Горячий пряный пар клубился над столом — обволакивал лицо, застилал его испариной и бил по ноздрям. Андрей наморщился и чихнул; борщ был хорош — темнобагровый, мясной, затянутый тончайшей перламутровой пленочкой жира и весь осыпанный звездами укропа... Да, борщ был хорош! Но есть Андрею уже не хотелось, и он погодя сказал, задумчиво водя ложкой по краю тарелки:

— Это все дело давнее; не к чему вспоминать... Но о таком вот борще я частенько мечтал на севере. Ты только представь: темный барак, нары, на полу и по стенам изморозь. А кругом — полярная ночь... Там, в колымских лагерях, за эти харчи любого запросто убили бы.

— А... послушай-ка... — Додик утерся, перестал жевать. — Убивали часто?

— Случалось, — пробормотал Андрей.

— Страшная, все-таки, жизнь, — сказал Додик и поежился зябко. — Кровь и голод... Гос-поди!

— Страшная, — повторил Андрей, — да-а... Еслиб ты только видел... но — хватит об этом!

Он не любил и словно бы даже боялся лагерных воспоминаний, и всегда — с трудом, с предельным напряжением разговаривал на эту тему. Да и что, в самом деле, могла сберечь его память? Что было в прошлом? Кровь и голод. Додик это верно подметил! Только кровь и голод, и свирепая, отчаянная тоска... Именно этой тоски он боялся больше всего! Он знал, отлично знал: начни вспоминать, прикоснись к сокровенному, потревожь его хотя бы на миг — и потом уже не удержишь, не остановишь... Все, что таится в душе, все, что копится там — в потемках — все это сразу же всколыхнется, поднимется, властно хлынет из глубины и оживет, обретая звуки, цвета́ и запахи.

Так не раз уже случалось с Андреем. И теперь опять он ощутил, как поднимается в нем, подкатывает к самому горлу, неудержимая эта волна.

Он сидел, склонившись над тарелкой борща — плотно расставив локти, опустив лицо в ладони. Сидел так и вновь, с непостижимой отчетливостью, видел грозные отблески пламени, слышал едкий, сладковато-удушливый запах паленого мяса.

...Горела крупная скотоводческая ферма, расположенная неподалеку от лагеря, где отбывал тогда срок Андрей. (Это произошло на Колыме, в Тауйске, — в подсобном хозяйстве «Дальстроя». Об этой ферме говорили в лагере с вожделением, с тоскливой жадностью, мечтали о ней: ах, попить молочка бы, пощупать баб! Бабы там вкусные, теплые, парные. Побаловаться с ними, отвести душу — и лады, и помереть не жаль!

Она была видна, эта ферма; шиферные крыши ее маячили и манили сквозь колючую проволоку зоны. Она близка была и все же — недостижима. И вот она гибла сейчас, широко и гулко пылала во мгле. И впервые вдруг стала доступной.

Заключенных подняли поздней ночью, торопливо вывели к вахте и нарядчик объявил осипшим, спотыкающимся спросонья голосом:

— Пойдете тушить пожар! Эй, оглоеды, слышите? Тут дело такое... добровольное... Кто согласен — завтра отдыхает. Которые отказчики — выходи из строя, топай, не бойся!

Отказчиков на этот раз не оказалось; на ферму идти согласились все.

Там уже во всю неистовствовало пламя; оно клубилось, рвалось в вышину, засевало простор густыми трескучими искрами.

Пожар, судя по всему, начался давно; он охватил всю ферму, все ее постройки и ничего уже нельзя было здесь спасти...

Когда бригады еще только шли, приближаясь к ферме, оттуда доносилось мычание, глухие, странные, почти челове-

ческие стоны; это метались в огне коровы. Потом голоса их пропали, кончились... И теперь только яростный рев пожара был слышен в ночи — рев пожара, грохот рушившихся стропил, хриплые возгласы работающих заключенных.

Задыхаясь в едком дыму, люди глушили огонь и растаскивали тлеющие бревна. Они делали это с восторгом; почти повсюду — в копоти, вперемежку с углями, попадались им куски мяса, обгорелые черные клочья коровьих туш... Мясо! — это был их приз, их право, законная их добыча!

Возвращались в лагерь уже засветло — усталые, тяжело нагруженные, довольные ночным этим, случайным фартом.

Весь день в лагере шел кутеж, мясной безудержный пир, восторженное гульбище! Добыча была обильной и люди наслаждались ею; жарили мясо, варили, пекли... Слонялись по зоне отупевшие, хмельные от непривычной сытости.

Под вечер Андрей забрел в соседний барак, к приятелю, татарину Курбану; тот сидел возле печки — на корточках — раскачивался и слабо постанывал, держась ладонями за живот. На полу, у ног Курбана поблескивал опрокинутый котелок. Мутная лужа расползлась вокруг... Андрей сказал, отрыгиваясь и зевая:

— Привет, старик! Ты чего — перебрал? Ай-ай. У меня у самого эта жратва тоже вот где. — Он провел по горлу ребром ладони. — Думать о ней не могу! Но зачем же зря добро губить...

— Что ты, что ты, — забормотал, задергался Курбан, — какое тут к дьяволу, добро? — Он поднял к Андрею осунувшееся, взмокшее лицо. — Сейчас в барак надзиратель приходил — рассказывал... Там на ферме, вместе с коровами, оказывается еще и люди были. Трое... Соображаешь? Три девушки. Спасали скот и сгорели с ним вместе.

— Люди? — запинаясь, переспросил Андрей. — Так значит...

Он не договорил, осекся.

— Значит, и они тоже...

— Тоже на мясо пошли, — просто и грубо сказал Курбан.

— В котел попали... Только вот — в чей? О-о-о...

Он содрогнулся, стиснул зубы и пополз на четвереньках — минуя Андрея — к выходу.

Припомнив давнюю эту сцену, Андрей вновь почувствовал томительную дурноту. Горло его перехватила спазма. Стало трудно дышать. Он поспешно встал, выбрался из-за стола, сказал, разминая вздрагивающими пальцами сигарету:

— Пойдем-ка, Дод, покурим. Душно здесь чего-то...

Они вышли во двор —в слепящее синее сияние дня. Подувал ветерок, ворошил у изгороди плотную сирень; за ней, по соседству, темнела высокая кровля хаты... Андрей посмотрел на нее и внезапно спросил:

— Скажи-ка... А Варя — жива? Помнишь — беленькая такая.

— Наконец-то, — ухмыльнулся Додик. — Дозрел все-таки! Я тебе этот же самый вопрос весь день сегодня задавал.

— Какой вопрос?

— Насчет Вари, помнишь ли ты ее?..

— Да, да, Варя! Ну, как она? Что поделывает?

— Да ничего особенного... Тебя, дурака, дожидается.

— Меня?

— Вот именно. Тебя.

— Это как же понять?

— Да очень просто... Ждет — все эти годы!

— Ты что — серьезно?

— Вполне.

— Не надо, Дод, — сказал, понижая голос, Андрей, — не шути...

Он чиркнул спичкой — хотел прикурить — но так и не донес огня к сигарете. Он стоял, помаргивая, беспомощно опустив руки; спичка догорела, обожгла его пальцы и погасла... Новость эта ошеломила Андрея и теперь он не знал — как быть? Он словно бы раздвоился; хотел поверить Додику — ах, как хотел! — и не мог. Обрадовался — и испугался чего-то... Он сказал, выплюнув изжеванную сигарету, потирая обожженные пальцы:

— Я знаю, Дод, — тебя хлебом не корми, дай только похохмить, покривляться.

— Да нет же, я не шучу, — ответил Додик, — всё правда.

— Но — почему? Каким образом?

— А ты разве не понимаешь, — тихо и как-то даже печально спросил его Додик, — не догадываешься: почему может ждать женщина, а? Напрягись!

— Я ведь у нее был всего один раз, да и то — по пьянке. Один раз! Переспал, а утром — война. Я и лица-то ее почти не помню...

— Ну, что ж, — сказал Додик, — ну, что ж. В любви правил нет... Дело тут не в количестве...

— Да, но я и за качество не могу поручиться... Вспомни — какой я был тогда!

— Перестань! — сказал Додик, — я вижу, ты сам вдруг решил шутить. Только — неуместно!

И он тронул Андрея за рукав, и придвинулся, заглядывая ему в лицо:

— Что с тобой?

— Не знаю, — проговорил Андрей и отвернулся, пряча взгляд. — Тут, по-моему, какое-то недоразумение... Шестнадцать лет! Не верю чтоб кто-нибудь столько ждал... Так в наше время не бывает. Разве что — в стихах.

Он спорил, топорщился, но где-то уже явно начал ослабевать — уступал, смягчался помаленьку.

— И что же, — спросил он погодя, — так вот она и живет — без мужиков? Ни с кем, ничего?

— Ну, милый, это мне неизвестно! Да и какая тебе разница? До сих пор ни о чем вообще не знал, сейчас вдруг — забеспокоился... Не будь смешным!

— Вот именно, — прошептал Андрей, — этого я и боюсь...

Он разгреб ладонью сирень, тяжело оперся об изгородь и замер, застыл, пристально глядя на соседний дом. Потом спросил:

— Что же делать? Зайдем?

— Конечно, — сказал Додик, — а как же? Только — не сюда; она ведь переехала...

— Где ж она теперь?

— В другом районе. Да ты сам увидишь.

— Давно?

— С войны еще.

— Почему?

— Так я ж тебе говорю: война была. Дом ее сгорел; она сначала у нас жила, потом купила себе новый дом — с хорошей усадьбой, с вишнями... Кстати, на твои деньги! На те, — помнишь, — которые ты оставил...

— Погоди. Так значит, я у нее их оставил? — изумился Андрей, — вот чудеса-то! А ведь я думал — потерял... — Он развел руками, — ничего не помню.

— Еще бы! Ты тогда так надрался — лыка не вязал. Варя мне рассказывала... Когда мы ушли из закусочной, я сразу же завалился спать, а ты к ней пристал, потащился следом; все в гости напрашивался... Ну, она пожалела, пустила — согрела чай. А потом ты начал деньгами хвастать; вытащил их, по столу рассыпал. Она их собрала, завернула в салфетку и спрятала. А утром — уходя на работу — оставила для тебя записку на столе.

— Ах ты, черт возьми, — сказал Андрей, — ах, черт... Забавно!

— Н-да. Забавно. Но, кстати, объясни, пожалуйста: зачем ты эту записку сжег?

— Да нет же, нет, — засмеялся Андрей, — не сжег, просто — прикурил! Спичек не было, а в печке еще тлели угли. Я схватил бумажку, ну и...

— Ну и, в общем-то, Андрюша, — если вдуматься, — все, в результате, получилось неплохо. А? Признайся?

— Уж конечно. Что угодно можно было предположить, но только — не это...

Как бы то ни было, а деньги твои не пропали!

— Слава Богу, что хоть кому-то пригодились.

— Еще как пригодились! И сейчас у тебя, в сущности, есть свой дом.

— Свой дом, — повторил Андрей. Он произнес это улыбаясь, но улыбка получилась какой-то вялой, почти безрадостной; лицо его начало медленно тускнеть — напряглось, погасло, подернулось тенью.

— Свой дом... Купленный на эти деньги... Конечно! В

этом-то вся суть! Теперь ясно, почему она ждет.

— Что тебе ясно? — спросил, накаляясь, Додик; обычно мягкий, уступчивый, смешливый, он стал сейчас строгим. Неужели ты всерьез думаешь, что только деньги...

— Ну, а любовь — откуда она вдруг? С какой стати?

— Ты это у Вари спроси, не у меня... Вероятно, здесь все вместе. И то, и другое. А самое главное — жалость! Простая бабья жалость. Знаешь, что это такое? Это, брат, понадежнее любви, посильнее любых расчетов.

— Но мне жалость не нужна, — сказал Андрей.

— Нужна, милый мой, нужна! Она всем нужна; и мне, и тебе... — Додик остро, пронзительно взглянул на Андрея. — Варя как-то сказала: «Если бы Андрей ушел тогда не на фронт, а вообще, куда-нибудь — к друзьям или родственникам — я бы о нем так не вспоминала. Но ведь он в беде! Ему плохо, он одинок и никого у него нет на свете; потому и жду... Если уж человеку не повезло, пусть у него хотя бы женщина будет — просто, женщина, которая помнит и ценит, и ждет... Должна быть такая женщина — иначе и жить невозможно». Вот как она сказала! — Он прищурился, поднял палец. — Вдумайся в эти слова: «Должна быть такая женщина...» У тебя она есть — такая! А ты кощунствуешь, не веришь. Я понимаю, привык не доверять. Если бы не эти твои кошмары...

— Если бы не они, — сказал Андрей, — все вообще, было бы иначе.

Он насупился. Провел ладонью по запавшим щетинистым щекам.

— Та-ак... Ну, ладно. Какой у нее адрес?

— Пушкинская улица, девять. Это в новом районе — на другом краю города, так что идем! Не будем тянуть.

— Нет, Дод, — сказал Андрей, — я лучше пойду один.

— Я боюсь, ты не найдешь... Там что-то строят — все перегорожено, разрыто.

— Найду, — сказал Андрей. — Как нибудь!

— Ну, смотри, тебе видней. Может, действительно, так лучше... Запомни на всякий случай: дом девять — по левой стороне — зеленый забор... Прямо сейчас пойдешь?

Сейчас, — ответил Андрей.

Он шагнул к калитке, отворил ее усталым движением и затем — замявшись, вполоборота:

— У тебя есть какие-нибудь деньги? — попросил он нерешительно. — Мне бы немного — рублей тридцать...

— Господи, о чем разговор!

Торопливо, с готовностью, Додик пошарил в карманах — достал и сунул Андрею пачку смятых рублей.

— Я, ты знаешь, зубной врач... У нас монета водится, так что — не стесняйся! Держи!

Андрей сказал, пряча деньги:

— Ладно, старик. Спасибо. После отдам.

— Брось, — отмахнулся Додик. И добавил негромко. — Тебя сегодня ждать?

— Не стоит...

— Ну, желаю успеха!

Они простились. Стоя у калитки, Додик долго глядел Андрею вслед... Андрей дошел до перекрестка, потоптался там — в наплывающих сумерках — помедлил несколько. И повернул к вокзалу.

Ушел? — спросила Роза Яковлевна, появляясь в дверях.

Ушел...

— К ней?

— Не знаю. Не уверен... Он человек сложный, с комплексами. Мечется — сама понимаешь!

— Ну и куда же он — по-твоему? Вот так, налегке, без вещей? — проговорила Роза Яковлевна. — Странно... Разве что — в Бахмач? — Она усмехнулась, поджимая губы. — Всю жизнь туда едет — доехать не может.

И тотчас какая-то новая мысль поразила ее; она сказала медленно:

— Додик, а ведь он, наверное, ничего не знает? Что его сестры-то нет в живых... Ты говорил ему?

— Да как-то не пришлось. Додик смущенно поднял плечи. — Он не спрашивал, а я, признаться, забыл... С тех пор — с начала войны — столько утекло воды...

Андрей сидел в вокзальном ресторане, ждал поезда на Бахмач, прихлебывая пиво.

Пиво подали скверное, водянистое — местного производства... Лучше всего, конечно, было бы сейчас водочки — развеяться, сполоснуть душу... Но — нельзя! Нельзя, неудобно приезжать к сестре без единой копейки; пусть будут деньжонки хотя бы на мелочи, на табак.

Он закурил и, кутаясь в дым, грызя сигарету, стал вспоминать Ленинград, далекое детство, былую семью... Семья его распалась в тридцать шестом, — вскоре после убийства Кирова, — во время террора, опустошившего Ленинград, потрясшего страну.

Отца арестовали, он сгинул без вести, мать была сослана в карагандинские «женские» лагеря, а сестренка Надя — ей шел шестнадцатый год — попала в детский дом... Андрея не было тогда в Ленинграде, и это его спасло. Он был на северном Урале, в геологической партии — сдавал там зачеты, проходил институтскую практику — и узнал о случившемся от Нади из ее письма. «Квартиру нашу отобрали, — писала она, — там другие живут. Меня увезли в детдом. Таких, как я, здесь у нас много... О папе и маме ничего неизвестно... Андрей, Андрей, теперь нас только двое! Очень по тебе скучаю, но — прошу — не приезжай, не показывайся! Оставайся на севере, спрячься, пережди». Надя была права; приезжать не следовало. Но он все же приехал — тайком навестил сестренку и ему навсегда запомнилось, как они стояли в ночи, под ледяным балтийским дождиком; смотрели на окна старого их дома и плакали, обнявшись. Затем он вернулся на Урал, в Заполярье, устроился работать на прииске и там же — без отрыва от производства — заочно, закончил свой институт. С сестрой больше не виделся; эта встреча была последней... Время от времени переписывались, сообщали друг другу о всех переменах и новостях. В 1940 году Надя вышла замуж, переехала с мужем на

Украину; последнее письмо было из Бахмача. Она звала Андрея в гости, писала, что живет хорошо...

Сестра, — думал он, — Наденька! Второй раз сворачиваю с пути... Но теперь, все-равно, — доберусь, доеду. Здесь нечего делать. Теперь-то доеду — несмотря ни на что!

Мимо Андрея, шурша и постукивая каблуками, прошли две девушки. Одна сказала, небрежно поправляя белесую спутанную прядь:

— Чтой-то я, Клава, сегодня усталая... Плохо выгляжу — словно жертва империализма!

Она хихикнула, обнажая длинные, редкие зубы. Быстро — сверху вниз — посмотрела на Андрея, обласкала его взглядом. Клава проговорила хрипло:

— Еще бы — ночь не спавши... Но ничего, не тушуйся. Годишься!

Они прошли.

— Шляются тут, — ворчливо проговорил официант, прибирая соседний столик. — Как вечер, так — сюда. У этой, у белой, парня в армию взяли... Она его ждать должна. А что, стерва, делает! Что творит! Ждет! Все они так вот ждут...

Все они так ждут, — подумал Андрей, — и Варя, наверное, тоже... Подумал, и тут же устыдился. Не передергивай, — сказал себе, — не дешеви!

Андрей взглянул на часы: они показывали ровно девять. До отхода поезда оставалось пятнадцать минут. Скорей бы уж, думал он... И залпом допил остаток пива... Да, конечно, если бы за это время им хоть раз бы повидаться — все бы упростилось, встало на свое место! А теперь — что ж... Годы ушли...

Над столиком — напротив Андрея — висело круглое, в позолоченной раме, зеркало... Он привстал, вытянулся, чтоб увидеть себя. И не смог, не увидел. Зеркало висело слишком высоко; в нем отражалась лишь дальняя часть зала, вешалка, входная дверь...

. . . . . .

Дверь открылась. Андрей увидел в зеркале женщину. Она вошла и как бы замерла на мгновенье. Развязала платок — стя-

нула его с головы. Огляделась, сощурясь. И пошла меж столиков — через зал.

Андрей видел в зеркале, как она шла — неторопливо, уверенно, не глядя по сторонам. Шла сюда — к нему! И всмотревшись в ее отражение, Андрей ощутил острый толчок в сердце.

Женщина подошла к Андрею, стала перед ним. Сказала тихо:

— Ну, здравствуй.

— Здравствуй, — сказал Андрей.

Теперь он видел Варю вплотную — седеющие ее волосы, морщины у глаз, сухие подрагивающие губы. Вдруг он понял, как были глупы его недавние страхи! Он боялся ее разочарования, но она сама-то ведь давно уж не прежняя, не та молодая...

— Здравствуй, — проговорил он. — Вот уж, не ждал... Как же это ты меня узнала?

— Не знаю. Узнала — и все. Как только вошла, посмотрела...

— Да ты садись!

— Нет... — Варя прикоснулась к его щеке пальцами, сказала со вздохом. — Небритый. И рубаха грязная. Чего ж так сидеть-то? Нехорошо... Пойдем-ка лучше домой!

Она произнесла это просто, легко, так, словно они и не расставались вовсе. И повинуясь теплому этому голосу, Андрей проговорил, вставая:

— Сольвейг...

— Что? — спросила Варя.

Париж, 1969 г. ***Михаил Демин***

ПЯТЬ ВОСЬМИСТИШИЙ

1

Ночь... в первый раз сказал же кто-то — ночь!
Ночь, камень, снег... как первобытный гений.
Тебе, последыш, это уж невмочь.
Ты раб картинности и украшений.

Найти слова, которых в мире нет,
Быть безразличным к образу и краске,
Чтоб вспыхнул белый, безначальный свет,
А не фонарик на грошевом масле.

2

Нет, в юности не все ты разгадал.
Шла за главой глава, за фразой фраза,
И книгу жизни ты перелистал,
Чуть-чуть дивясь бессмыслице рассказа.

Благословенны ж будьте вечера,
Когда с последними строками чтенья
Все, все твердит — «пора, мой друг, пора»,
Но втайне обещает продолженье.

3

Окно, рассвет... Едва видны, как тени,
Два стула, книги, полка на стене.
Проснулся ль я? Иль неземной сирени
Мне свежесть чудится еще во сне?

Иль это сквозь могильную разлуку,
Сквозь тускло-дымчатые облака,
Мне тень твоя протягивает руку
И улыбается издалека?

4

Что за жизнь! Никчемные затеи,
Скука споров, скука вечеров.
Только по ночам, и все яснее,
Тихий, вкрадчивый, блаженный зов.

Не ищи другого новоселья.
Там найдешь ты истину и дом,
Где пустует, где тоскует келья
О забывчивом жильце своем.

5

«Понять-простить». Есть недоступность чуда,
Есть мука, есть сомнение в ответ.
Ночь, шепот, факел, поцелуй... Иуда.
Нет имени темней. Прощенья нет.

Но, может быть, в тоске о человеке,
В смятеньи, в спешке все договорить
Он миру завещал в ту ночь навеки
Последний свой закон: «понять-простить».

Георгий Адамович

ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ*

Я впервые услышал игру этого удивительного пианиста — это был пожилой человек с круглой головой, бритым лицом и выцветшими глазами, — в маленьком ресторане с огромными, во всю стену, окнами, над морем, на французской Ривьере. На берегу росли неподвижные пальмы, под рестораном тихо плескались невысокие волны. Был уже довольно поздний час и кроме моего столика был занят еще только один, за которым сидели двое влюбленных, атлетический молодой человек с вытатуированным якорем на левой руке и полноватая девушка лет двадцати. Пианист играл, явно не обращая на нас никакого внимания. Я думал потом, что если бы его попросили повторить еще раз ту же самую последовательность мелодии, он конечно не мог бы этого сделать — это была наполовину его собственная импровизация. Время от времени я узнавал обрывки знакомых мотивов, но они тотчас же сменялись новыми сочетаниями звуков, которых никто не мог предвидеть. Я сидел перед стаканом оранжада, в котором давно растаял лед, и тщетно старался себе представить, что именно, какое чувство непосредственно предопределило в этот вечер ту смену звуков, которой я был единственным слушателем — потому, что двое влюбленных были настолько явно поглощены иллюзией своего собственного счастья, что их впечатления были, вероятно, просто автоматическим раздражением слуха, лишенным иного значения. В небольшом заливе отражались огни извилистой дороги, на поворотах которой вспыхивали и гасли фары автомобилей. Все окна ресторана были отворены, струился теплый, ночной воздух и во всем этом была обманчивая убедительность, так, точно мир, в котором мы были осуждены жить, был чем-то похож на этот вечер над морем — пальмы, вкус холодного оранжада, запах

* См. кн. 92 «Н. Ж.».

воды и это звуковое движение под смещающимися клавишами рояля. Я слушал эту музыку и думал, что сейчас, в тысяче километров отсюда, в моей парижской квартире с наглухо затворенными ставнями, письменный стол медленно покрывается пылью и что теперь, наконец, после многих месяцев напряженной работы я могу забыть о призраках, которые столько времени и так упорно занимали мое воображение. Это были персонажи книги, которую я должен был писать и в течение этого долгого периода я постоянно был настороже, чтобы не спутать даты, не ошибиться в часе или месте, чтобы придать правдоподобность очередной насильственной метаморфозе, когда нужно было закрыть глаза, забыть обо всем, освободиться от ощущения своего собственного тела и погрузившись в далекую глубину чего-то потерянного бесконечно давно, вернуться к действительности — на несколько страниц — восьмидесятилетним стариком с хрустящими суставами или отяжелевшей женщиной, которая ждет ребенка. Теперь все это было кончено и одновременно с чувством избавления, я ощущал ту счастливую пустоту, о которой я забыл за это время и в которую сейчас вливались эти мелодии, возникавшие под пальцами пожилого человека в смокинге, сидевшего за роялем. Был уже двенадцатый час вечера, когда вдруг, — я даже машинально взглянул на часы, — до моего слуха дошло несколько аккордов знакомого романса Шумана. Но их звуковая тень скользнула и исчезла, потом опять началось что-то другое. Я подумал тогда, что самое важное сейчас было все-таки именно это — звуковое путешествие в неизвестность, над этим южным морем, в летнюю ночь, вслед за пианистом в смокинге и что все остальное — Париж и то тягостное, что было с ним связано, сейчас непостижимо растворялось — улицы, крыши, дома, — в этом небольшом пространстве, над которым возвышался стеклянный потолок. В эти часы, вне этого не существовало ничего. И в этом исчезновении огромного и далекого города было нечто одновременно сладостное и печальное. Таков был скрытый смысл того, что играл пианист. Таким во всяком случае он мне казался. Я думал именно об этом, когда в прозрачно темном четырехугольнике распахнутой стеклянной двери показалась фигура Мервиля.

Его появление здесь было для меня совершенной неожиданностью, я думал, что он в Америке; год тому назад он уезжал туда после своей женитьбы и я помнил, как он говорил мне о начале новой жизни. Я знал его давно и хорошо, мы были с ним вместе в университете, где он сдавал ненужные ему экзамены по истории философии и литературы, после чего он занялся коммерческими операциями, довольно успешными. Его склонность к отвлеченным предметам, однако, не была случайной, потому что он периодически увлекался то той, то другой теорией и это каждый раз стоило ему денег и сопровождалось обычно неприятностями. Все его существование было сменой этих бурных и чаще всего бескорыстных увлечений. Он переходил от искусства к астрономии, от астрономии к архитектуре, от архитектуры к биологии, от биологии к изучению персидских миниатюр. В ранней молодости он мечтал быть боксером, дипломатом, ученым, полярным исследователем. В результате всего этого он знал множество разнородных вещей, которые ему не удавалось соединить в одну сколько-нибудь стройную систему. Но помимо этого он всегда был верным товарищем, был неизменно щедр и великодушен и когда я как-то упрекал его за то, что он дал довольно крупную сумму денег тому, кому ее не следовало давать, он пожал плечами и ответил, что при всех обстоятельствах на похороны всегда останется, а если не останется, то это тоже неважно. Он был женат несколько раз, каждый раз неудачно и ему неизменно не везло, как он говорил, ни в браке, ни вне брака. Он никогда не хотел согласиться с тем, что главная причина этих неудач заключалась в нем самом, а совсем не в том или ином стечении обстоятельств. По отношению к женщинам он всегда вел себя так, точно для него соединить свою судьбу с той, о которой в каждом отдельном случае могла идти речь, было ничем незаслуженным счастьем. Каждой из них он внушал одну и ту же мысль — что в ней для него сосредоточены все сокровища мира, а что он сам бедный простой человек, пользующийся случайным расположением этой удивительной женщины. Такое представление, — которому он никогда не изменял и в котором, как я говорил ему, было бы, вероятно, нетрудно найти признаки клинического морального извращения, — никогда

и ни в какой степени не соответствовало действительности: он был гораздо умнее и душевно богаче всех своих женщин вместе взятых. Кроме того, у него было приятное лицо с темными и мягкими глазами, он был прекрасно сложен и силен физически и был вдобавок богат, что в его глазах не имело никакого значения, но что чаще всего играло известную роль для каждой из его жен и каждой из его любовниц. Он с таким упорством и такой настойчивостью повторял свои слова о незаслуженном счастье, что даже самые неиспорченные женщины рано или поздно поддавались его аргументации и сами начинали верить в абсурдную убедительность этих утверждений. И с той минуты, когда они проникались наконец этими мыслями, события неизменно приближались к катастрофическому завершению — в той или иной форме. Кроме того, женщин, с которыми он расходился, ждали неизбежные разочарования: очень скоро после расставания с ним они убеждались, что так, как думал Мервиль, не думал больше никто: он оставлял в их воображении прочно установившиеся представления, резко противоречившие всему, что могло их в дальнейшем ожидать. Может быть поэтому ни одна из них потом не отзывалась о нем положительно, точно мстя ему за тот длительный обман, которого она считала себя жертвой — как это ни казалось парадоксально на первый взгляд.

Я никогда не интересовался вопросом, что именно делал Мервиль и что приносило ему довольно значительные доходы. Было, однако, нетрудно себе представить, что при его всегдашней разбросанности он мог заниматься очень разными вещами одновременно. У него были дела заграницей, он часто уезжал то в одну, то в другую страну и жены его были тоже разной национальности. Последний раз, год тому назад, он женился на кинематографической артистке австрийского происхождения, очень красивой, холодной и глупой женщине, душевное убожество которой было настолько очевидно, что со стороны становилось как-то неловко за него. Но он был влюблен, говорил об Америке, о том, что ее исключительный артистический дар, которому до сих пор мешали развернуться неблагоприятные обстоятельства... Но даже его иллюзий хватило

только на несколько месяцев, после чего он расстался с ней и она, пережив два или три неудачных романа, кончила тем, что вышла замуж за какого-то чикагского промышленника, который подходил ей, вероятно, гораздо больше, чем этот вздорный человек, говоривший вещи, которых она не понимала.

Мервиля нельзя было тотчас же не узнать, в частности потому, что у него была совершенно седая голова, — она стала такой, когда ему не было еще тридцати лет, — и в темных его глазах на загоревшем лице было выражение печальной рассеянности, которое было характерно для него в те периоды, когда он еще не собирался жениться или был женат в течение сравнительно долгого времени. Я окликнул его. Он быстро подошел ко мне и у меня было впечатление, что он искренно обрадовался. Через минуту он сидел против меня, пил черный кофе и все посматривал в сторону пианиста, который продолжал играть попрежнему — небрежно и неутомимо. Я спросил его, давно ли он здесь и как его дела. Он пожал плечами и ответил:

— Ты знаешь, что состояние моих дел меня никогда особенно не волновало. Здесь я около трех недель, но это тоже неважно, — в сущности, не все ли равно, где именно быть?

И в это время, как на зло, под пальцами пианиста прозвучал целый отрывок из «Венгерской рапсодии». У Мервиля дернулось лицо — я знал это его движение еще со студенческих лет, — и он тряхнул головой. Я сказал:

— Что делать, мой милый, мне тоже иногда кажется, что мир состоит из напоминаний.

Не глядя на меня, он сказал таким тоном точно разговаривал сам с собой, не обращаясь к собеседнику:

— Самые грустные периоды в жизни, это те, когда ты ощущаешь непоправимую пустоту.

— Представь себе, что я об этом тоже только что думал, — ответил я, — какое странное совпадение. В противоположность тебе, однако, я склонен считать, что ощущение пустоты, это скорее приятная вещь. Мы с тобой об этом неоднократно говорили и, вероятно, будем еще не раз говорить. Но знаешь, о

чем я сейчас, только что, подумал? Что, повидимому, игра пианиста полна совершенно определенного содержания. Ты видишь, и у тебя и у меня она вызвала одну и ту же мысль. Мы, однако, совершенно разные люди, у нас разная жизнь и разные взгляды на жизнь и я не видел тебя больше года. Ты давно вернулся из Америки?

В прозрачном потолке сильнее темнело небо, дым папиросы растворялся и исчезал. Мервиль ответил:

— Я ошибся и на этот раз, как я ошибался до сих пор. Я вернулся в Европу три месяца тому назад. Теперь я один и я спрашиваю себя, на кой чорт я вообще существую?

— Извини меня за откровенность, — сказал я. — Мне за тебя неловко. Ты изучал искусство, биологию, астрономию, историю философии и ты не можешь выйти из очень узкого круга твоих личных чувств и делаешь наивнейшие обобщения, которые тебе непростительны. Что тебе неприятен тот или иной оборот событий или оборот твоего сентиментального фиаско, это совершенно естественно. Но что ты на основании этого склонен строить какую-то отрицательную философскую систему общего порядка — это было бы понятно, если бы ты был двадцатилетней мидинеткой, а не тем, что ты все-таки собой представляешь.

Но он был безутешен. Он говорил, что ощущения теряют свою силу, что ему все труднее и труднее вновь находить тот лирический мир, вне которого он не представлял себе счастья, что ему тридцать семь лет и остается мало времени, что душевное богатство, которое ему отпустила судьба, — если это можно назвать богатством, — подходит к концу и этот конец будет катастрофой.

— Ты мне сам говорил, что на похороны всегда останется.

— Ты считаешь это соображение утешительным?

Мы вышли из ресторана. Узкая аллея, обсаженная пальмами, вела к дороге. Под ногами трещала галька. Из стеклянного, освещенного квадрата над морем доносились слабеющие звуки рояля. Когда мы дошли до его автомобиля, он спросил:

— Ты здесь один?

Я утвердительно кивнул головой.

Поедем ко мне, — сказал он. — Я живу возле Канн. У меня тяжело на душе и я к тебе обращаюсь за дружеской помощью. Поедем ко мне, побудем вместе несколько дней. Ты мне расскажешь о своей работе.

— Хорошо, — сказал я. — Завтра утром мы вернемся в мою гостиницу, чтобы взять вещи, которые мне необходимы. На несколько дней я в твоем распоряжении.

Он жил один в двухэтажной вилле и в течение целой недели, до его отъезда в Париж, где у него были дела, мы с ним почти не расставались. Мы вместе купались и обедали, вместе гуляли и вспоминали наших товарищей по давним университетским временам. Мы говорили с ним на самые разные темы, я объяснял ему, как я работаю и как проходит моя жизнь и мне казалось, что к нему постепенно возвращалось относительное душевное спокойствие, от отсутствия которого он так страдал в тот вечер, когда я его встретил. Я лишний раз убедился в том, что никакие испытания не могли его изменить: смысл его существования заключался в потребности жертвовать своими удобствами, своим спокойствием и своими деньгами для «лирического мира», о котором он говорил и который населяли воображаемые и замечательные женщины, которым никак не удавалось окончательно воплотиться в тех, кого он встречал в действительности. Все остальное имело для него второстепенное значение. Мне со стороны было жаль, что его душевные способности и все другие его качества, чрезвычайно, как мне казалось, ценные, уходили на тщетные попытки достижения этой явно иллюзорной цели. Но это мне казалось непоправимым.

— Я готов с тобой согласиться в пессимистической оценке мира, — сказал я, — но по иным причинам. Я давно не нахожу особенного соблазна ни в чем и я не представляю себе вещей, которые могли бы мне дать то бурное чувство счастья, о котором ты говоришь, как о потерянном рае. Разница в том, что ты веришь, что тебе это счастье может дать какая-то, никогда не существовавшая и нигде не существующая, скажем, лэди Лигейя. Я лично в это верю меньше всего. Мне иногда кажется, что все вообще имеет очень ограниченную ценность,

которую мы склонны преувеличивать. Может быть, это не суждение, строго говоря, а ощущение. Я его испытываю не всегда, конечно, но довольно часто.

— Если бы все рассуждали, как ты, то не было бы ни войн, ни революций, ни подвигов, ни даже убийств. Дездемона умерла бы естественной смертью в возрасте шестидесяти или семидесяти лет. И никто не испытал бы той непередаваемой внутренней дрожи, которая охватывает тебя, когда перед четвертым актом поднимается занавес и на сцене ты видишь кровать, в которой она будет задушена.

— Другими словами, мы сохранили бы Дездемону, но потеряли бы Шекспира, — сказал я. — Но мы можем быть спокойны: эта опасность миру не угрожает.

(Продолжение следует)

Гайто Газданов

WASHINGTON SQUARE

По серому тротуару,
по земле, очень темно-коричневой,
и даже местами по траве, сильно полинявшей с лета,
подхожу к высокой, грузной арке,
у подножья которой стоит человек лет семнадцати,
оборванный, улыбающийся, слегка лохматый,
и выводит старательно на светлом камне
слово «ЛЮБОВЬ».

И проходящие люди — разные, разные,
веселые и неприветливые, темные и светлые,
взглянув на слово
немножко меняются,
как будто припоминая, что и в самом деле
следует
любить
друг друга.

Но вот остановились два
хорошо одетых господина.
Один прочел: «ЛЮБОВЬ»,
и заметил второму:
«Это, знаете, лозунг всяких этих hippies»
и пошел дальше.
Вот и люби такого.

★

Не надо громких слов
О равенстве полов,
Отрады болтунов —
Высокопарных слов.

Не надо утверждать
Свободную любовь,
Общественность пугать
Свержением основ, —

Все проще и мудрей
На солнечной земле:
Прохожего согрей
А зверя — пожалей.

В тревоге и любви
Не дорожи собой;
Безудержно живи,
Пренебрегай молвой,

Не требуй ни мольбы,
Ни клятвы, ни кольца.
Не бойся нежной быть
И щедрой до конца.

ПАРОМ

Раздробленная на куски
под колесами бредит пена.
Гневно-белая дрожь реки, —
брызгам хлещущим, откровенно
подставляю обе щеки.

Отойди от меня немного.
Не смотри на меня, не трогай;
Я еще не могу отдать
Крылатой снежности чаек,
Еще сердце вскипает, как чайник,
Блаженством существовать.

Если ты мою руку тронешь —
я забуду снега́ и вёсны,
не склоняйся ко мне: заслонишь
Пестрый, шалый, любимый космос.

Елена Матвеева

МОИ РОДИТЕЛИ*

ГЛАВА 16

Тетка моя, сестра отца, Мария Николаевна, вышла замуж очень молодой за своего троюродного брата графа Валерьяна Петровича Толстого. Они не сошлись характерами и брак этот был несчастлив. Лет через восемь после совместной жизни они разошлись.

Тетка жила долго заграницей со своими детьми затем переехала в свое имение Покровское и там очень подружилась с Тургеневым и Фетом, которые жили в своих поместьях недалеко от нее. Она кажется и познакомила моего отца с этими двумя талантливыми писателями. Характер моей тетки был очень тяжелый, она порой была очень неприятна, резка с близкими ей людьми и дочь ее Елизавета (замужем за князем Оболенским), которую она очень любила и которая также очень любила мать, часто жаловалась моим родителям, что ей тяжело бывает жить с матерью, что она постоянно к ней придирается из-за мелочей, сердится и ворчит на нее без всякого повода.

Тетка была очень образована, умна, прекрасно играла на фортепиано и внимательно следила за русской и иностранной литературой. Она, как и ее мать, увлекательно рассказывала разные истории, пересыпая свои рассказы остроумными словами и будучи очень образованной и тонкой женщиной умела заставить общество себя слушать. Она была очень религиозна в строго православном смысле, не соглашалась со взглядами отца и постоянно с ним спорила и ссорилась. Доходили эти ссоры до того, что она не простившись с отцом уезжала из Ясной Поляны, но потом в письмах друг к другу они мирились до следующего спора. Никогда они не могли прийти к какому-либо соглашению во взглядах на религию и на опрощение жизни, только в конце их жизни, когда она была монахиней их ссоры совершенно прекратились, они хотя и продолжали не соглашаться во

---

* См. кн. 93 «Н. Ж.».

взглядах на религию и на жизнь, но понимали, что оба служат одному идеалу — одному Богу.

Натура ее была страстная и нервная, несмотря на внешнее спокойствие. И вот какой необыкновенный случай, рассказывала мне моя мать, произошел с ней. Однажды в Ясной Поляне собралось большое общество и вечером после обеда, сидя за круглым столом, все весело о чем-то болтали, вдруг моя тетушка вскрикнула и резко обернулась с недовольным видом назад. «Что за глупые шутки! Кто меня так больно ударил по плечу?» — спросила она. Все на нее с удивлением посмотрели, объяснив, что никто за ней не стоял и ударить ее никто не мог. На следующий день была получена телеграмма из-заграницы, где жил ее муж, что он скончался.

Это не выдумка, а странная действительность, при которой присутствовало более двадцати человек. Многие объяснили этот необыкновенный случай ее особенной нервностью. Ее религиозные взгляды к старости все более и более убеждали ее поступить в монастырь и познакомившись с очень почтенным, всеми уважаемым старцем строгой жизни, старцем Амвросием в Оптинской Пустыне, она по его совету поступила в женский монастырь, учрежденный тем же старцем.

Взаимная любовь моего отца и тетки под конец их жизни стала еще сильнее. Привожу выдержку из письма отца, которое он пишет ей в монастырь: «1907. 10 апреля. Милый друг, Машенька. Часто думаю о тебе с большой нежностью, а в последние дни точно голос какой все говорит мне о тебе, о том как хочется, как хорошо бы видеть тебя, знать о тебе, иметь общение с тобою. Как твое здоровье, про твое душевное состояние не спрашиваю. Оно должно быть хорошо при твоей жизни. Помогай тебе Бог приближаться к Нему. У нас все хорошо, Соня здорова, бодра как и всегда».

Конец письма: «Поклонись от меня всем твоим монахиням. Помогай им Бог спасаться. В миру теперь такая ужасная недобрая жизнь, что они благой путь избрали и ты с ними. Очень люблю тебя. Напиши мне словечко о себе. Целую тебя. Брат твой и по крови и по духу — не отвергай меня. Лев Толстой».

Когда мой отец в 1910 году ушел из дома, он прямо из Ясной Поляны отправился к сестре в ее монастырь с ней проститься.

Умерла она через год после кончины отца. В конце жизни

она поборола свои недостатки и неприятный характер и тихо умерла в смирении и кротости, искренне раскаиваясь в своих грехах.

ГЛАВА 17

Я вкратце описал характеры предков отца, чтобы дать понятие от кого произошел мой отец и как он, его братья и сестра восприняли смесь характеров Толстых и Волконских. Характеры предков Толстых совершенно не схожи с характерами Волконских. Толстые были люди не выдающиеся по своему образованию, они были добрые, неглупые, гуманные, религиозные, жизнерадостные, благородные и без особых запросов жизни, совсем не жестокие, даже скорее мягкие, они жили не причиняя никому зла, и это им было совсем не трудно, благодаря добродушному и веселому их нраву — это была их натура. Им было неприятно если кто-нибудь страдал, это причиняло им страдание и чтобы самим не страдать, они предпочитали не причинять страдания людям.

Возьмем хотя бы моего прадеда Илью Андреевича. Он раздавал деньги всем кто бы ни попросил, так как ему тяжело было видеть человека огорченного отказом и давал он эти деньги, не только по безграничной доброте, но также из-за эгоизма, чтобы самому не огорчаться. Он старался не думать о последствиях своего разорения. Это, как ему хотелось думать, было далеко и еще все как-нибудь уладится, но он думал о том, чтобы не огорчиться и не причинить себе неприятность только в настоящую минуту. Это было невероятное легкомыслие, но это была его натура. Дед мой видел каждый день как его камердинер таскал у него табак, но ничего ему не говорил, чтобы не расстроить себя, смотрел на это сквозь пальцы и старался забавляться этим.

Толстые жили как большинство богатых людей того времени, соблюдая церковные праздники, принимая гостей более чем гостеприимно и не нарушая старые обычаи, заведенные веками, без которых они не могли бы представить себе иную жизнь. Религия в их жизни играла роль, но их религия была в строгом исполнении предписаний православной церкви и рассуждения были недопустимы. Так приказывала церковь — так надо поступать.

Тетка Алин, про которую я писал выше, после своей несчастной супружеской жизни всецело отдалась религии. Рели-

гия ее была так же примитивна, как и религия ее родителей. Она исполняла в точности все, что было указано православной церковью и благодаря ее духовным качествам, доброте и мягкому незлобивому характеру стала под конец жизни почти святой женщиной.

Толстые были также большие монархисты. Для них слово «царь» было сильнее закона. По их понятиям, что бы царь ни приказал должно быть исполнено, и что бы царь ни делал — все хорошо.

У моего деда Николая Ильича было какое-то восторженное обожание к царю. Если при нем кто-либо, даже самые близкие к нему люди, могли бы не только упрекнуть, но слегка критиковать распоряжение царя, дед выходил из себя и запрещал говорить, считая, что даже легкая критика умаляет достоинство и высокое положение царя. В «Войне и Мире», отец описывая моего деда в лице Николая Ростова, передает очень ярко его разговор с Пьером Безуховым, когда последний приехал из Петербурга в Лысые Горы и рассказывал о недовольстве известного слоя общества правительством, отчасти намекая на императора и что этот круг людей собирается учредить тайное общество для противодействия правительству, на что Николай Ростов резко ему возразил:

«Я вот что тебе скажу, — проговорил он, вставая, и неровными движениями уставляя в угол трубку и наконец бросив ее, — доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот, я этого не вижу, но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты, лучший мой друг, это знаешь, но составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить, ни на секунду не задумаюсь и пойду. А ты сам суди как хочешь».

Повидимому, Пьер рассказывал про начало заговора декабристов.

ГЛАВА 18

Семья Волконских была совершенно другого уклада жизни. Прадед Волконский был человек порядка, не выносил шумной беспорядочной жизни, несмотря на большое состояние был рассчетлив, бережлив и все, что ни делал, делал основательно, предварительно обдумав до мельчайших подробностей наме-

ченный план и всегда доведя до конца начатое дело. Не было случая, чтобы он хотя бы на минуту опоздал к обеду. Часы били и он входил в столовую, где уже до его прихода собирались все домашние. Беда была тому, кто приходил позднее, да это повидимому и не могло случиться, так его боялись и уважали.

Несмотря на его сильную любовь к дочери, он ее постоянно мучил, упрекая иногда в том, в чем она была совсем не виновата и придирался к ней совершенно несправедливо, страстно желая, чтобы его дочь, дочь князя Волконского, была бы совершенство, а потом сам мучился и страдал.

Он много читал, особенно французскую литературу, в некоторых отраслях, особенно в высшей математике, можно было назвать его ученым. Повидимому он не был религиозен в узком православном смысле слова, но исполнял обряды церкви, считая их необходимыми. По некоторым данным, мне кажется, что у него была своя религия, которую он никому не высказывал и таил про себя.

Дочь его была похожа во многом на отца, но в ней не было его резкой суровости, она была гораздо мягче и терпимее к людям. Она была очень умна, у ней была громадная фантазия мысли, которую она и передала своим детям, а также свои религиозные верования и искания, в особенности моему отцу.

Теперь я сделаю краткий обзор характеров братьев и сестры отца и затем перейду исключительно к характеристике отца и постараюсь вывести свой взгляд, как в них соединились у каждого по разному черты характеров их предков.

Старший дядя, Николай, соединив в себе острый ум своего деда Волконского и фантазию своей матери, не воспринял деспотического характера деда, а воспринял характер Толстых, — веселый, незлобивый и немного распущенный.

Дядя Дмитрий всецело принял характер Волконских, характер прямой, деспотический, резкий до крайности. Он не задумываясь говорил правду человеку в лицо, нисколько не заботясь нравится ли это его собеседнику или нет. У него были свои тайные мысли, которые он один в себе переваривал и повидимому не справившись с ними в конце своей жизни свихнулся. Ведя распущенный образ жизни он все-таки оставался тем же правдивым религиозным человеком.

Дядя Сергей наружностью был Толстой. Красивый, высо-

кий, элегантный и породистый, но характером был дед Волконский. Он был очень нетерпим к людям и особенно к близким, а именно к своим детям, но он не был сумрачен. Иногда на него находили очень веселые минуты, особенно когда была любимая им народная музыка, которая на него действовала благотворно — это была черта Толстых. Я убежден, что у него была его тайная душевная религия, в которую он твердо верил, так же как и его дед Волконский. Но он всегда отличался скрытностью и даже отцу, которого он очень любил, не высказывался.

Тетка моя, Маша, соединила в себе оба характера. Нрав Толстых, когда на нее находили минуты веселые и она всех очаровывала своим остроумием и веселостью, не обижая никого своей резкостью, и характер Волконских, большой ум и постоянные запросы религиозной жизни. К концу жизни сильный характер Волконских поборол все плохое и она умерла, как я писал, в монастыре в полном раскаянии и смирении. Более всех воспринял оба характера мой отец. В нем жили два совершенно различных человека. Один строгий мыслитель, мучающийся всегда неразгаданными истинами и искавший их — другой жизнерадостный, веселый, страстный и увлекающийся человек. Эти два человека всю его жизнь боролись и спорили между собой и то один брал верх, то другой. В конце жизни все-таки победил мыслитель, но и другой не пропал и часто проявлялся. Постараюсь дать читателю понятие: — борьба, которая происходила в моем отце была борьбой ума и сердца. С самого детства ему временами не нравилась его беспорядочная жизнь, и внутренняя и внешняя, и он приводил себя в порядок, написав себе расписание на каждый день и строго его исполнял. Но благодаря страстности натуры скоро срывался и все шло на смарку, он забывал благое расписание и беспорядочная жизнь начиналась снова до следующего раскаяния и нового расписания и так продолжалось всю его жизнь.

ГЛАВА 19

В 1904 году я был вызван в Ясную Поляну моим братом Андреем, чтобы с ним проститься, так как он уезжал на русско-японскую войны. Брат в это время по своей вине развелся с женой и, передав ей и детям все свое состояние, оставил себе лишь тысячу рублей. Он был очень расстроен всем происшедшим и чтобы переменить обстановку жизни решил ехать добровольцем воевать.

Вечером мой отец, который был в это время нездоров, вызвал его к себе в кабинет и начал его уговаривать не ехать на войну. «Война это зло, убийство себе подобных», говорил он, «зачем ты хочешь участвовать в этом зле, оставайся и постарайся загладить твою вину перед женой праведной жизнью».

Брат, будучи очень прямым человеком, ответил: «Что сделано, то сделано. А скажи, папа, что бы ты сделал на моем месте? Ты же уехал на войну, на Кавказ, не от хорошей жизни?» — Отец помолчав немного сказал: — «На твоем месте я бы сделал то же самое, но это неправильно и советую тебе все-таки остаться».

Сердце его говорило одно — ум другое...

Также помню, когда Порт Артур был сдан генералом Стесселем японцам — отец был невероятно подавлен и говорил: «В наше время мы взорвались бы, но не сдали бы крепость», а потом спохватившись сказал: «Я должно быть из ума выжил, конечно очень хорошо, что они сдались и перестали заниматься убийством и проливаньем крови... Какой ужас эта война, какое безумие, какой великий грех...»

Однажды отец приехал ко мне в имение, где гостила моя теща С. Н. Глебова. Это было летом и мой тесть прислал ко мне из степного имения стаю гончих для нагонки (тренировки), так как около меня были леса и выводки лисиц. С. Н. Глебова, очень непосредственная женщина, нисколько не думая, что держать большую стаю собак, лошадей, охотников не согласовалось с тогдашними взглядами отца, спросила, не хочет ли он посмотреть стаю гончих и приказала вывести собак на широкий двор перед домом. Отец вышел и искренне любовался собаками, расспрашивая доезжачего от кого произошли эти собаки и когда ему доложили, что собаки старого происхождения, потомки знаменитых собак дяди моего тестя С. М. Глебова, то он с увлечением вспоминал, как он молодым человеком участвовал в охоте на волков и глебовские гончие сгоняли (поймали) матерого волка и сам С. М. Глебов принял его из-под гончих живьем. Ему особенно понравился молодой выжлец (самец), который напомнил ему одного из прежней старой стаи и отец долго любовался им.

Затем он уехал к моей сестре Оболенской, жившей недалеко от моего имения, и уже после отъезда его в Ясную Поляну сестра мне рассказывала, что он ей говорил: — «Мне это напомнило мою молодость и охоту, но это слабость, это надо

порицать. Когда народу есть нечего, держать охоту в сто собак преступление и я жалею, что не сказал им этого и сам же как будто им сочувствовал». И он ахал и охал повидимому от того, что ум не приказал сердцу не любоваться красивыми собаками; сердце же и художественная натура не спросились ума и непосредственно напомнили ему счастливые его молодые охотничьи минуты, связанные с природой и животными, которых он так нежно любил.

Так же в 1905 году, в период первой русской революции, когда на улицах нашего ближайшего города Тулы начались ночные вооруженные грабежи, грабители останавливали прохожих, заставляя поднимать руки вверх, грабили и раздевали их, отец с возмущением говорил: «Ну, как же поддаваться им? Как не схватить за руки и не оказать противодействие?». Я помню его энергический жест, изображающий как он бы схватил их за руки. Но тут же говорил, что это не хорошо, надо по христианству отдавать последнюю рубашку и не противиться злу, что только добротой и исполнением евангельского учения можно людей сделать лучше, что зло порождает еще большее зло...

ГЛАВА 20

Он порицал людей, по его мнению праздных, а именно офицеров, помещиков, предводителей дворянства и вообще людей, занимавших административные и почетные должности. Он считал, что они, ничего не делая, заедают чужой хлеб и заставляют людей себе служить, не имея на это никакого права, но я всегда чувствовал, что эти люди, люди его круга, были ему по воспитанию и происхождению гораздо ближе и понятнее, чем та масса каких-то неизвестных людишек, которые на словах разделяли его воззрения, льстили ему, а на самом деле за глазами вели не ту жизнь, которую проповедовал отец. К сожалению, таких было много за некоторыми исключениями и эти немногочисленные исключения были люди действительно исполнявшие и слепо веровавшие в его учение.

Недаром мой дядька, Илья Васильевич Сидорков, поступивший к нам в дом, когда я еще был ребенком, и теперь еще живущий хранителем Ясной Поляны прозвал одних светлыми, других темными. Он чувствовал своей мужицкой непосредственной натурой фальшь последних. Симпатии моего отца к тем и другим были различны. По привычке с детства вращаться

среди людей своего круга, первые были ему ближе, темные же были ему чужды, хоть он старался и заставлял себя любить их, что не всегда ему удавалось.

В одном из предисловий к «Войне и Миру» на вопрос читающей публики, почему в этом произведении описываются только графы и князья, отец открыто признается в своей любви к высшим классам и предупреждает читателя, что есть еще время захлопнуть книгу и объявить автора идиотом и ретроградом.

Отец невольно любовался проходившими по улице хорошо одетыми молодцеватыми солдатами, любовался их выправкой и красотой, но через несколько часов рассказывал с радостью своим друзьям, что получил письмо от одного молодого человека, отказавшегося по своим убеждениям, от отбывания воинской повинности и сидящего в тюрьме. Он был рад за этого молодого человека, что тот пострадал по-христиански за свои убеждения, хотя и жалел его за физические страдания.

Он говорил, что все считающие себя христианами должны поступать так же. Если бы люди не убивали себе подобных, а исполняли христианское учение, как тот молодой человек, то наступило бы Царство Божие на земле и он читал горячие проповеди против солдатчины, судов и против всего государственного строя...

Выше приведенными эпизодами я старался дать понятие читателю, какая в моем отце происходила упорная постоянная борьба ума и сердца, и это не была двойственность, не было лицемерие, это не была поза, это была его страстная увлекающаяся натура, которая всегда проверялась умом.

Он часто не верил сердцу и умом порицал свои сердечные порывы. Он старался строить свою жизнь логическим мышлением исключительно руководясь своим умом, и те порывы сердца, которые у него постоянно вырывались, он не признавал за правильные, постоянно и слишком строго их анализировал больше веря уму, который, я думаю, иногда ошибался в ущерб сердечным проявлением.

Кто читал его замечательные мелкие народные рассказы «Чем люди живы», «Где любовь там и Бог», «Три старца» и другие согласятся со мной, что эти рассказы, написанные сердцем и сердцем обширным, оставляют глубочайшее впечатление. Эти рассказы идут рука об руку с Евангелием и читая их

сам себе кажешься чище и лучше. Эти рассказы тем хороши, что написаны большим художником, откинувшим сухую проповедь и выразившим учение Христа в ярких красочных образах.

ГЛАВА 21

Когда отец бывал здоров и у нас в доме не было много «темных», на него находили веселые минуты и он заражал весь дом своей веселостью. Он так заразительно смеялся, что не было возможности не смеяться с ним вместе. Помню в детстве однажды подали к обеду блинчики с вареньем. Я любил их аккуратно складывать в трубочки. Отец вдруг схватил с моей тарелки трубочку, может быть желая подразнить меня, приказал старшему брату Сергею играть на фортепиано марш и начал бегать вокруг стола, держа трубочку в руках. Мы сейчас же с радостью повставали со своих мест и бегали за ним к ужасу гувернантки и матери, которая не любила беспорядок, особенно во время обеда, но добродушно посмеивалась, радуясь на веселость мужа.

В Ясную Поляну приехали однажды четыре японца. Один из них был профессор Токийского университета, другой литератор, а остальные кажется журналисты. Их очень умный и культурный разговор заинтересовал отца и он был очень доволен их обществом. Они ему много рассказывали про японскую культуру, религию и нравы, и так как отец всегда очень интересовался Буддой, ему это было очень интересно и он с большим вниманием их слушал.

После обеда отец их расспрашивал про японскую музыку и попросил их что-нибудь сыграть или спеть. Они тотчас охотно согласились и запели японскую песню. Музыка эта была нисколько не похожа на европейскую, это были какие-то завывания, похожие на кошачьи мяуканья. Я еле удерживался от смеха, глядя на серьезное лицо профессора и остальных и на мое несчастие, взглянув на отца, увидал, что он удерживает смех, не выдержит и сейчас рассмеется. Он долго крепился и вдруг с громким смехом выбежал в другую комнату и мы за ним.

Через минуту, отсмеявшись, он вернулся обратно к гостям и начал извиняться, объясняя, что для него эта музыка столь непривычна и непонятна, что невольно возбуждает смех.

Милые японцы нисколько не обиделись, а наоборот, го-

ворили, что не на него одного их музыка наводит веселье, хотя эта песня и очень грустная, но что многие европейцы так же смеялись как он и его семья и они это понимают и нисколько не обижены.

Иногда читая вслух Диккенса, которого отец очень любил, или Гоголя и Чехова в смешных местах он не мог продолжать чтение, хохоча до слез. Часто после обеда из кабинета, куда он уходил читать, раздавался его смех, это он прочел что-нибудь смешное и он выходил с книгою в руках поделиться с семьей смешной остроумной книгой и заставлял перечесть смешное место и снова заразительно смеялся, хваля автора.

ГЛАВА 22

Отец всегда восхищался народным юмором и во время прогулок, поговорив со встречным мужиком, всегда записывал какое-нибудь меткое выражение, которое и вставлял в свои произведения, восхищаясь своеобразностью мужицкой речи.

Он часто ходил на большую дорогу, чтобы поговорить со странниками, богомольцами и прочим странствующим людом. Он всегда черпал от этих людей новые мысли и новые выражения. В одном из писем к моей матери, отец пишет: «От общения с профессорами — многословие, труднословие и неясность, от общения с мужиком — сжатость, красота языка и ясность...»

Так как Ясная Поляна была в полверсте от большой дороги, то прохожие люди заходили туда за подаянием. Их в день приходило человек 10-20 и они останавливались перед домом под 150-тилетним вязом, дожидаясь подаяния.

У моей матери была особая шкатулка, в которую собирались мелкие деньги для раздачи бедным и с тех пор как я себя помню это подаяние бедным никогда не нарушалось. Среди этих прохожих были и разорившиеся, опустившиеся люди из интеллигентного класса, которым ничего другого не оставалось делать, как ходить по большим дорогам, просить подаяния в городах и деревнях и если у них заводилась лишняя копейка немедленно ее пропивали. Эти люди подняться уже не могли и падали все ниже и ниже. В своей пьесе «От нее все качества» отец описал такого проходимца, обокравшего мужика, который его простил...

Были и профессиональные странники, идущие через всю

Россию с одного места на другое, из одного монастыря в другой, не имеющие оседлого местожительства и до того привыкшие странствовать, что не могли остановиться и в конце концов умирали где-нибудь на большой дороге. Такие странники и странницы часто посещали и временно живали у моей бабушки, тетки Алин, а также у моих родителей. Мою тетку Марию Николаевну крестила странница Мария Герасимовна. Бабушка обещала страннице взять ее в крестные, если она вымолит ей у Бога дочь...

В «Детстве и Отрочестве» отец описывает очень типичного странника, юродивого Гришу. Привожу отрывок из этого произведения: — «С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял нанковый зипун, тщательно сложил его, повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия, напротив он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны... Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться. Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на известные слова, потом повторил их, но громче и с большим воодушевлением. Слова его были не складны, но трогательны. Кряхтя поднимался и повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю.

Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы с таким выражением, как будто ожидая сейчас же ответа на свои слова. «Да будет воля Твоя», вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал как ребенок. Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование, но впечатление, которое он произвел на меня и чувство, которое возбудил никогда не умрут в моей памяти».

ГЛАВА 23

Отец часто получал разнообразные письма с просьбой о денежной помощи, но так как с переменой его взглядов на соб-

ственность он разделил все состояние между моей матерью и детьми, у него не было своих денег и кроме того он считал частную благотворительность злом. В одном из сочинений он пишет: — «Люди считают, что грабя пудами и давая ограбленным золотниками они добродетельны и не нуждаются в усовершенствовании, они делаются недоступны к добру». Но тем не менее он иногда брал у моей матери деньги, в которых она никогда не отказывала, и помогал.

Как-то он получил письмо от студента с просьбой дать ему денег — не помню точно — на учение или на что-либо другое, но это письмо показалось моему отцу и матери фальшивым, неискренним, они ему отказали, но потом на них нашло сомнение, что они ошиблись и поступили неправильно, отказав, и на следующий день послали студенту просимые деньги. Покажется письмо не натуральным — отказ, потом раскаянье, совесть мучит и деньги посылаются.

ГЛАВА 24

Я писал выше, что отцу были ближе люди его круга нежели интеллигенция, но ближе всех было ему крестьянство. Он очень хорошо знал его психологию и быт, и из всех сословий крестьяне были дороже всех его сердцу. Он идеализировал крестьян, всегда старался находить в них больше достоинств нежели недостатков, восхищаясь их трудовой и здоровой жизнью и, жалея их, старался им помочь в их борьбе за существование. Он прощал им многое.

Он любил зайти к мужику, расспросить про хозяйство, про пчел, про скотину и дóма рассказывал, как он хорошо посидел и поговорил с таким-то мужиком и какой идеал жить так работая, живя чистой правильной жизнью, не отнимая ничего от других и добывая все необходимое своими руками. С ранней юности это был его идеал, который он хотел осуществить. Во многих сочинениях у него постоянно проскальзывает эта мысль, это было его мечтой в течение всей жизни.

Вот мечты Оленина в повести «Казаки»: — «Часто ему серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю, а с казаками — в походы. Что же я не делаю этого? Чего ж я жду? — спрашивал он себя»... А вот о чем мечтает Левин в «Анне Карениной»: — «Левин часто любовался на эту жизнь, часто испы-

тывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью, но нынче в первый раз ему ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту, столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которой он жил, на эту трудовую, чистую и общую, прелестную жизнь».

Отец видел в крестьянстве божественное начало и беседуя с мужиками всегда наводил разговор о Боге и даже у преступников искал и находил доброе. Вся его идея о непротивлении злу была основана на этом: — он говорил, будь добр с человеком, будь таким каким бы ты хотел, чтобы он был по отношению к тебе и он невольно будет делаться лучше, даже если он самый большой злодей.

Однажды, возвращаясь с прогулки, он заглянул в окно одной избы. Семья этого крестьянина как и он сам были отъявленные воры, часто сидевшие в тюрьме и сын этого мужика даже был обвинен в убийстве. Вглядевшись во внутрь дома, отец увидал жену мужика и ее сына, стоящих на коленях перед иконой и молящихся. Он долго их наблюдал и когда они кончили молитву тихо ушел незамеченный ими.

«Какое право вы имеете их судить?» — спрашивал отец за обедом у своего друга, прокурора суда, который часто гостил в Ясной Поляне. — «Их сам Бог рассудит, а не люди своим неправильным судом... Вы не можете себе представить какое одухотворенное выражение было у этой бабы и ее сына, это была и просьба у Бога о прощении и раскаяние в грехах и видно было как сильно они переживали эту молитву...» Прокурор возражать не стал, но повидимому не соглашался с тем, что воровство и убийство должны быть оправданы и ненаказуемы.

ГЛАВА 25

Во многих произведениях отца есть два типа. Один, живущий по Евангелию и постоянно напоминающий другим, что надо жить по-Божески и своим примером доказывающий это. В народных рассказах отца это тип крестьянина пожилого, невзрачного на вид, не умного, но мудрого, с большим духовным основанием.

Другой — молодцеватый, сильный, красивый, без духовных основ, но в конце жизни часто раскаивающийся в своих грехах и меняющий свою порочную жизнь на хорошую — Божескую.

Особенно ярко эти два типа людей описаны в драме «Власть Тьмы», где Никита совершает ряд преступлений, пьянствует и не слушает наставлений своего отца Акима, который постоянным напоминанием о Боге старается направить сына на хорошую правильную жизнь. Кончается эта драма тем, что на свадьбе соблазненной им девушки, ребенка которой он задушил, Никита кается в своих преступлениях перед народом и полицейскими к великой радости своего отца, Акима, считающего, что сын поступил хорошо и должен пострадать за свои грехи.

В «Казаках» отец любуется молодым красивым, лихим казаком Лукашкой и старым дядей Ерошкой, который рассказывает Оленину проказы своей молодости: угон скота и лошадей у чеченцев, набеги на горские аулы, веселое беззаботное житье с вином, гуляньем, похищенными казачками и так далее...

Сердцу отца была близка непосредственность этих людей, которой он восхищался в брате Сергее. Многие герои его, как Вронский и Облонский в «Анне Карениной», Наташа Ростова и даже Анатоль и Долохов в «Войне и Мире», Турбин-отец, в «Двух Гусарах» и многие другие были ему милы, несмотря на его отрицательное к ним отношение. Он любил в них их веселость, удальство, внешний красивый облик, физическую силу. Сердцем он ими любовался, но умом порицал. В сущности эти оба типа жили в моем отце, постоянно борясь друг с другом.

Строгая нравственная жизнь, к которой он стремился всю жизнь, была его идеалом, но страсти, особенно в молодые годы, несли его помимо его воли к жизни разгульной, светской, к карточной игре, к кутежам. Сознание дурного заставляло его останавливаться. В мучительном раскаяньи он прекращал беспечную жизнь, ставил себя в рамки, стараясь перейти к целомудренной чистой жизни.

Почти во всех произведениях, особенно последних, отец красной нитью проводил свою основную мысль, что надо жить не для своих нужд, а для Бога, для своих ближних. В его прекрасном рассказе «Чем люди живы», Матрена увидя пришедшего навеселе мужа, приведшего постороннего голого человека, на которого ее муж надел последний кафтан, озлобилась, что надо кормить еще лишний рот, когда у нее и на семью не хватает, встретила мужа и странника ругательствами, но затем,

взглянув на странника и увидав его жалкое страдальческое лицо, смягчилась, у нее отлегло от сердца, злоба прошла, заменилась жалостью и она поставила на стол ужин. Отец считал, что если злоба заменялась жалостью, то Бог прогонял черта из сердца человека и заступал его место.

В рассказе «Хозяин и Работник» купец Брехунов во время метели, лежа на своем замерзающем работнике Никите, стараясь обогреть его своим телом и шубой, вспоминает свою порочную жизнь: обманы, обвесы покупателей для собственной наживы, он слышит голос Бога, призывающего его, понимает, что вся его предыдущая жизнь была нехороша и ненужна и раскаивается; ему делается легко на душе и он умирает засыпанный снегом, спасая жизнь своего работника Никиты, который остался жив.

ГЛАВА 26

Мне хочется написать и указать читателю, как многие даже из интеллигентного класса не понимали философию и умозаключения моего отца. Вот, например, эпизод.

Помню это было в 1907 году. Приехали в Ясную Поляну приват-доцент Московского университета и с ним человек десять студентов. Они хотели поделиться с моим отцом своими взглядами на мировую и в частности на русскую политику. Я присутствовал при этом разговоре. Начал говорить приват-доцент и объявил отцу, что он и присутствующие студенты социал-демократы приехали поделиться своими взглядами с ним таким же социал-демократом. Отец выразил большое удивление, что они причисляют его к своей партии и прервал речь профессора. «Извините меня, что я вас прерываю», сказал он, «но почему вы думаете, что я социал-демократ? Я им никогда не был и не могу вам сочувствовать, т. к. не разделяю ваши взгляды. Повидимому вы никогда не читали мои философские сочинения, что считаете меня своим единомышленником. Мои взгляды — это проведение в жизнь учения Христа». — «Но ведь вы же не признаете существующий государственный строй, порицаете его?» — возразил приват-доцент. — «Да, я его порицаю и не признаю», — ответил отец, — «он противен Евангелию. Основа же вашего учения исключительно устройство материальной жизни и идет так же как и всякий государственный строй вразрез с учением Христа. Во имя социального равенства людей, вы возбуждаете между ними вражду классов

и не даете человечеству духовной жизни. Если вы интересуетесь моими взглядами, то я вам дам мои статьи, которые вы прочтете и тогда мы поговорим. В настоящую же минуту мы стоим на двух разных полюсах и нам трудно говорить».

Профессор и студенты простились с отцом и хотели уехать, но моя мать, как всегда, пригласила их в столовую, сытно их накормив. Они за столом жаловались матери, что Лев Николаевич не хотел их выслушать и уехали опять в Москву очень неудовлетворенные этим коротким разговором. Впоследствии никто из них не появлялся в Ясной Поляне.

Мне кажется мало кто понимал моего отца. Многие считали его не тем, что он был и переделывали его взгляды на собственный лад. Отец никогда не состоял ни в одной партии и считал всякую партию злом, но его смело можно было бы назвать христианином-анархистом. Вспоминаю приезд двух дам очень нарядно одетых, которые заявили, что хотят видеть отца. Их провели в библиотеку и вскоре после этого к ним вышел отец. Поздоровавшись, он спросил чем может служить, что привело их к нему и какие вопросы их интересуют. Они внимательно на него смотрели и затем ответили, что никакие вопросы их не интересуют, а они просто приехали на него посмотреть, как на знаменитость.

Отец, улыбнувшись, спросил довольно ли они насмотрелись и может ли он уйти? Они ответили, что очень ему благодарны за то, что он доставил им это большое удовольствие и что они могут теперь уехать с легким сердцем и всем рассказывать, что видели и разговаривали с знаменитым Толстым.

Отец добродушно об этом рассказывал, предпочитая таких посетителей людям его не понимающим и агрессивно спорившим с ним не по существу. Это его утомляло. В Ясную Поляну постоянно кто-нибудь приезжал, это был какой-то калейдоскоп людей различных по своему положению, образованию, национальности и взглядам. Приезжали французы, шведы, англичане, американцы, итальянцы и т. д. Со всеми мой отец обменивался взглядами и всегда живо входил в интересы и внутреннюю жизнь того с кем говорил, иногда горячо споря, иногда радуясь, что его собеседник высказывал взгляды близкие к его убеждениям.

Помню приезд Ломброзо, который долго доказывал отцу свою теорию преступности, с которой мой отец не соглашался.

Довольно любопытный случай произошел с ним. Мой отец предложил пойти купаться и они пошли к реке. С ними вместе пошел купаться один молодой человек, гостивший часто в Ясной Поляне, которого наша семья знала с детства и очень любила. Это был молодой юрист, интересовавшийся выводами о преступности и учением Ломброзо.

Придя в купальню отец разделся и, прыгнув в воду в глубокое место, как он имел обыкновение это делать, поплыл. Ломброзо сделал то же самое, но не умея плавать и не предполагая, что река глубокая начал захлебываться и тонуть. Отец вытащил его из воды очень перепуганного и наглотавшегося воды. К счастью, все обошлось благополучно и они втроем вернулись домой, горячо разговаривая и споря.

После завтрака отец ушел к себе и через несколько минут услыхал стук в дверь. Он попросил войти и увидал очень взволнованного Ломброзо, который ему сообщил следующее: «После завтрака я обнаружил пропажу денег — 250 рублей из моего бумажника. Так как ходили купаться вы, я и этот молодой человек, то кто-то из нас взял деньги. Я себя обокрасть не мог, вы вне подозрения, а молодой человек, у которого я заметил преступные знаки на голове, единственный из нас кто мог это сделать. Кроме того он спешно уехал в Москву, что подтверждает мои подозрения. Отец очень возмутился и, уверяя Ломброзо, что молодой человек ему давно известен, что он не мог совершить такой поступок и что тут наверное недоразумение, просил Ломброзо поискать эти деньги у себя в другом месте, но Ломброзо стоял на своем и начал снова доказывать свою теорию.

В тот же день Ломброзо уехал в Москву, а на следующий день отцом была получена от него телеграмма, что он просит его извинить за доставленную неприятность, так как деньги он нашел в другом бумажнике и напрасно обвинил нашего гостя. Отец был этому очень рад и долго смеялся над теорией итальянского ученого.

ГЛАВА 27

Отец очень увлекался мыслями американского писателя Генри Джорджа об едином земельном налоге и считал его теорию вполне правильной и применимой к жизни. Он всеми силами старался распространить эти мысли и даже писал письмо

Столыпину, тогдашнему премьер-министру с приложением брошюры, рекомендуя провести в жизнь единый земельный налог. Отец был в деятельной переписке с Генри Джорджем и их взгляды были очень близки. Очень интересно письмо отца к редактору издания «Посредника» о его американском друге Кросби — единомышленнике Джорджа.

«Ясная Поляна, 1907, декабрь. Очень рад случайно вспомнить о моем общении с этим прекрасным человеком — Кросби. Первое знакомство мое с ним было письменное. Он прислал мне из Египта, где он был судьею, довольно большую сумму денег для пострадавших от неурожая. Я отвечал на его письмо и скоро он сам приехал.

К стыду моему помню, что несмотря на привлекательную личность Кросби я в своем суждении не выделил его из обычных американских посетителей, руководящихся в своих посещениях только моей известностью. Помню, однако, что его вопрос, прямо обращенный ко мне, удивил меня. Мы шли, как теперь помню, из старого дубового леса. Это было летним вечером. Он сказал: «Что вы мне посоветуете делать теперь, вернувшись в Америку?»

Это был вопрос до такой степени выходящий из обычных приемов посетителей, что я удивился и все-таки не понял и тогда его совершенную искренность и то, что в нем в это время совершался тот великий для жизни человека переворот, который пережил я и которого желаю всем людям — переворот, состоящий в том, что все многообразные цели жизни вдруг заменяются одним: делать то, что свойственно человеку и то чего хочет от меня воля, руководящая тем миром, в котором я живу. Я никак не думал, что этот богатый, образованный, красивый, пользующийся хорошим общественным положением человек мог серьезно думать о том, чтобы пренебрегши всем прошедшим посвятить свою жизнь служению Богу. Помню, мы остановились, и я, не доверяя вполне его искренности, сказал ему, что есть у них в Америке замечательный человек Джордж и послужить его делу есть дело, на которое стоит направить все свои силы.

И, к удивлению и к радости моей, я скоро узнал и по письмам Кросби и по другим сведениям, что он не только исполнил мой совет и стал энергичным борцом за дело Джорджа, но стал человеком во всей своей жизни и деятельности пре-

следующим одну и ту же со мной цель. Это я видел и из его писем и из его прекрасной книги, в которой он с разных сторон, хотя и к сожалению, в стихах высказал с большой силой свое религиозное, вполне согласное со мной, миросозерцание. Рад случаю вспомнить об этом не только милом, привлекательном, богато одаренном человеке, но и о человеке с редко встречаемым цельным христианским мировоззрением».

ГЛАВА 28

Отец внимательно следил за русской и иностранной литературой и из французских писателей особенно выделял и ценил Мопассана и считал его большим талантом и психологом. Один из рассказов Мопассана, «Франсуаза», отец перевел, написав к нему предисловие. Этот рассказ он считал замечательным, но жалел, что в некоторых рассказах Мопассан не отделяет добро от зла и они безнравственны.

Он очень ценил Диккенса и часто его перечитывал, находя каждый раз новые прекрасные места, делясь всегда своим восхищением с окружающими. Шекспира он не любил, считая его не натуральным. Гёте и Шиллера знал много стихов наизусть и иногда декламировал этих знаменитых немецких поэтов.

Отец интересовался молодыми писателями и терпеливо просматривал даже не талантливые рассказы, которые ему присылали почти все новые сочинители, часто с просьбой высказать его мнение о их произведениях, что он почти всегда и делал. Одних он хвалил, одобряя их дальнейшее писание, другим советовал больше не писать, так как толка из такого писания все равно не будет.

Он порицал в молодых писателях, что они часто описывают то, что сами нехорошо знают и недостаточно изучили и продумали, советуя им лучше изучать жизнь, природу и людей и писать то, что они действительно видели в жизни, а не выдумывать явления природы и жизнь животных из головы.

Когда отец начинал что-либо писать, он изучал эпоху до мельчайших подробностей. Например, для неоконченного романа из эпохи Петра Великого он прочел много книг, чтобы узнать, как одевались в то время люди, носились ли высокие воротники при длинных или коротких кафтанах и тому подобное. Он изучил греческий язык, чтобы прочесть Евангелие. Много лет изучал психологию, говор, особые выражения му-

жиков, встречая их в деревнях, на большой дороге и разговаривая с ними. Поэтому, читая произведения молодых писателей, он часто отмечал неточность в их писаниях, недостаточное изучение описываемого предмета. Мнение отца было, что молодые писатели выработали хороший слог, пишут бойко, но основа мысли слаба и часто безнравственна. Он говорил: «Они пишут и сами не знают, что из этого выйдет».

В одном из писем к моей матери, критикуя современных писателей, он пишет: «Зачитался я в «Северном Вестнике» повестью Потапенки... удивительно, мальчик 14 лет узнает, что у отца любовница, а у матери любовник, возмущается этим и выражает свое чувство... и оказывается, что этим он нарушил счастье всей семьи и поступил дурно. Ужасно. Я давно не читал ничего такого возмутительного. Ужасно то, что все эти пишущие и Потапенко, и Чеховы, и Золя, и Мопассан даже не знают, что хорошо, что дурно; большей частью, что дурно то считают хорошим и этим угощают публику, развращая ее. Мне эта повесть была coup de grâce, уяснившая то, что давно чувствуется». Он любил некоторые произведения Чехова, мелкие рассказы, и особенно его рассказ «Душечка», к которому написал предисловие и поместил этот рассказ в свою книгу «Круг чтения». Он говорил, что Чехов задумал написать этот рассказ в исключительно юмористическом духе, но у него это вышло не только смешным, но необычайно трогательным. Чехов талантливо описал хорошую, непосредственную, добрую, любящую женщину, каковой по мнению отца, женщина должна быть в жизни, и что Чехов может быть сам не ожидал, что рассказ выйдет таков.

Из прежних русских писателей отец ценил больше всех Пушкина. Он считал его гением, своим учителем и никто, по его мнению, не мог сравниться с ним. Достоевского он уважал и любил некоторые его произведения, считая его большим психологом, но во многом не соглашался с его философией. В художественном смысле он критиковал его в том, что его герои говорят одним и тем же языком. По некоторым необъяснимым стечениям обстоятельств Достоевский никогда не встречался с моим отцом и когда Достоевский умер, отец говорил, что это потеря не только для него, но и для всего мира. Гоголя он любил, считая его большим талантом, но не любил его «Тараса Бульбу», находя это произведение искусственным. Тургенева

он считал писателем легкомысленным и с малым содержанием, но высоко ценил его великолепные описания природы, передающие красоту и поэзию.

ГЛАВА 29

Помню забавную ошибку отца, в которой он тотчас сознался. Он получил по почте рассказ одного молодого писателя. Рассказ не представлял из себя ничего выдающегося, он был ни плох, ни хорош, но отец опять недоумевал, как невнимательно пишут молодые писатели и как мало они наблюдательны.

«Начинается рассказ, говорил отец, описанием большого старинного парка, где на макушках высоких лип цапли вили гнезда. Ну, как можно писать такую небылицу? Пишет про цапли и не знает, что цапли живут возле воды. Такое писание сразу отбивает охоту читать дальше, значит вся книга не жизненна». Он продиктовал письмо своему секретарю к молодому писателю, рекомендуя более внимательно относиться к тому, что пишешь.

Через некоторое время отец поехал повидаться с своим братом Сергеем Николаевичем в его имение и утром, гуляя по старому липовому парку, вдруг к своему удивлению увидел, что цапли вьют гнезда на макушках столетних лип. Он был в отчаяньи, что сам никогда за всю свою жизнь не замечая, как и где цапли вьют гнезда, огорчил молодого человека и сейчас же написал ему покаянное и извинительное письмо, в котором он сознавал свое легкомыслие в критике его рассказа и просил его извинить.

Отец всегда сознавал свою вину и страдал, если обижал кого-нибудь, но благодаря страстной натуре иногда не удерживался, срывался, обижал резкими словами собеседника, но старался сейчас же загладить свою резкость и вину.

Однажды он резко и даже насмешливо отозвался в присутствии графини Б. о церковной службе. Графине Б., очень верующей и православной, было неприятно это слышать и она уехала не простившись с отцом, который в эту минуту не заметил ее отсутствия, так как было много гостей. Ему же после сказали, что графиня Б. повидимому оскорбилась на его насмешки о церкви и уехала.

Он очень этим огорчился, ахал и охал, пенял на себя и на

следующий день утром пошел извиняться и просил ее не сердиться на него, говоря, что он искренне сознает свою вину и что он будет стараться в дальнейшем быть более сдержанным в своих суждениях и не оскорблять хорошие чувства других.

Отец очень интересовался и любил крестьянских детей и часто вступал с ними в разговоры. Ему нравилась в них их естественность и отсутствие чего-то деланного. Он говорил, крестьянские дети и природа это одно и то же, это естественно, не выдумано и не изгажено людьми. Пока до них не коснулась неосторожная человеческая рука они хороши, а затем, если они попадают в город, цивилизация их развращает и они меняются к худшему. До своей женитьбы он учредил в Ясной Поляне школу и учил по выработанной им системе крестьянских детей и результаты получались блестящие.

В одной из своих книг отец описывает Ясно-Полянскую школу и результаты его преподавания. Основа преподавания, по его мнению, это заинтересовать учеников предметом, который преподается и отнюдь не заставлять их машинально зубрить наизусть, что ученики делают с отвращением, не понимая того, что зубрят.

Он заставлял их писать сочинения на темы, которые им задавал, а также писать, что им взбредет в голову. Многие сочинения его учеников сохранились и действительно были талантливо написаны мальчиками от 11 до 15 лет. Привожу выдержки одного из таких рассказов, написанного мальчиком лет 15-ти из нашей деревни. Он описывает бедного мужика, у которого кафтан до локтей разорвался, а из сапог пальцы торчат, и когда мужик пошел плясать, то рукава замотались, как крылья у коршуна, а пальцы из сапог, как молодые соловьи выглядывают. Отец восхищался этим сравнением и считал, что это настоящая народная поэзия.

Рассказывая им русскую историю, он так ярко им описывал нашествие Наполеона на Москву, что мальчики слушали его с напряженным вниманием, когда же он дошел до места, где Наполеон перешел реку Неман и двинулся на Россию в классе произошел взрыв патриотического энтузиазма. Дети кричали, что надо было сражаться, остановить Наполеона, не пускать его дальше.

Долго после этих уроков мальчики осаждали отца вопросами. Повидимому в них навсегда осталось сильное впечатление

о войне двенадцатого года и взятии Москвы. Крестьянская партизанская война также сильно их впечатлила и, конечно, каждый из них мечтал быть партизаном и отличиться более, чем знаменитые крестьяне-партизаны, отмеченные историей.

Отец учил их также естественной истории, физике, ботанике и многому другому. До самой старости бывшие ученики отца не забывали то, чему научил их отец и отличались от других крестьян своим развитием, грамотностью и относительной культурой. Принцип отцовского преподавания был полная свобода, ученики, заинтересованные данным предметом, следили друг за другом и сами завели железную дисциплину, не давая более беспокойным шуметь и дурно вести себя в классе. Отец до того увлечен был своей школой, что поехал за границу посмотреть немецкие, французские и швейцарские учебные заведения, надеясь почерпнуть что-нибудь новое в педагогике, но остался вполне разочарован. Он нашел преподавание в этих школах более чем не удовлетворительным и рутинным. Преподавание шло из-под палки, ученики нисколько не интересовались данным предметом, да это и понятно, так как механическое учение не оставляло в детях никаких следов и не возбуждало в них интереса, а наоборот — отвращение к книге. У них не развивалась фантазия и даже если таковая появлялась, она была порицаема и задушена той же механической зубрежкой. Отец вернулся в Россию недовольный всем виденным и тогда же написал свою книгу о школе и преподавании.

ГЛАВА 30

Любовь отца моего к природе была похожа на его любовь к крестьянству. Он не любил ничего неестественного, выдуманного, испорченного цивилизацией, так же как не любил и саму цивилизацию. Он наслаждался снегом, лесом, лугами, полевыми цветами, букеты которых он постоянно приносил с прогулки домой и любил также стихийные проявления той же природы с ее грозами, мятелями, ураганами. Он всюду находил красоту.

Он долго не мог жить в городе, его тянуло опять в деревню к природе, которая направляла его мысли на правильный путь, и где он находил равновесие и спокойствие духа. Привожу выдержки из письма к моей матери от 1894 года 1-го мая:

«Я сейчас после обеда в пять часов поехал в Судаково (деревня в семи верстах от Ясной. **М. Т.**), а оттуда лесом на

пчельник, купальню и домой. Больше шел пешком, радуясь на красоту Божьего мира. Трава уже в четверть, фиалки отцветают, баранчики (весенние, желтые, душистые цветы — **М. Т.**) сплошные, рожь идет в трубку, овсы зеленые кое-где, на черемухе готов цвет и побеги в два вершка, осина и ранний дуб одеваются, тепло, влажно, соловьи, кукушки...»

Вот выдержка из другого письма от 6-го мая 1898 года:

«Назад ехал через лес Тургенева — Спасское, вечерней зарей: свежая зелень в лесу под ногами, звезды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего березового листа, звуки соловья, шум жуков, кукушки, — кукушка и приятное под тобой доброе движение лошади и физическое и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно стало, что так же хорошо, хотя по другому, будет на той стороне смерти и понятно почему евреи рай изображали садом. Самая чистая радость — радость природы. Мне ясно было, что там будет так же хорошо, нет, лучше. Я постарался вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде, — и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность».

Из письма: «...Нынче два раза была чудная гроза с молниями. Лето спешит жить, сирень уже бледнеет, липа заготовляет цвет, яблони цветут точно хотят улететь на воздух. В глуби сада в густой листве горленка и иволга, соловей под окнами удивительно музыкальный. И сейчас ночь, яркие, как обмытые звезды, и после дождя запах сирени и березового листа...»

Из другого письма: «...Провел прекрасный день. Теперь восемь часов вечера. Вчера когда вышел из вагона и сел в сани и поехал по гладкому рыхлому в поларшина (выпал в ночь) снегу, в этой тишине, мягкости и с прелестным зимним звездным небом над головой, с симпатичным Мишей (помощник кучера — **М. Т.**) испытал чувство, похожее на восторг, особенно после вагона с курящей помещицей в браслетах, жидким доктором, перорирующим о том, что надо казнить, с какой-то пьяной ужасной бабой в разорванном салопе, бесчувственно лежавшей на лавке и тут же опустившейся, и с господином с бутылкой в чемодане и со студентом в пенснэ и с кондуктором, толкавшим меня в спину, потому что я в полушубке... После всего этого Орион, Сириус над засекой, пухлый беззвучный снег, добрая лошадь и добрый воздух и добрый Миша и добрый Бог...»

Во всех своих художественных произведениях, отец всегда описывал природу, в которой он находил божественное начало, дающее счастье и радость людям.

ГЛАВА 31

К животным он относился также с большой любовью и отмечал проявления их ума, преданности и особой психологии по отношению друг к другу и к людям.

Идя в определенный час гулять пешком или верхом он, выходя из дома, знал, что белая прекрасная сибирская лайка Белка сидит у крыльца дома и дожидается его выхода, чтобы идти с ним. Не было случая, чтобы Белка опоздала или пропустила этот час. Гуляя он любил наблюдать, как она искала в лесу и по полям следы каких-то зверей, задерживалась, здоровалась со знакомыми ей собаками и с деловитым видом опять догоняла его.

В некоторых произведениях он описывает животных так, как будто сам перевоплощается в них. Приведу отрывок из романа «Анна Каренина» — чувство лягавой собаки Ласки, когда Левин охотится с ней по болотным птицам: — «Ласка весело и озабоченно побежала по колеблющейся под ней трясиной. Вбежав в болото, Ласка тотчас среди знакомых ей запахов кореньев, болотных трав, ржавчины и чуждого запаха лошадиного помета почувствовала рассеенный по всему этому месту запах птицы, той самой пахучей птицы, которая более всех других волновала ее. Кой-где по мху и лопушкам болотным запах этот был очень силен, но нельзя было решить в какую сторону он усиливался и ослабевал. Чтобы найти направление надо было отойти дальше под ветер. Не чувствуя движения своих ног, Ласка напряженным галопом, таким что при каждом прыжке она могла остановиться, если встретится необходимость, поскакала направо прочь от дувшего с востока предрассветного ветерка и повернулась на ветер. Вдохнув в себя воздух расширенными ноздрями, она тотчас же почувствовала, что не следы только, а они сами были тут, но где именно Ласка не могла еще определить. Чтобы найти это самое место она начала уже круг, как вдруг голос хозяина развлек ее: «Ласка, тут», сказал он, указывая ей в другую сторону. Она постояла, спрашивая его, не лучше ли делать как она начала, но он повторил прика-

зание сердитым голосом, показывая в залитый водой кочкарник, где ничего не могло быть. Она послушала его, притворяясь, что ищет, чтобы сделать ему удовольствие излазила кочкарник и вернулась к прежнему месту и тотчас же опять почувствовала их. Теперь когда он не мешал ей, она знала, что делает и, не глядя себе под ноги и с досадой спотыкаясь по высоким кочкам и попадая в воду, но справляясь гибкими, сильными ногами, начала круг, который все должен был объяснить ей. Запах все сильнее и сильнее, определеннее и определеннее поражал ее, и вдруг ей вполне стало ясно, что один из них тут, за этой кочкой, в пяти шагах перед ней и она остановилась и замерла всем телом на своих низких ногах: она ничего не могла видеть перед собой, но она по запаху знала, что он сидел не далее пяти шагов. Она стояла все больше и больше ощущая его и наслаждаясь ожиданием. Напряженный хвост ее был вытянут и вздрагивал только в самом кончике. Рот ее был слегка раскрыт, уши приподняты. Одно ухо заворотилось на бегу, и она тяжело, но осторожно дышала и еще осторожнее оглянулась, больше глазами чем головой на хозяина. Он с его привычным ей лицом, но всегда с страшными глазами, шел спотыкаясь по кочкам и необыкновенно тихо, как ей казалось. Ей казалось, что он шел тихо, а он бежал.

Заметив тот особенный поиск Ласки, когда она прижималась вся к земле как будто загребала большими шагами задними ногами и слегка раскрывая рот, Левин понял, что она тянула по дупелям и, в душе помолившись Богу, чтобы был успех, особенно на первую птицу, подбежал к ней. Подойдя к ней вплоть он стал с своей высоты смотреть перед собой и увидал глазами то, что она видела носом. В промежутке между кочками на расстоянии одной сажени виднелся дупель. Повернув голову он прислушивался. Потом чуть расправив и опять сложив крылья, он неловко вильнув задом, скрылся в угол. — «Пиль, пиль», крикнул Левин, толкая в зад Ласку. — «Но я не могу идти», думала Ласка. «Куда я пойду? Отсюда я чувствую их, а если я двинусь вперед, я ничего не пойму, где они и кто они». Но вот он толкнул ее коленом и взволнованным шепотом проговорил: «Пиль, Ласочка, пиль». — «Ну, так если он хочет этого, я сделаю, но я уж за себя не отвечаю теперь», подумала она и со всех ног рванулась вперед между кочек. Она ничего уже не чуяла теперь и только видела и слышала ничего

не понимая. В десяти шагах от прежнего места с жирным харканьем и особенным дупелиным выпуклым звуком крыльев поднялся один дупель. И вслед за выстрелом тяжело шлепнулся белой грудью о мокрую трясину».

Так же великолепен рассказ «Холстомер», где старый пегий мерин рассказывает всему табуну историю своей жизни... Это такое же воплощение в лошадь и чувствуется громадная любовь отца к животным, о которых он всегда говорил с большой нежностью.

ГЛАВА 32

Напишу несколько слов об отношении отца к музыке.

В Ясную Поляну постоянно приезжали и жили музыканты и певцы и играли то на фортепиано, то на скрипке, то пели. Редкий день проходил без музыки.

На отца музыка действовала очень сильно. Когда играли его любимые вещи Шопена, Бетховена, Моцарта и других, он не мог удержаться от слез и бывал очень взволнован и растроган. Так же на него действовали очень сильно цыганские и русские песни, которые он как и мой дядя Сергей, очень любил, с той только разницей, что дядя Сергей не признавал ни Бетховена, ни других классиков, а отец любил и классическую музыку. Сколько раз я замечал как у отца текли слезы, которые он не мог удержать. Когда музыка кончалась он повторял, утирая платком глаза: «Как хорошо, какое наслаждение, но как глупо, что на меня музыка так сильно действует».

Помню приезд Шаляпина в наш московский дом, где он пел для моего отца весь вечер, и как мой отец наслаждался его пением и заставлял его без конца петь свои любимые вещи. Затем он попросил Шаляпина спеть какую-нибудь русскую песню, но к сожалению, его аккомпаниатор не мог без нот подобрать аккомпанимент и Шаляпин, с которым я давно был большой приятель, заставил меня ему аккомпанировать, что я и сделал очень неохотно так как никогда не учился играть на фортепиано, а играл плохо только по слуху. Несмотря на это отцу очень понравилась эта песня, он был доволен и даже расчувствовался. Шаляпин в своих воспоминаниях описывает этот приезд к отцу.

Помню еще в детстве приезд знаменитых в то время певцов Императорских Театров, мужа и жены Фигнер. Они были на-

шими соседями по Ясной Поляне и приезжая считали долгом доставить удовольствие отцу своим пением и пели часто до поздней ночи, то дуэты, то каждый отдельно. Вся дворня собиралась у окон послушать певцов.

Помню, как отец смеясь рассказывал, что он однажды спросил после пения Фигнера и его жены, у второго кучера Михайлы, хорошо ли пел вчерашний барин и Михайло ответил: «Хорошо, говорить нечего хорошо. Голос уж очень звонок, да громок, даже за версту на деревне слышно». Но сами песни ему не понравились, так как не похожи на деревенские.

Отец говорил, что может быть он и прав, его вкус не испорчен как наш, что у нас уже извращение вкуса и нам может нравиться то что искусственно и не натурально. Несмотря на эти слова он очень наслаждался этим пением, любил когда Фигнер приезжали в Ясную Поляну и слушал их с огромным удовольствием. Он любил нашу детскую игру на балалайках и гитарах и наше пение хором, которым дирижировала моя тетка Кузьминская, у которой был хороший голос, а главное, умение захватить своим пением каждого, кто ее слушал.

В ее пении был несомненный дар — чувство меры и вкуса. Я не знал никого, кто бы так передавал своим пением именно то, что композитор хотел выразить в нотах; и кто бы ее ни слушал всегда чувствовал, что так именно и надо было спеть эту вещь. Отец постоянно заставлял ее петь под аккомпанимент моего старшего брата Сергея, который был хороший музыкант и иногда сам садился за фортепиано и аккомпанировал, но последние годы он не занимался музыкой, и играл уже с трудом.

В «Войне и Мире» отец тетю Таню Кузьминскую описал в лице Наташи Ростовой, взяв также некоторые черты моей матери.

Однажды я ехал из Тулы в Ясную Поляну повидать родителей и увидал на большой дороге в одной версте от нашей усадьбы несколько палаток, расположившихся табором кочующих цыган. Подъезжая к ним я услышал веселое пение и увидал кучку цыган, стоящих перед одной из палаток хороводом, а посреди круга пляшущего цыгана с цыганкой. Я велел кучеру остановиться и вдруг, к большому удивлению, увидал отца с горящими от удовольствия глазами, слушающего пение и притоптывающего в такт ногой и смотрящего на пляшущих. Он был ужасно увлечен и когда я подошел к нему поздороваться

он все повторял: «Вот это музыка, вот это балет, посмотри, что он выделывает ногами, а она, сколько грации, какой ритм», — говорил он, показывая на плясавших цыган. Затем, возвращаясь домой в экипаже, он долго не мог успокоиться от испытанного удовольствия и весело говорил, что никакая опера или балет не могут сравниться с тем, что мы видели и слышали.

Помню, в Москве, в доме родителей моей жены, играл великолепный хор балалаечников Андреева. Мой отец пришел их послушать и был в восхищении от их игры. Действительно этот хор, начиная с классической музыки и кончая вальсами, маршами и русскими национальными песнями, был замечателен по технике и по художественности игры.

Я помню после одной грустной русской песни, хор перейдя на веселую плясовую сыграл ее с таким подъемом, что отец не мог спокойно усидеть в кресле и весь двигался, притоптывал ногой, как будто сам хотел пойти плясать. Помню, как мой учитель музыки, талантливый скрипач, живший летом в Ясной Поляне, играл с очень хорошим пианистом Крейцерову сонату Бетховена, одно из любимых произведений отца, — отец не выдержал, расплакался и ушел из залы к себе.

Привожу выдержку из повести отца «Крейцерова соната»: — «Они играли Крейцерову сонату Бетховена, — рассказывает Позднышев. — Знаете ли вы, первое престо, вскрикнул он. — У-у-у-у... Страшная вещь эта соната, и именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю, что такое музыка? Что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим образом. Вздор, неправда. Она действует, страшно действует, — я говорю про себя, — но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение, мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я собственно не чувствую, что я понимаю то, чего я не понимаю, что я могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающих, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющихся. Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находится тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душой и

вместе с ним переношусь из одного состояния в другое; но зачем я это делаю — я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату Бетховена, ведь он знал почему он находился в таком состоянии, это состояние привело его к известным поступкам и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш и музыка дошла, сыграли плясовую, я проплясал и музыка дошла, ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует.

В Китае музыка — государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий кто хочет гипнотизировал один другого или многих и потом делал с ними что хочет. И, главное, чтобы этим гипнотизатором был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руки кого попало! Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо, — разве можно играть в гостинной среди декольтированных дам. Это просто сыграть, а потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных значительных обстоятельствах и тогда, когда требуется совершить известные соответствующие этой музыке поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то не соответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня по крайней мере эта вещь подействовала ужасно. Мне как будто бы открылись совсем новые чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор.

Да, вот как! Совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как! — как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог дать себе отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно».

А вот что отец пишет о музыке в письме к моей матери от 17-го января 1905 года: — «Я на-днях думал о музыке вот что. Музыка есть стенография чувств. Когда мы говорим, понижаем, возвышаем, силой, быстротой или медленной последовательностью звуков выражаем те чувства, которыми сопровождаем то, что говорим, вырабатываемые словами мысли, об-

разы, рассказываемые события. Музыка же передает одно сочетание и последовательность этих чувств без мыслей образов и событий. Мне это объяснило то, что я испытываю слушая музыку».

ГЛАВА 33

У моего отца была двоюродная тетка графиня Александра Андреевна Толстая, память которой я не могу обойти молчанием. Гр. Толстая была на семь лет старше отца и с шестнадцатилетнего возраста была при дворе. Отец познакомился с ней, будучи очень молодым человеком в Швейцарии, где она находилась с великими княжнами и с тех пор их связывала неразрывная искренняя дружба. Только в конце жизни тетушки они видались редко: мировоззрения их были слишком различны, а кроме того отец почти никуда не выезжал из Ясной Поляны.

К сожалению, у меня под рукой нет их переписки, которая крайне интересна и мне приходится писать о ней только по памяти. Письма эти изданы. Написаны они по-французски, как обыкновенно писались письма нашими отцами и дедами, и составляют большую книгу.

Тетушку Александрин, как мы ее звали, я хорошо помню. Она никогда не была замужем и жила в Петербурге в Зимнем дворце. Приезжая в Петербург отец считал долгом быть у нее. Она была очень образована, умна, остроумна и отец очень дорожил ее дружбой. Она имела на него большое влияние и влияние хорошее. Он советовался с ней о задуманных произведениях, находя что у нее верное чутье и правильные взгляды на литературу.

Иногда летом тетушка приезжала погостить в Ясную Поляну, чему отец и мать, которая ее также очень любила, бывали рады и старались доставить ей приятное и интересное там пребывание.

Я помню очень хорошо ее лицо, ее фигуру. Она была немного полна, с круглым лицом и двойным подбородком, который она постоянно гладила, проводя по нем как бы мимоходом рукой. Как-то раз Александр III, разговаривая с ней о моем отце, выразил желание с ним встретиться и просил тетушку Александрин устроить это свидание, когда отец приедет в Петербург и будет у нее. Тетушка ответила, что она сделает все возможное для того, чтобы свидание состоялось, но она сомневалась как бы отец не ушел, если случайно узнает, что государь придет в ее аппартаменты.

«Вы не представляете себе, Ваше Величество, до чего это в некоторых случаях дикий и сумасбродный человек, — сказала она. — Он побоится самого себя, что будет несдержан и скажет не так, как надо, а это для его самолюбия всегда было ужасно, а кроме того, он с молодости очень застенчив».

Государь все же просил устроить свидание и непременно послать за ним, когда отец будет у нее.

Через некоторое время отец действительно приезжает в Петербург и конечно дает знать о своем приезде тетушке, спрашивая когда он может приехать к ней повидаться. Тетушка назначает ему день и час, и когда он к ней приехал послала записку императору. Не знаю почему, либо государь задержался, либо отец почувствовал что-то неладное, но он внезапно простился с тетушкой и несмотря на ее уговоры сорвался с места и ушел. Пять минут спустя пришел император, но отца уже не было. Государь очень сожалел и упрекал тетушку, что она не сумела задержать отца. Тетушка говорила, что она предупредила государя какой сумасбродный характер у Толстого, что он вероятно почувствовал приход царя и удержать его не было возможности. Тетушка умерла в 1902 году.

Нечто подобное было с братом Александра III, великим князем Сергеем Александровичем, который был одно время московским генерал-губернатором. Великий князь был приглашен на мою свадьбу моей тещей, которую он очень любил и часто бывал у нее в доме. После венчания все приглашенные поехали в дом родителей моей жены и моя теща сказала великому князю, что если он хочет, как он это всегда высказывал, встретиться с Толстым, то пусть подождет, так как Толстой обещал прийти поздравить молодых. Но отец, подойдя к дому и увидав карету великого князя с гербами, в дом не вошел и ходил по улице, дожидаясь его отъезда. Великий князь так и не дождался моего отца и уехал. Только после его отъезда отец пришел и просил извинить за опоздание, так как ждал отъезда великого князя, не желая с ним встретиться, чему моя теща очень огорчилась.

Мне кажется, что отец не хотел встречаться с великими мира сего, так как у него с ними были слишком различные точки зрения, а говорить салонные пустые слова он не любил и не мог, слишком у него была правдивая и прямая натура. Он не мог бы на их вопросы не высказать свои убеждения, которые были направлены против них. Я знаю, что к нему приезжал ве-

ликий князь Константин Константинович, поэт, и долго с ним беседовал, не знаю о чем, но знаю, что этот разговор очень впечатлил великого князя и он многим рассказывал, как интересна была беседа с Толстым. Кроме него приезжали к отцу вел. кн. Николай Михайлович и принц Петр Александрович Ольденбургский, которого я хорошо знал и который мне рассказывал, какое сильное впечатление произвела на него их беседа.

(Окончание следует)

М. Л. Толстой

★

Я сначала зашел в гардероб
Перед тем как направиться в зал.
Сдал на время мой крест и мой гроб,
И мой плащ, и кашне мое сдал.

Потолкался в театре ночном,
Где хрустальная люстра плыла,
Где в толпе в амплуа я одном,
А на сцене — в другом амплуа.

Но со мною — вечерний прибой
И закатного солнца струя.
Непременно в театры с собой
Приношу декорации я.

Я недаром привесил звезду
К девятнадцатому этажу.
Вот сидишь ты в переднем ряду,
А я в синем луче прохожу.

Сквозь меня он как нитка продет,
И в луче я почти неживой,
И вплывает ньюйоркский рассвет
Прямо в белую ночь над Невой.

Но не ждут уже больше друзья
Там, где времени ветер прошел.
Потому и к созвездиям я
Обращаюсь, как в адресный стол.

Да немного узнаешь у звезд —
Только стужа вверху голосит,
И опущенный в прошлое мост
Над рекою забвенья висит.

★

Листьев взвинченный полет.
Сырость, слякоть, полумрак.
Этим я из года в год
Восхищаюсь как дурак.

Ветры в улицах трубят,
Сумасшедший акробат
Над ареною асфальта
Крутит траурное сальто.

И кричат ему «ура»
Сотни рыжих у ковра.

Я и сам такой точь в точь,
Так смотри же — не промажь.
До пощечин я охоч, —
У меня такая блажь.

Я везде сую свой нос,
Я повсюду тут как тут,
Рыжих в шутку и всерьез
По лицу за это бьют.

Но я все-таки артист,
Хоть слыву я дураком
И лечу как желтый лист
По арене кувырком.

Знать в такой уж переплет
Мы попали, милый друг.
Что ж нам осень пропоет
В золотую ночь разлук?

Пропоет, что дождь прошел,
И что он пройдет опять,
Что нам будет хорошо
Под гитару умирать,

Что летим мы на магнит,
Что нас тянет даль и ширь,
Что сосульками звенит
Серебристая Сибирь.

Иван Елагин

РАКОВЫЙ КОРПУС

1

Тень от вышек концлагеря легла поперек всей страны, легла и не уходит. С нами о тени смертной говорит «намолчавшаяся душа». Все, почти все написанное Солженицыным связано с лагерями, ссылками, репрессиями. Говорит он как будто о своей судьбе, все автобиографично, а вместе и общенародно, все затрагивает и общечеловеческие проблемы. И что́ не описывает Александр Исаевич, в нем и в читателе одинаковый трепет скорби, и возникает «серый призрак и подземный гул». Не печальной кукушкой «на сусе древе» у кремлевской стены, не топотом ног сумрачной пехоты по боевому уставу, по БУП Лопаткина. Нет, это гремит и грохочет артиллерия, срывает целые пласты земли, обнажает подпочву: «Если десятки лет за десятками лет не разрешать рассказывать, то, как оно есть — **непоправимо разблуживаются** человеческие мозги и уже **соотечественника понять труднее, чем марсианина».**

Солженицын начисто отрицает и полностью осуждает великого людоеда — Сталина и его слуг и палачей вроде Ежова, Берии, Абакумова. Но разочаровался ли писатель скорби и в социализме и коммунизме? Этого я не знаю и ничего сказать не могу.

Удивителен человек в его вере! Налагает твердую кору пропаганда с детских лет. Вспоминаю некролог Р. Б. Гуля невозвращенцу Кравченко. Ах, как тот упорно верил в поворот партии то под «Хрущевым, то под Леней Брежневым». В «Раковом Корпусе» проф. Шулубин — большевик с 1917 года — описав все неправды, ужасы, муки свои и чужие, — говорит: «Только из страданий своих и из этих жестоких лет не выведите, что виноват социализм».

Костоглотов — alter ego Солженицына — замечает о своей вере в Вождя и партию вплоть до Финской войны, т. е. и в 1935-1938 гг. В школе же «объясняли, зачем **это** нужно, почему полезно». Из материалов дела по реабилитации Солженицына

1957 года «видно, что Солженицын в своем дневнике и в письмах к своему товарищу, говоря о правильности марксизма-ленинизма, о прогрессивности социалистической революции в нашей стране и неизбежной победе ее во всем мире, высказался против культа личности Сталина».

Но понят ли «грех утопизма», ужас материализма, разблуживание мозгов социализмом, готовым часто на смычку с коммунистами? Найдена ли вера в иное, в построение лестницы ценностей с земли к отверстому всем небу. Чужая душа — потемки. Впрочем, м. б. Солженицын-то, имея великое сердце, благородную душу, неустрашимый ум и верит. Не знаю. Не ведаю. Есть одна поразительная страница в «Раковом Корпусе» о мыслях и чувствах доктора Орещенкова. Все написано в духе и стиле и ритме Льва Толстого. (См. «Воскресенье», «В чем моя вера» и др.). «Весь смысл существования — его самого за долгое прошлое и за короткое будущее, и его покойной жены, и его молоденькой внучки, и всех вообще людей — представлялся ему не в их главной деятельности, которою они постоянно только и занимались, в ней полагали весь интерес и ею были известны людям. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутненным, непродрогнувшим, неискаженным — изображение вечности, зароненное каждому». Иначе — искру Божию, лик Божий литературы XIX века.

Я долго колебался — смею ли я писать о Солженицыне. Вмещу ли, хоть часть, неискаженного отражения великой души, могучего таланта, в зеркале малой духовной силы среднего человека? Талантливая писательница в СССР сказала же: «Имя Солженицына — слишком дорогое имя в нашей литературе». Усталый редактор «Нового мира» — поэт Твардовский, начав читать в постели рукопись «Один день Ивана Денисовича», вскочил, «оделся в парадный костюм» и сел к столу. Перед ним была эпохальная рукопись, дело таланта, героической смелости и правды. Что же я могу? Есть у меня причины, толкающие хоть раз написать о Солженицыне. Вот они: и я держал винтовку и на мне была солдатская шинель, и меня били (немцы) и надломили позвонок; и более двух лет прослужил я в палатах больницы для неизлечимых больных; насмотрелся, наслушался. Была и у меня злая опухоль, вырезали... томился страхом — вернется? Был счастлив — не вернулась. Это все и есть мой «парадный костюм», чтоб войти и мне в «Раковый Корпус».

Прав Солженицын — «перед ликом смерти ничем он не вооружен встретить ее» современный-то человек! Тема смерти, тема болей-болезней, мук полуизлеченных стоят в первой палате, в фокусе внимания писателя впитавшего в свою плоть и жизненный опыт и кровь Толстовских «Смерть Ивана Ильича», «Три смерти», «Чем люди живы» и многое другое. Я не столько в глубину спущусь, как хочу осмотреть образчики жизни, быт и характеры героев в «Раковом Корпусе». Коммунизм, его вожди и слуги сделали на теле России, на теле СССР рак, рану. Поползли из нее яды, вирусы по всем кровеносным сосудам. Организм отравлен. Вылечится ли, выздоровеет ли?

Жизнь бедно-бедная для большинства населения и жестоко-жесткая. Шофер, служащий в МГБ, попадает в больницу, не спит. Получив два порошка снотворного уже решает о враче: «Отравить меня хотела. **Надо ею заняться**». Очереди, очереди везде по провинции и по большим городам. Ежели не дать справку об операции, то и больные на вокзалах станут «в общий хвост» очереди и «они могли не уехать два дня и три». Плата и сестрам милосердия малая, ничтожная, пенсии мизерные — «бабушкиной пенсии и на один хлеб не хватало». Помощника землеустроителя жалованье 350 рублей в месяц, а кружка простецкого пива 2 руб. 50 коп. Гражданский плащ — месячное жалованье. «Амнистия лопается пузырем или объявляется ворам, жуликам, дезертирам — вместо тех, кто воевал и страдал». Кругом взятки да «лапы».

В лагерях сидят ни за что́: у одного отец был полковником царской армии; другой — храбро воевал с немцами в 1914-1917 гг. Большевик с 1917 г. — Шулубин — говорит, что по приказу сверху и теорию относительности объявлял с кафедры мракобесием, перестраивал и анатомию, и микробиологию сходно учению невежественного агронома, а по тайным спискам библиотекари «жгли генетику, этику, кибернетику! арифметику!» Когда́ после концлагеря был Олег Костоглотов сослан **навечно,** то вспоминает: «Воевали и как-то ожидали после войны чего-то другого. И вот девчонок замели вместе с нами... Одна из наших девушек кончила с собой... Еще одна жива... Трех ребят уже нет... Про двоих не знаю». Ссылка! По дороге насилуют заключенных девушек блатные, а в лагерях их голых по пути в баню разбирают для себя нарядчики да пайкодатели. А урки! Хищные твари. «У нас тридцать лет звонили, что они перековываются, что **они социально-близкие,** а у них принцип

тот, что был у Гитлера». Ссылали и ссылали всех и «полярного летчика известного, его именем так и продолжал называться остров в Ледовитом океане, а сам он сидел». И что изменилось? Ничего не изменилось, говорит Костоглотов. Машина скорой помощи носится по нуждам секретаря или завозит по квартирам привилегированных сливочное масло и вермишель. Новый класс презирает бедность и слабость. П. Русанов на службе не пойдет в общую уборную, чтоб не подрывать авторитет начальника. Квартирой, обстановочкой этот типичный коммунист очень гордится. Почему? Солженицын спокойно, с легкой иронией, объясняет: «Это составляло быт, бытие, а бытие определяет сознание (по Марксу), и надо, чтобы быт был приятный, хороший, тогда и сознание будет правильное». Правда и тут бывают неувязки. Для хорошего ремонта квартиры нужно не только уплатить по всей форме, нужна и «лапа», особо-личная доплата рабочему или рабочим. Не сделаешь так, не дашь «лапу», сам на себя пеняй: либо плохо сделают, либо напакостят — в сток могут и дохлую крысу положить! «Сам раскаешься». И какой это дермопрятный да дерматиконовый* класс! Можно ли, скажем, в чудесной квартире коммуниста Шенденяпина при отличной и модной обстановке да принять свекровь из деревни! «Вдруг бы за столом эта старушка в белом платочке, **без паспорта** — свекровь!» Спасибо «удалось опорочить жениха по общественной линии, спасли дочь». И с именами у высшего класса горе: требования жизни меняются, а имена остаются. Сынок Русановых Лаврентием назван, а по батюшке — Павлович. Дано-то имя в честь Берии... а теперь? Нет уже «несгибаемого сталинского соратника». Ну, «судите его, ну, расстреляйте его **закрытым порядком,** но зачем же объявлять об этом **простому народу?»**

Сама возможность реабилитации бросает Русанова в дрожь и в пот. Он предал двух. Одного, чтоб квартирой воспользоваться, все сделал ложным доносом. И гремит Русанов: «Какое ж они право имеют теперь их выпускать?... Как же можно так безжалостно травмировать людей?» Знал этот Русанов, что в характеристике, в анкете, всегда «можно записать что-нибудь отрицательное и подозрительное, каждый человек в чем-нибудь виноват, или что-нибудь утаивает, если разо-

* Обдиратели шкур с жертв.

браться дотошно». Этот тип искренно верит, что «его любят и... без него не могут обойтись». Саркастически автор его величает «прямодушным». И ему вторит коммунист двадцати семи лет — Вадим, что-де у нас «даром не сошлют!» Теперь, кажется, опять хотят в СССР эту графу характеристики ввести в обиход. Этой-то «тонко поэтически-политической работой» и занимался Русанов. И правды требует душа и жаждет какой-то справедливой расплаты. Нашлась мстительница: «Тут, между челюстью и ключицей, была судьба его. Его правосудие. И перед этим правосудием он не знал знакомств, заслуг, защиты». А доченька Авиета еще хлеще, звончей язык, уверенней вся повадка класса привилегированных, молодых и верных классу. О невинных ссыльных как она здраво коммунистически рассуждает: «Нельзя же возвращать **отдаленников.** И потом, что значит «реабилитирован»? Что-то обязательно там есть, только небольшое». Она ликует, что совсем теперь исключено «привлекать за ложные показания»; сказать же «культ личности» — равно богохульству. Правда, иногда писателям надо перестраиваться, а это не так легко, «но какой это опытный, какой это тактичный народ, как многому у них научишься».

Чудесно быть верным новому курсу подхалимом! Тут и «лакейская должность — журналистика», почище, тоньше быть советским писателем и, главное, прибыльней: «Ты знаешь, один писатель, как только сам стал (писателем), сейчас же и жену научил, и племянницу! И все трое пишут!... Потому, что это выгодно». Главное, чтоб не было «идейных вывихов и быть тактичной и отзывчивой на время!» Западных же писателей «обвинять в неискренности можно, потому что они продажные». Другое дело мелочь — за утрату в буране грошевых макарон — пять лет. Коммунист Вадим тоже утверждает: «У нас даром не сошлют». Солженицын же замечает: «В этой правильной фразе Вадим проявил себя, как умный и непоколебимый человек».

Шулубин говорит о необходимости нравственных ценностей и рассказывает об угнетении человека в колхозах СССР, ну, обычной птичницы: — «Две тысячи пятьсот кур. Пол земляной, а куры все время роются, и в воздухе пыль такая, что противогаз надо бы одеть. Еще — лежалую кильку она все время забирает в открытом котле — ну и вонь... Рабочий день летом — с трех утра и до сумерек. В тридцать лет она (кол-

хозяица) выглядит на пятьдесят». И видит герой «Ракового Корпуса», что «по пути к коммунизму привилегии одних перед другими должны увеличиваться... Значит, чтоб стать равными, надо стать неравными, да?» Но упорно и тупо талдычат свое коммунисты Костоглотову: в западных демократиях «вы никогда не добьетесь ни прав своих, ни справедливости, ни просто человеческой жизни». То ли дело в СССР! И вспомнилось Олегу Филимоновичу, как командир отделения получал двадцать рублей, а командир взвода — шестьсот, и как офицеры от солдат своих красноармейцев прятались поедая доппаек — печенье, масло, консервы. Бравые и добрые были офицеры. Стройки, стройки. Но больница из добротного серого кирпича построена... в 1885 г. Пять хирургов-врачей, но на самом деле работа-то не делается ими. Работают только два. Для трех есть «блат». Вот, горе-хирург Халмухамедов. Выглядит он как «дикарь с иллюстраций к путешествию капитана Кука. Очень не хватало кольца в носу». Ни одной операции он не мог сделать, а если пробовал — губил больного. Так, спрашивается, почему ж его держат в областной больнице? Он еще и ленив, не дежурит по ночам, а спит. В чем же дело? Но Халмухамедов — в партии и тронуть его нельзя потому, что «был бы подрыв национальных кадров».

Читаешь, читаешь и внезапно станет пусто и страшно. Говорит политический невинно-заключенный: — «Вся память о нас — в двух ладоньках водица, то, что протягивали мы друг другу встречей, беседой, помощью». Протягивали просящие ладони и проливалась и капала слезами недолгой жизни живая вода соучастия. Высоки вышки. Жестока стужа или жар солнечный. Тяжка кирка иль чекмень, что землю у ног ссыльного долбит и рыхлит. И все согласны, что отчего же и так можно. Болью наливается, звенит голос Солженицына: «Должен кто-то думать и иначе! Пусть кучка, горсточка — но иначе! А если только **так** — то среди кого ж тогда жить? Зачем?... И можно ли!»

2

Завязка действия непосредственно связана с литературой XIX в. — «Чем люди живы» Л. Толстого. В чем смысл жизни, для чего и как должны бы люди жить. Развратник, похабник, рвач новых лет — Поддуев заболел раком языка — опять тень отмщения! Первый раз в жизни прочел он что-то литературное

и задумался над рассказом Толстого. Первую брешь проломила мука смертельной болезни, в нее ворвалась истина Евангелия из повести Толстого. Интересно и совсем реально, и вместе с тем глубоко психологически Солженицын изображает реакцию ряда больных на вопросы Поддуева: чем жив человек? Ну, вещевым довольствием, или водою, воздухом, едою, или общественными интересами. Разное, по разному говорят разношерстные больные различных возрастов и социального положения. Замечательно нарисован переворот в душе придавленного болезнью Поддуева; он заговорил уже и о совести: для самопроизвольного исцеления «надо, наверно... чистую совесть» иметь.

Вопрос совести проходит через всю книгу. Да и на самом деле в стране с угасшей во многих совестью, при бессовестной партии и ее терроре и гнете — совесть, совесть решает все. Тайно, во сне, в кошмаре она внезапно возвращается и терзает Русанова: двух невинных женщин он загубил. Он в темной трубе — подобие мешка в «Смерти Ивана Ильича». На яву, когда временно полегчало — он опять прежний большевик с гибко-подлой бессовестностью. Не мучит совесть и тех, кто верит в непогрешимость партколлектива и знает твердо, не забывается в сомнении: «Есть вопросы, по которым установилось определенное мнение! И вы уже не можете рассуждать». Только вот совсем неизвестно коллективное отношение к смерти. «Умирать надо одному», будь он хоть расчлен коллектива и тут каждый как-то по своему индивидуалистически хочет верить в чудо выздоровления. Не мучит совесть... а иногда и мучит! Впрочем, есть всякие твердые орешки, они больны «абсентеизмом совести». Таков туповатый бывший конвоир, лечившийся и, кажется, излеченный, Ахмаджан. Он не симпатичен ни автору, ни его герою Костоглотову, ни читателю. Ахмаджан возмущается, что зеков еще кормят: «Кормят их, гад буду, лучше чем солдат! Ну — не хуже! Пайка — кило двести. А их бы говном кормить». На упрек, на указание на неправду, на труд заключенных, чуть смутившись, Ахмаджан бодро отрезал: «Наше дело (конвоя) винтовка, ихнее дело лопата». Да и зачем помогать политзаключенным? От них и письма часто идут не к родным, не в цензуру, а прямо в печь. Очень нужна эта их переписка!

Совесть не мучит и таких как Лаврик и Майка — отпрыс-

ков благополучных комначальников, не может мучить и недоучившихся детей со свихнутыми мозгами, таких, как бедняжка Ася. Цель ее жизни — свободные половые услады, ну и спорт, он дает пожить поинтереснее. Трогателен, почти мальчик, от токарного станка, стыдливый и наивный Демка. Не хочет он идти на технику, а на исторический или на литературный. Жаждет правды прочитать, узнать, его «общественная жизнь очень разжигает». И тычется его ум и сердце еще слепые, как недельные щенята, в проблемы, в загадки слов лживой пропаганды. Невдомёк Демке: надо писать объективно, а писательницу В. Ф. Панову ругают, что она «стала на зыбкую, засасывающую почву объективизма». Иных совесть и близкая смерть терзают равно. Трудно сказать в случае Шулубина — что его более мучит болезнь или вынужденное соглашательство 1936-38 гг.? Теперь он один, как перст, дети же его знать не хотят, пишут по требованию партии 3 раза в год, ибо Шулубин сумел остаться членом партии.

Совесть не тревожит только благородных врачей, как Вера Гангарт, Л. Донцова, Орещенков, Лев Леонидович — хирург. Хорошие они врачи, но всех их давит непомерная работа, страх перед властями, канцелярщина и все те недоноски медицинских наук, управляющие и «помогающие», которых они на спине волокут; ненужный, тяжкий, опасный груз. И отсюда вопль лучших: «Как же у нас запущено все!» У этих тружеников свои муки и проблемы — право врача и права пациента, но совесть их чиста, спокойна. Таков и ссыльный доктор и его жена (чета, как Фамушка и Фимушка, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна)— Кадмины. Они верные, добрые, тихо незаметные друзья Олега Костоглотова. Для них он с волнующейся толпой штурмует Универмаг — утюг купить, для них тщетно в большом городе ищет обычный термометр и соду. Это образованный Кадмин объясняет в письме Олегу откуда ввялось «мягкое слово кость ломит», из сказания «О Соломоне и Китоврасе» Толковой палеи XV века.* Как суровый Китоврас пожалел за жалкую бедность вдову, послушался ее мольб и сам себе ребро сломал, чтоб только дом ее обойти, не разрушая своим обычным движением по прямой. Этих Кадминых

* Речь о Палее 1477 г., или м. б. и о хронографе 1494 г. Сюжет библейско-апокрифический, пришедший к нам с Востока.

совесть не мучит, их люди, жестокость людей мучит и печалит. Застрелили на улице их собаку злые, дурные исполнители зла: «Он еще дергался, такое большое тело — и дергался, страшно смотреть. И вы знаете, пусто стало в доме. И чувство вины перед Жуком: что мы не удержали его, не спрятали». Не будет совесть, а будет жизнь в СССР мучить Юрочку Русанова. У него есть и жалость и твердость следователя-прокурора обжаловать несправедливый приговор. Он — Юрочка «урод» в семье Русановых, он на отца «тень бросает». Немало говорит Солженицын о праве на доброту, о том, что жалеть не стыдно, жалеть необходимо. Безжалостен он к фальши, к свирепости зла, и рад, что «Людоед накрылся! Давно пора!!» А коль прикажут, объявляя о смерти Сталина, зекам снять шапки, то рад, что по знаку лагерного шутника бросили их вверх, «выполнили команду — и подавился майор». Жалеет он тех женщин, что потеряли мужей, а таких миллионы и «пришли они в мир ни для чего. Огрех истории». Жалеет замученную в зоопарке обезьянку, добрых собак — все, что́ жить хочет, а ему не дают. И вдруг, именно при описании зоопарка — словно символы из бытия людей в СССР. Так ли? Не знаю. Сделалось жутко. Речь о том, что теперь вот при всей муке зверей в клетках свободу-то дать им нельзя, даже если и сила у желающего освободить пленных есть. И страшно тому, что умудрен годами страдания, очищен им и освобожден духовно, страшно нечто особое. Звери и их судьбы. Нельзя открыть их клетки «потому, что потеряна была ими вместе с родиной и идея разумной свободы. И от внезапного их освобождения могло стать только страшней». И опять возникает в читателе «серый призрак и подземный гул».

Многое множество проблем, сложных конфликтов описывает Солженицын и очень часто намекает и сплошь да рядом режет по советской литературе. Серьезнее всего говорит о современных книгах сестра Елизавета Анатольевна, из ссыльных: «Близко я не знаю книг какие бы не раздражали. В одних — читателя за дурака считают. В других — лжи нет, авторы поэтому очень собою гордятся. Они глубокомысленно исследуют, какой проселочной дорогой поехал великий поэт в тысяча восемьсот таком-то году... Они выбрали участь благую. И только до живых, до страдающих сегодня — дела им нет».

Но кроме идей, боевых атак на зло и жестокость и ложь

в духе истинной литературы большого свободного дыхания, видна любовь автора к самой манере описывать мастеров типа Л. Толстого и частью А. Чехова. Некогда Н. О. Лосский ввел термин **«внутрителесное ощущение»,** это как раз подходит к типу описаний ряда чувств героев и героинь Л. Толстого. Чем не по Толстому: «С особенной радостью она ощущала свои дружные тугоподхваченные груди и как они наливались тяжестью, когда она наклонялась над койками больных, и как они подрагивали, когда она быстро шла». Или вот эта фраза: — «Итак — что вы загадали? — спросила Зоя с тем поворотом головы и тем выражением глаз, которые для этого подходили». «Раковый Корпус» вобрал в себя и язык современной страны блата, мата и туфты. Язык поистине есть «зеркало революции», коммунизма и «социально близких» уркаганов. Из песни слова не выкинешь. Есть в языке и пристрастие автора к живому, ядреному русскому языку, тому, что́ навеки вечные сохранил Толковый Словарь В. И. Даля. И внезапно всплывают очень древние слова, отмеченные в Лаврентьевской летописи под 1125 г. А потом идет речь автора с его живостью оценки, подцепки признака всем словно бы известного, но другими не примеченного. И затем масса медицинских терминов правильно употребленных.

Правда, «Раковый Корпус» не так стройно сложен, как весь литой, весь в едином дыхании «Один день Ивана Денисовича». Но глубина тематики, разнообразие лиц, тонкость ряда анализов, богатство идей, сложность жизни, все это перевешивает прежние произведения. Есть в этой книге Солженицына некая страшная пронзительность, некий завет всей России.

В. Ростов

★

Как будто все неповторимо,
Но в мыслях снова и опять
Уйдут любимая с любимым
Неповторимость повторять.

Вернутся в комнату, в которой
Их ждут в знакомой полумгле
Все та-же спущенная штора
И те-же розы на столе.

Никто им там не помешает
И хоть на несколько минут,
Неповторимость повторяя,
Друг к другу радостно прильнут.

В душе прошедшее хранимо,
Лишь оживи его черты!
И только то неповторимо,
Что повторить не хочешь ты!

★

Было сказано когда-то елке:

Будешь, правда, ты сухой и колкой,
Но зато всегда, зимой и летом,
Всех добротней и прочней одетой.
С виду только будешь недотрогой —
У тебя для всех подарков много:
Ты свое отдашь на избы тело,
Шишками кормить ты будешь белок,
Под тобой, в гостеприимной хвое,
Выводок грибков себя пристроит
И угодья не найдется лучше
Для усердной муравьиной кучи.
Снегу дашь приют в широких лапах,
Ваннам — свой лесной подаришь запах,
А как только Рождество настанет —
Расцветешь огнями и сластями.
Дети вкруг тебя забьют в ладошки,

Прослезятся старики немножко —
Всех своим порадуешь ты блеском,
А потом сгоришь с веселым треском.
Словом: доброй будешь ты и ладной,
Раз в году — особенно нарядной
И за то, что ты такая, люди
Хорошо, тепло тебя полюбят!

★

Фонтан любви. фонтан живой!
Я в дар принес тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.

Нет бедных рифм, докучливых, плохих,
Есть только нежеланье в них оправить
Настойчиво их требующий стих.
Как можно, дескать! Рифма так стара ведь!

А между тем в стихах мгновенья есть,
Когда те рифмы им необходимы,
Когда их надо смело произнесть,
Не обходя их малодушно мимо.

Когда иная легкая строка
Стремится и пленительно и ново,
Но требует, как берегов река,
Спокойного, совсем простого слова.

Простейшее! Оно одно не лжет!
И «розы — слёзы» так благоуханно,
Так трепетно рифмуют, так свежо
В строках к Бахчисарайскому фонтану!

Дм. Кленовский, 1968

НА ГОГОЛЕВСКИЕ ТЕМЫ

КТО ПОДЛИННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ «ДЕМОНИЧЕСКОГО» ПЕТЕРБУРГА?

Всем известно письмо Гоголя к Погодину из Рима, написанное при известии о смерти Пушкина. Оно интересно признанием его огромной роли в творчестве Гоголя. «Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему». Пушкин, как мы знаем, подсказал сюжет «Ревизора», сюжет «Мертвых Душ» и «ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета» — признается Гоголь. Правда, некоторые исследователи берут под сомнение черезчур большую личную близость Гоголя к Пушкину, но влияние на него гения поэта вряд ли может быть оспариваемо. Гоголь не только слушал, но читал Пушкина и чтение давало ему не меньше, чем личное общение. Для нас это представляет особую важность, в данном случае. Русское литературоведение почти не занималось этой темой и, кажется, никто еще не проводил литературных параллелей: Гоголь—Пушкин.* Их имена для читателей знаменуют две совершенно разные литературные стихии.

Тем не менее, беру смелость утверждать, что целый цикл гоголевских рассказов навеян и вышел из соответствующего цикла пушкинских поэм. Речь идет о так называемых «петербургских повестях» — таких, как «Невский Проспект», «Портрет», «Нос», «Шинель». Все они объединены особым колоритом и какой-то общей нотой, которой нет ни в «Вечерах на Хуторе», ни в «Миргороде», ни в «Мертвых Душах», ни в одном из прочих гоголевских произведений, но которую всякий, обла-

---

* Некоторое ислючение представляют немецкие работы проф. В. М. Сечкарева — "Zur Interpretation von Gogols 'Nase'" (Zeitschrift fuer Slavische Philologie, Band XXI), а также его "N. V. Gogol. Leben und Schaffen". В этой же связи можно назвать и статью Нильса А. Нильсона "Gogol et Petersbourg" (Etudes de Philologie Slave, v. 4. Stockholm).

дающий литературным слухом, уловит в пушкинских поэмах — в «Медном Всаднике», в «Домике в Коломне», в «Пиковой Даме». Эти вещи Пушкина тоже «петербургские».

Казалось бы, что общего у «Медного Всадника» и «Домика в Коломне», с «Портретом», с «Шинелью», с «Носом»? И как можно сравнивать пушкинский Петербург, город Марса и Аполлона, с зловещим Петербургом Гоголя, где все дышит обманом, где случаются необыкновенные происшествия и где ночью «сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде»?

Ни школа, ни литературная критика не наводили нас на такое сопоставление. Но что если Гоголь оказался более прозорливым читателем чем мы и увидел в «Медном Всаднике» то, чего мы до сих пор не замечаем?

А. Н. Бенуа — первый навел на эту мысль своими иллюстрациями к «Медному Всаднику». Вглядитесь в эти замечательные эстампы и вы почувствуете в мистике представленного там Петербурга пушкинское и гоголевское одновременно. И сколько бы советская критика ни надсаживалась в своем отрицании этой мистики — ее невозможно не видеть. Но «Медный Всадник» — только одно из интересующей нас группы произведений. Вместе с «Пиковой Дамой» и с «Домиком в Коломне», он переносит нас, как бы в особую страну. Переступив ее черту, мы, по словам Ходасевича, «оказываемся замкнутыми в необычайном, доселе неведомом мире, которого законы совершенно своеобразны, но непреложны, как законы нашего повседневного мира». По смыслу этих слов, в поэзии Пушкина существует еще какой-то Петербург, кроме того, которым мы любовались во вступлении к «Медному Всаднику» — этому апофеозу красоты, блеска и величия «Петра творенья». Вся поэма, как бы специально написана во славу северной столицы, и трудно допустить, что поэт носил в себе и другой образ города. Но это так.

Лет около шестидесяти тому назад совершено открытие, не оставляющее в этом сомнения. В конце 1912 г. П. Е. Щеголевым и Н. О. Лернером, почти одновременно, извлечена из забвения и перепечатана повесть, впервые появившаяся в альманахе «Северные Цветы» на 1829 г., за подписью Тита Космократова. Называлась она «Уединенный домик на Васильевском».

История ее возникновения вполне установлена Щеголевым

и Лернером. Однажды вечером в 1829 г., у Карамзиных, Пушкин рассказал страшную повесть, повергшую в трепет сидевших там дам. В числе слушателей находился молодой литератор В. П. Титов, на которого рассказ произвел столь сильное впечатление, что придя домой, он записал его и потом отнес Пушкину. Поэт просмотрел рукопись, внес некоторые поправки и согласился на ее опубликование, уступив авторство своему ловкому поклоннику, который и напечатал ее в «Северных Цветах». Таким образом, общий замысел, сюжет, композиция и некоторые стилистические штрихи этого произведения принадлежат Пушкину. Когда, в 1915 году, оно выпущено было отдельной книжкой, в авторском титле уже значился не Тит Космократов, а «Пушкин-Титов».* Издание сопровождалось замечательной вступительной статьей В. Ф. Ходасевича, проведшего нити от «Уединенного домика» к «Домику в Коломне» и к «Медному Всаднику». Оба домика походили друг на друга не только тем, что стояли на тогдашних окраинах Петербурга, но и своими обитательницами; в каждом жила старушка с дочерью и с престарелой служанкой.

С «Медным Всадником» оба домика связаны местом действия. Домик невесты Евгения, смытый волнами, стоял тоже на Васильевском острове, а сам Евгений жил в Коломне. Девушка, жившая в Коломне, носила имя Параши, и так же звали невесту Евгения. Ходасевич мастерски проследил эти внешние линии связи, но он отметил еще один объединяющий мотив — вторжение во все эти мирные приюты недоброй губящей силы. Невеста Евгения стала жертвой «злых волн», на домик в Коломне тоже надвинулась грозная опасность в виде таинственного пришельца. Мы до такой степени привыкли читать эту поэму, как шутку, как анекдот, что интерпретация Ходасевича не сразу принимается нашим сознанием. Но стоило ему напомнить о жуткой катастрофе, которая могла постигнуть Парашу в результате появления таинственного незнакомца, переодетого в женское платье, как смех наш утихает. Чем-то зловещим веет от его внезапного появления и столь же внезапного исчезновения.

Несравненно ярче и сильней это вторжение злой силы подано в «Уединенном домике на Васильевском». Там, светский

* Пушкин-Титов. — «Уединенный домик на Васильевском». Повесть. Вступительная статья. Вл. Ходасевича. М. 1915.

дэнди, Варфоломей, проникший в тихую обитель — настоящий дьявол. Ему удается удалить оттуда доброго, но легкомысленного юношу — единственного друга семейства, направить его в игорный дом красавицы графини — в настоящий вертеп, где за картами собираются странно-одетые личности. Как явствовало из их восклицаний, играли они не на деньги, а на «души». Увлеченный графиней, он претерпевает козни нечистой силы, выманивающей его в одну глухую ночь на улицу, потом на окраину, где он садится на первого попавшегося извозчика и мчится неизвестно куда. Остановив возницу и потребовав объяснений он увидел себя в глубоких снегах, среди полей, окружающих Петербург. Извозчик, лошадь и сани пропали.

Убравши с пути соперника, Варфоломей становится своим человеком в «Уединенном домике». Он снимает с души бедной старушки камень забот о судьбе дочери, он обещает на ней жениться. Но сама старушка, тяжко заболевает. У дочери, хоть она ничего плохого в Варфоломее не видит — неспокойно на душе.

Тревога ее, однако, смиряется при виде забот, которыми Варфоломей окружает больную. Одно вызывает недоумение у девушки и у служанки; Варфоломей противится приходу в дом священника со Св. Дарами для причащения и для исповеди умирающей. Он все делает, чтобы старушка отошла на тот свет без отпущения грехов. Когда она умирает, домик оказывается объятым пламенем и сгорает, а Варфоломей пропадает бесследно, как тот незнакомец, что брился в «Домике в Коломне».

«Откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела?» — так кончается повесть об «Уединенном домике на Васильевском». Не кажется ли эта фраза взятой из Гоголя, а не из Пушкина? Между тем, появилась она в печати чуть не за два года до приезда Гоголя в Петербург и за пять лет до того, как начали создаваться его петербургские повести, когда ему особенно ясны стали «невидимые глазом порождения злого духа возмущающие мир». Сейчас, корни фантастики и мистики гоголевских повестей ищут, чаще всего, за границей — у Гофмана, у Тика и Новалиса, у Матюрина, у Бальзака, но никому не приходит в голову «свой», более близкий источник.

После открытия Лернера-Щеголева, после статьи Ходасевича у нас не остается сомнений, что не Гоголь, а Пушкин поселил нечистую силу в северной столице. Он, а не Гоголь —

творец инфернального облика Петербурга. «Уединенный домик на Васильевском», безусловно, родоначальник и «Медного Всадника», и «Домика в Коломне», и «Пиковой Дамы». Он свидетельствует, что уже к концу 20-х годов Пушкин увлекался «чертовщиной» и если первый свой опыт в этом направлении, по-царски, щедро уступил неизвестному литератору, то самую тему не забросил, она продолжала волновать его.

Подметивший это В. Ф. Ходасевич взял как бы обязательство показать демонскую силу в пушкинских поэмах, прежде всего, в «Медном Всаднике». Не легко это. Кроме «злых волн», разбушевавшейся стихии, что можно назвать в подкрепление такой мысли? Ходасевич не побоялся указать на Петра — того Петра, которому в «Медном Всаднике» пропет такой дифирамб. Бронзовый Петр представляется ему духом страшного бедствия обрушившегося на Петербург. Ходасевич, едва ли не первый, обратил внимание на двойственный характер образа того,... «чьей волей роковой над морем город основался». У Пушкина он величественен, прекрасен и в то же время «ужасен он в окрестной мгле». Таков же его портрет в «Полтаве»:

...Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.

Привносить сатанинские черты в образ Петра начали еще при его жизни. Раскольники объявили его Антихристом. Но не эта грубая заговорщицкая легенда повлияла на Пушкина. Далек был он и от плоской шестидесятнической легенды, возникшей уже после его смерти и начавшейся с легкой руки Герцена, выразившего сожаление, что картечь не расстреляла медного Петра во время событий 14 декабря 1825 г. Для всего революционного подполья, для всей серой армии курсисток и студентов фальконетовский монумент на Сенатской площади сделался символом самодержавия, трагедией России вздернутой на дыбы. После большевицкого переворота, это было узаконенное, политически апробированное толкование, обязательное, как в школьном преподавании словесности, так и в литературоведении. До 1934 г., до реабилитации Петра Сталиным ни один учитель в советской школе не смел преподносить ученикам иного толкования пушкинской поэмы. К нашему ужасу, его повторил недавно Г. В. Адамович.

Несчастье в том, что приходится иногда доказывать, что Пушкин, все-таки, не Скабичевский, не Сакулин, не Переверзев. Будь он таковым, как бы выбрался из внутренних противоречий своей поэмы? Как бы сочетал чертей с социологическим методом восприятия истории? Чем бы оправдал фанфары Петру и его творенью? Под какую бы нигилистическую идеологию подвел: «Красуйся град Петров и стой неколебимо, как Россия!»?

И разве мы не знаем, наконец, что благоговение перед гением Петра, перед его историческим подвигом проходит через всю жизнь, через все творчество Пушкина? В. Ф. Ходасевич, к сожалению, воздержался от объяснения странного сочетания красоты и ужаса в образе пушкинского Петра. Попробовал привести слова Белинского, видевшего в нем «смысл трагедии национальной», но так и оставил нить недоведенной до конца. Будем благодарны и за то наблюдение, которое он сделал. Оно помогает глубже понять гений Пушкина. Он не был бы Пушкиным, если бы сбился на пошлую политическую ноту, заглушив в себе голос вечных тайн жизни и мироздания.

И Петр и Петербург страшны именно потому, что прекрасны. «Красота страшна» — писал А. Блок Ахматовой. Эту истину знали задолго до Блока. Она известна еще древним. Самый прекрасный бог, Аполлон, был самым жестоким. «Страшный бог» называли его в некоторых частях Греции. В мировой словесности можно набрать большой букет цитат и высказываний о страшном и жестоком образе красоты. Очень часто она откровенно соединяется с сатанизмом.

Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон коварна и зла.

Красавица — панночка в «Вие» — ведьма. Небесное лицо незнакомки, увлекшей Пискарева в «Невском Проспекте», отдано на служение злу и погублению чистых душ. Слава о Петербурге, как о божественно-прекрасном городе шла еще в XVIII веке, когда он не был закончен постройкой. Виже Лебрен, приезжавшая в Россию при Екатерине, сравнивала его с незаконченным портретом, где общие контуры схематично обозначены и лишь отдельные части лица выписаны отчетливо. В этих завершенных частях она увидела чело и глаз Аполлона. Только с наступлением «дней Александровых» Петербург приобрел свой

полный вид и выступил, как «полнощных стран краса и диво». Пушкин с лицейских лет покорен был его красотой. Но в отличие от простых смертных понял ее глубже и проникновеннее. Пожалуй, никто глубже его красоты, вообще, не воспринимал. Таящийся в ней яд демонизма был для него неотъемлемым признаком красоты. Она, как известно, и погубила поэта. В. В. Розанов упрекал Пушкина за отсутствие «святости супружества» в его браке с Н. Н. Гончаровой. Он женился на «красоте» и, как мы знаем, испытывал перед свадьбой некоторые сомнения и колебания, точно предчувствуя беду. Но

«...все, что гибелью грозит
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья».

Итак, тот облик города, что видим в петербургских повестях, сложился до Гоголя. Возможен, конечно, вопрос: почему нельзя допустить вполне независимую творческую эволюцию, приведшую Гоголя к тому же литературному образу?

Теоретически это возможно. Но зачем теоретизировать, когда мы располагаем несомненными доказательствами пушкинского влияния?

На плане Петербурга есть место, пользующееся особым вниманием Гоголя. Это Коломна. Сейчас это имя знают, разве, историки и любители старого Петербурга; никто из простых жителей о нем понятия не имеет. Расположена она между реками Фонтанкой и Мойкой при их впадании в Большую Неву и некоторыми своими улицами — Подъяческими, Мещанскими, Садовой, Офицерской, Екатерингофским проспектом близко подходит к центру города. Название свое она ведет, повидимому, от слова «колонна». Так называл Доменико Трезини, один из строителей Петербурга, те прямые просеки — улицы в лесу, которые он прокладывал и которые русские рабочие называли более знакомым словом «Коломны».

Эта часть Петербурга занимает в повестях Гоголя особое место. Ростовщик-дьявол в повести «Портрет», живет в Коломне. Туда же автор поместил и ту немецкую колонию, где фантастика, как бы напояет воздух, где Шиллер-автор «Вильгельма Телля» и «Истории Тридцатилетней войны» смешивается с Шиллером жестяных дел мастером в Мещанской улице, где писатель Гофман трудно различим от сапожника Гофмана

с Офицерской улицы. В Коломне же, возле Калинкина моста, появляется по ночам мертвец в образе Акакия Акакиевича и срывает шинели с важных господ. Совершенно очевидно, это не простой уголок города, а что-то вроде заколдованного места — обиталище нечисти. Гоголь мог бы взять любую другую окраину Петербурга — Охту, Аптекарский остров, Пески, Выборгскую сторону, тот же Васильевский остров. Но избрал почему-то Коломну.

Это имя прославилось уже под пером Пушкина. Но неужели шуточная, как ее воспринимали, поэма о тихом домике у Покрова, могла дать повод взглянуть на всю эту часть города, как на чертово логово?

Нет, конечно, не «Домик в Коломне», а другая пушкинская поэма, «Медный Всадник», привлекла внимание Гоголя к Коломне. Там жил герой этой поэмы — Евгений. Ну и что же? — спросят нас. Какой же он дьявол или колдун? Просто несчастный человек — жертва катастрофы. Что мог Гоголь увидеть в нем демонического? Вопросы справедливые. Но в художественном творчестве апперцепции и ассоциации редко поддаются рационалистическому осмыслению. Суриковская боярыня Морозова родилась из мертвой галки, лежавшей на снегу.

Чтобы понять, как образ мирного обитателя Коломны мог привести Гоголя к созданию целого страшного мира, надо припомнить его портрет, набросанный Пушкиным.

Евгений — бедный, непритязательный, тихий человек из какого-то знатного, но забытого рода. Исторические подвиги предков не волнуют его, ни о геройстве, ни о славе он и не мечтает. Все его мысли — о семейном гнездышке, о Параше, о теплом местечке по службе, о воспитании ребят.

Кто знаком хоть немного с перепиской Гоголя, тот без труда узнает в Евгении ненавистный, глубоко презираемый автором «Портрета» тип «существователя». Еще будучи в гимназии, он писал своему приятелю Высоцкому: «Ты знаешь всех наших существователей, всех населивших Нежин. Они задавили корой своей земности, ничтожного самодоволия, высокое назначение человека...». Прожить на земле, не отметив ничем значительным своего существования, он считал не только признаком ничтожества, но почти грехом. Такой человек пошляк. Позднее его стали называть у нас мещанином. А ведь гоголевский чорт, это, прежде всего, воплощение пошлости. Отсюда не трудно заклю-

чить, как серенький ничем не замечательный Евгений избран был Гоголем и распространил свой образ на всю Коломну. «Вам известна та часть города, которую называют Коломной,... — говорится в «Портрете», — тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди,... выслужившиеся кухарки... и наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни сё, ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов». Уже из этого отрывка видно, что перед нами не описание, а некая импрессия. Далее перечисляются различные категории обитателей Коломны — отставные театральные капельдинеры, отставные титулярные советники, инвалиды с выколотым глазом и раздутою губою. «Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе». Жизнь их уединенна, все они бесстрастны, молчат ни о чем не думая; в общем, это «самый несчастный осадок человечества».

Чем заслужила Коломна такую убийственную характеристику, не встречающуюся ни в одном из произведений русской литературы? Она, конечно, не имеет ничего общего с реальной Коломной. Люди здесь, как люди, не отличались ничем от прочих обитателей Петербурга. Одно время, по окончании лицея, здесь проживал Пушкин. Гоголь, попросту, сочинил это жуткое поселение, придав ему вид нездешнего скопища духовно мертвых существ.

Не удивительно, что именно в эту часть города поселен был ростовщик-дьявол, что здесь, а не в другом месте мертвец охотился за шинелями. Окраина, населенная «существователями» — лучшее место для нечистой силы. Где ей и быть, как не среди этих пепельно-серых людишек, «несчастного осадка человечества»? Ведь чорт, по Гоголю, живет в нас самих, это наши грехи, пороки, несовершенства.

Страшные черты Коломны перенесены были понемногу на

весь Петербург. Их видим в «Невском Проспекте», в «Шинели» и, особенно, в «Носе».

Но, будучи наследием Пушкина, гоголевский Петербург сильно отличается от пушкинского. В нем нет небес, нет воздуха, нет дали, в которую можно было бы устремить взор; точно гигантское подземелье; тогда как пушкинский демонизм кажется скорее «светлым», изящным. Как прекрасна, например, сцена прихода мертвой графини к Герману, образ Петра «в окрестной мгле», вся симфония наводнения!

Пушкин, надо думать, не случайно подарил свой первый опыт демонического Петербурга В. П. Титову, «Уединенный домик на Васильевском» казался ему, вероятно, грубым, потому что чорт там явлен со всеми своими атрибутами вплоть до рогов и до апокалипсического числа 666. Такая дьявольщина оскорбляла его вкус. Ужас своих позднейших поэм он выводил из прекрасного, как неотъемлемую часть красоты. Оттого и самый ужас прекрасен и совершенно не похож на ужасы Жюль Жанена или Матюрина, которыми увлекался Гоголь. Гоголевский ужас расчитан на оцепенение, на подавление ума и чувства, он не из нашего мира выведен, а взят из преисподней, из купола Толедского собора, со средневековых алтарей и росписей, из Апокалипсиса, из дантова Ада, из церковной проповеди. Это тот страшный суд, который запал ему в душу, когда он четырехлетним мальчиком слушал рассказ матери о загробных муках. Всю жизнь он носил его в себе и всю жизнь пугал нас адскими чудовищами.

Н. Ульянов

КУДА ДЕВАТЬ МОЮ ПАМЯТЬ

Куда девать мою память,
Записку в толстой бутылке,
Кому мне ее оставить,
На какое прибрежье вытолкнуть?
Куда девать мое детство
В синей школьной тетрадке;
Время — лобастый деспот
Оплывает жирными складками.
А детство свирелью пело,
А детство играть хотело
Бликами в солнечных лужах
И свечкой за дачным ужином.
Кому нужна моя юность,
Студенческий миф о Мюнхене,
С травянистым дождем в июне,
Где бы грозы в каштанах бухали.
Если нужно вехи расставить,
Координаты назвать и схемы,
Скажем, музыка — это память,
Обработанная в системы.
Словно двери, для нас распахнут
Диалог мозговых излучин,
Где сияет движенье шахмат,
Если шахматный ход озвучен.
Скажем, музыка это сетка,
Сквозь которую брызжет пламя,
Словом, музыка — архитектор,
Оформляющий нашу память.
Движенье солнечных пятен,
Сквозное чистилище памяти;
Пена на перекате
Камни берет в объятия.
Страшен приют печальный
Погибших красок и звуков,
Кому его завещаю?

Память — еще не рукопись.
Потухшая лава памяти
На лицах мертвых планет;
В какие контексты вставите
Память, которой нет?
Или ты длишься память,
Не нуждаясь в лицах и узах,
Или уходишь в камень,
В воду, в деревья, в музыку?
Шумит, балагурит камень,
Лежа в воде на юру.
Скажите, чья это память
Будет, когда умру?

ВИРДЖИНИЯ

Зеленый плеск дворцовых чердаков
Дворцовых кухонь золотая копоть.
В крутые сливки белых облаков
Глядится пруд зеленоватым оком.
Медовый полдень прячет от жары
Густую страсть сожженной солнцем кожи,
И желваки осклабленной коры
На лица негритянские похожи.
Плантация оглохла на века,
Ее паук заплел хрустальным шелком,
И сквозь тугую заросль табака
История подглядывает в щелку.

Олег Ильинский, 1966

ОПЕРНАЯ ДРАМАТУРГИЯ РАВЕЛЯ

Оперному творчеству Мориса Равеля не повезло. Люди даже мало-мальски интересующиеся музыкой знают этого композитора как автора «Болеро», «Испанской рапсодии» или «Дафниса и Хлои». Менее широко известны его две изумительные оперы — «Испанский час» и «Ребенок и чудеса». В оперных театрах эти оперы ставятся очень редко и, если бы не доступность граммофонных записей этих произведений и передачи их по радио за последнее десятилетие, они, возможно, остались бы достоянием одних музыковедов. Кроме трудностей технического порядка (обе оперы — короткие, но постановочные, требуют больших затрат и сложного реквизита; вокальные партии рассчитаны на виртуозных исполнителей, но не дают певцам возможности блеснуть в сколько-нибудь развернутых эфектных ариях), отсутствие интереса со стороны оперных театров западного мира к этим двум шедеврам можно приписать глубокому непониманию или вернее ложному истолкованию со стороны музыкальных критиков. «Испанский час» обычно расценивается как забавный музыкальный фарс, а «Ребенок и чудеса» как сказка для детей. В небольшой монографии о Равеле (подзаголовок: «Книжка для юношества»), изданной в Ленинграде в 1964 г., автор А. Ступель, перепевая обычные высказывания французской критики, так и называет «Ребенка и чудеса» детской оперой, хотя это все равно, что назвать «Котика Летаева» детским романом только потому, что главный персонаж — ребенок.

Около двадцати лет разделяют время создания двух опер, они очень различны по замыслу, структуре, характеру музыки, однако, в них есть общий знаменатель: попытка раскрыть положения и характер действующих лиц не музыкальной иллюстрацией текста (как в операх Рихарда Штрауса), и не путем слития воедино текста и музыки (как в «Пелеасе и Мелизанде» Дебюсси), а при помощи музыки, носящей субъективный (с точки зрения поющего персонажа), психологический характер,

который как будто противоречит «объективным» данным либретто или высказываниям самого персонажа. Характернейший пример: первое появление на сцене героини «Испанского часа» Консепсьон. Ее бытовой, прозаический речитатив, обращенный к ее мужу-часовщику сопровождается страстной, извилистой фразой виолончели. Один английский критик, кажется Эрнест Ньюман, считал, что этот, повидимому, мало уместный акомпанимент должен изображать восторженное отношение часовщика к своей жене. Дело, однако, проще. Как во всей этой опере, музыкальный комментарий относится к субъективному душевному состоянию поющего персонажа. В данном случае, все существо Консепсьон полно ожиданием назначенной встречи с ее любовником, поэтом Гонзальво. Об этом и поет виолончель, а речитатив самой героини — напоминание мужу завести городские часы — это ее внешний прозаический облик, явленный ненаблюдательному миру.

Юмористический писатель и пародист, писавший под псевдонимом Франк-Ноэн, долго не мог понять почему Равель счел его немного циничную, написанную сложным разностопным стихом каламбурную комедию «Испанский час», пригодной для оперного либретто. В замысел самого Франк-Ноэна ничего подобного опере Равеля не входило. Скучающая супруга часовщика из Толедо завела роман с манерным, напыщенным молодым поэтом. Удалив мужа из дома, Консепсьон выслушивает страстные излияния поэта, но постепенно выясняется, что для него в любви главное не любовь, а возможности ее литературного преломления. Не может же Консепсьон упустить такой редкий случай не изменив мужу! Есть и другой поклонник, толстый банкир, дон Иниго Гомез. Но тучный банкир, которого по распоряжению Консепсьон вносят к ней в комнату, спрятанного в огромные стенные часы, застрял в этих часах и не может воспользоваться выпавшим на его долю неожиданным счастьем. Героиня плачет от досады (и от неудовлетворенного вожделения). Однако, в последнюю минуту она замечает мускулистые плечи скромного, застенчивого погонщика мулов Рамиро, который в течение всего действия покорно выполнял ее капризы, переставляя с места на место тяжелые часы со спрятанными в них поклонниками. Погонщику мулов посчастливилось больше, чем поэту или банкиру. Об этом говорят персонажи комедии в обращенном к публике эпилоге: «Такова

мораль Боккачио: из всех любовников побеждает самый способный. В игре любви рано или поздно настает очередь погонщика».

И это все. Персонажи, как отмечает и сам автор комедии в эпилоге, схематичны, кукольны, односторонни. Важный банкир, жеманный поэт, придурковатый муж-часовщик, наивный простак Рамиро. Но как эти куклы оживают, углубляются, очеловечиваются музыкой Равеля! В мужских персонажах появляются рыцарство и идеализм, на которые автор комедии, конечно, не рассчитывал. Как ни странно, новые измерения привнесенные музыкальными средствами не противоречат тексту, а раскрывают его с новой стороны. Нежность к жене в ласковых интонациях партии часовщика делает эту роль привлекательнее и человечнее, чем обычный штамп безжалостно осмеянного рогоносца у Франк-Ноэна. Поэт Гонзальво в музыкальном воплощении Равеля, действительно одержим творческим горением. В то же время это какое-то пародическое *reductio ad absurdum* брюсовского Поэта, для которого «все в жизни лишь средство / для ярко-певучих стихов». Его томные, ультраиспанистые напевы и воплощают страсть и пародируют эту же страсть. Но он так себя изливает в этих мелодиях и с таким упоением ищет возможности их литературного воплощения, что у него ничего не остается для Консепсьон: она была только стимулом, вызвавшим к жизни его основной вид деятельности, литературу. Любимая женщина упорно рвется в его объятья, а Гонзальво уже занят поэтической обработкой сладостных минут, которые он на деле как-то не удосужился пережить. Пародия? Фарс? Да, конечно, но в другой плоскости средствами оперного театра здесь дано глубокое наблюдение над истоками и природой художественного творчества.

Толстый, смешной банкир приволокнулся за разбитной дамочкой и попал в дурацкое положение. Что уж, кажется, могло быть пошлее? Но и тут, в партии застрявшего в часах дона Иниго Равель перемещает все ожидаемые акценты и симпатии. Пенье банкира сопровождает в оркестре какой-то звенящий, упоительный вальс, разрываемый в клочья неожиданными паузами. Как будто в грузном, стареющем теле банкира заключен, как в тюрьме, восторженный, романтический юноша, не желающий сдаваться, куда-то рвущийся, о чем-то грезящий. Опять средствами музыки пошловатая сценка превращена в

человечнейший комментарий о молодости и старости. И, наконец, симпатичный, наивный погонщик (мужиковатый и несообразительный у Франк-Ноэна) становится воплощением мягкой мужской доброты и галантности при помощи равелевской музыки.

Остается, конечно, сама Консепсьон. Очеловечив мужских персонажей, Равель как будто не очень хорошо поступил со своей героиней. И на самом деле, если в комедии Франк-Ноэна расстановка сил была равной — пять забавных заводных кукол, то в опере Равеля оказываются четыре симпатичных идеалиста и все та же Консепсьон из комедии, только о том и мечтающая, чтобы хоть как-нибудь и хоть бы с кем угодно изменить мужу. Ее главная ария — отчаянная жалоба на судьбу, мешающую ей выполнить этот план, причем никаких оркестровых «оправдательных актов» или скидок ей композитор тут не делает. Можно ли поэтому самого Равеля обвинить в каком-то скрытом женоненавистничестве и заподозрить в модных в эпоху создания «Испанского часа» идеях о сугубо-половой природе женщин, идеях в стиле Пшибышевского или некоторых драм Леонида Андреева? Можно было бы, если бы Равель не написал оркестрового вступления к опере, являющегося на мой взгляд музыкальным портретом героини.

В литературе о Равеле, вступление к «Испанскому часу» рассматривается, как оригинально задуманное изображение мастерской часовщика. Критики много писали о тикающих маятниках, кукушках, музыкальных шкатулках, вертящихся игрушечных балеринах и певчих птичках, виртуозно переданных оркестром Равеля. Все это в музыке вступления есть, но все эти восхитившие критиков звуковые украшения служат орнаментом для основного стержня вступления: унылой, монотонной пятидольной фразы, которая проходит через всю музыку начала оперы и которая два раза доводится до каких-то взрывов отчаяния. Трудно, кажется, найти во всей музыкальной литературе столь совершенное воплощение тоски и скуки (самые близкие параллели: вступление ко второй опере того же Равеля, изображающее скучающего ребенка, и одна из «По-настоящему дряблых прелюдий» музыкального юмориста Эрика Сати, где он хотел передать скулёж запертой в доме собаки). Но кто это так тоскует и рвется в мастерской часовщика из Толедо? Не сам же благодушный владелец, всегда довольный делами, кли-

ентами и уж, конечно, «сам собой / своим обедом и женой». Изнывает от скуки среди всего этого звона и тиканья жена часовщика, которая при таком истолковании вступления неожиданно оказывается двоюродной сестрой Катерины Измайловой из оперы Шостаковича. Только там, где лесковская героиня у Шостаковича от скуки заводит шашни, кормит свёкра отравленными грибами, душит ребенка, топит соперницу в реке и кончает жизнь самоубийством (да еще вдобавок, по замыслу композитора, выносит обвинительный приговор всей царской России), испанско-французская героиня Равеля довольствуется только первым шагом — шашнями, не принося никого в жертву и не заботясь об обличительном пафосе. В данном случае концепция Равеля, конечно, человечнее. Если моя трактовка вступления правильна, легкомыслие Консепсьон разъяснено и по-своему оправдано оркестром, еще до ее первого появления на сцене.

Чарующие мелодии «Испанского часа» поручены большею частью инструментам оркестра. Поэту Гонзальво даны несколько страстных испанских мелодий, но они явно пародируют псевдо-испанский мелос оперной литературы 19-го века. Только в развернутом финальном квинтете в ритме хабанеры певцы наконец получают возможность и мелодично петь и выделиться в мастерских колоратурных орнаментах, а оркестру отведена роль ритмического сопровождения. Построив почти всю оперу на речитативном пении и на редких отдельных мелодических фразах, не получающих дальнейшего развития, Равель по его собственному признанию вдохновился «Женитьбой», незаконченным и довольно загадочным оперным отрывком Мусоргского на сюжет комедии Гоголя. Что именно, кроме речитативного принципа (имевшегося уже и у Даргомыжского и у Дебюсси) Равель мог в этом отрывке почерпнуть — неясно. Ни в переписке Равеля, ни в высказываниях мемуаристов нет указаний на знакомство Равеля с рукописной партитурой Мусоргского. А издана «Женитьба» в чудовищно искажающей замысел композитора редакции Римского-Корсакова. Римский снабдил свою редакцию примечаниями о якобы «неудобно-исполнимых» и «неощутительных на слух» ритмических сложностях и «неблагозвучных гармониях» в рукописи Мусоргского, которые он будто бы исправил (вроде того как Тургенев исправлял метрические ходы «Сна на море» Тютчева). В тех же примечаниях,

Римский приводит примеры ритмических и гармонических находок Мусоргского, из которых сразу становится ясно, что в этом незаконченном отрывке Мусоргский пробовал разрабатывать ритмические рисунки, напоминающие «Свадебку» Стравинского, и что возмутившие Римского гармонии, основанные на параллельных секундах, предвосхищают чуть ли не Белу Бартока. Римский легко со всей этой «ересью» разделался, сократив или вдвинув ритмы в привычные такты на три или четыре четверти и переделав секунды в форшлаги по всем правилам школьной гармонии. Так что хотя и соблазнительно было бы возвести гармонические пряности и ритмически свободную декламацию «Испанского часа» к этому, повидимому, революционно-оригинальному отрывку Мусоргского, но доступная Равелю упрощенная редакция Римского оснований для этого не дает.

Когда Равель вновь обратился к оперной форме, около двух десятилетий после «Испанского часа», его эстетика музыкального театра существенно изменилась и его стали привлекать совсем другие задачи. В «Ребенке и чудесах», мелодии поручаются человеческим голосам, роль оркестра скромнее, хотя и тут блеск и сверкание равелевского оркестра сказочно расточительны. Либретто второй оперы Равеля создавалось в сотрудничестве с замечательной писательницей Колетт. Тончайшая стилистка, глубокий сердцевед, эта писательница почему-то считалась бульварной романисткой в дореволюционной России. В советской публицистике и критике она не замечается или замалчивается, несмотря на широкую популярность ее произведений на Западе и все возрастающую, трогательную любовь к ее личности и творчеству в очень широких читальских кругах как во Франции, так и в С. Ш. А., в Англии, и особенно в Германии.

В либретто, написанном ею для Равеля, Колетт в остроумной форме, и использовав условности и приемы французских детских сказок, создала интересную и глубокую аллегорию на вечную тему, получившую в последние годы острую актуальность: тему разрыва между поколениями, тему взаимного непонимания «отцов и детей», нежелание и неумение младшего поколения оценить духовные, моральные и общественные ценности, созданные «отцами». Скучающий маленький герой оперы — мальчик, которого засадили за уроки, ему не дают бегать

на воле, не дают мучить животных для развлечения. Во время короткого эпизода с увещевающей его матерью, ребенок молчит. На ее прописные истины ему нечего возразить: он знает, что его не поймут. Дальше следует взрыв: ребенок оставлен один и, чтобы почувствовать себя свободным, предается оргии разрушения и вандализма — бьет посуду, заливает огонь в камине, режет обои, ломает стенные часы, рвет свои книжки и набрасывается на кота и ручную белку, которые в ужасе спасаются бегством. Все это сопровождается радостным криком: «Ура! Долой уроки! Долой обязанности! Я свободен, свободен, пусть я плохой, но я свободен!»

В «Испанском часе» действие развивалось непрерывно. Либретто Колетт построено в оригинальной эпизодической форме «оперы с выдвижными ящиками»: в длинной последовательности отдельных эпизодов, в которых испорченные вещи и обиженные животные изливают свои чувства, маленький герой постепенно уясняет себе сущность и последствия его «бунта». В первой части оперы, Колетт каким-то образом набрела на одну из тем современных ей русских поэтов. Тема «восстания вещей», отказ неодушевленных предметов служить низменным целям человека, разрабатывалась Хлебниковым («Журавль», «Маркиза Дезэс»), Маяковским, Мариной Цветаевой («Лестница»). Утомившегося от разрушений мальчика отказывается держать мебель. Кресло и кушетка вдруг оживают и в громоздком дуэте, в темпе сарабанды, заявляют об отказе служить маленькому варвару, а в оркестре тяжелые аккорды фортепьяно и скользящие глиссандо тромбона и виолончели создают впечатление, что в комнате накренился пол и вся мебель угрожающе катится куда-то.

Вслед за комически-помпезной мебелью выступают испорченные часы — ария для баритона. Это один из самых убедительных примеров музыкальной психологии в оперной драматургии Равеля. Если в «Испанском часе» композитор сумел развить сложные психологические узоры на канве кукольных персонажей Франк-Ноэна, то во второй опере, с помощью Колетт, он наделяет неодушевленные предметы, растения и животных той же убедительной человечностью. Партия часов — развернутый, и по-своему трагический портрет определенного типа деятельного человека. Главное в жизни этого часового человека — порядок и польза. Долгие годы часы

честно служили человечеству: давали знать когда вставать, когда ложиться и когда принимать близких и любимых людей. Механическая, размахивающая маятником ритмика арии постепенно переходит в широкий, напевный лиризм — ведь побуждения часов были альтруистические, часам хотелось своим тиканьем сопроводить мальчика в счастливое светлое будущее. А тот возьми да поломай маятник! Часы столкнулись с иррациональной, разрушительной силой. Возмущение, горе, а главное: недоумение («ведь я хотел только его же счастья!»). В отчаяньи, что они отстают, часы ставят сами себя в угол, чтобы скрыть от мира стыд и боль, а музыка перебоями ритма иллюстрирует это крушение.

После сложно-задуманного (и вряд ли доступного детской психике) эпизода с часами следуют эпизоды более развлекательного характера. Гротескный дуэт разбитой посуды — нагловатого английского фарфорового чайника (тенор, поющий на смеси английского и французского) и изящной китайской чайной чашки (меццо-сопрано, изъясняющаяся на заумном языке, призванном изображать китайский, но построенном на гортанных, квази-японских словах типа «харакири», потому что, как замечает чашка, «все равно не поймут») — красочно инструментованный фокстрот во вкусе двадцатых годов. Светская и изысканная мелодия чашки (ее потом повторяет играющий в стратосферически-высоком регистре тромбон) отдаленно напоминает тогда еще не созданное «Болеро». Головоломно-трудная фиоритурная ария Огня (колоратурное сопрано), рассерженного на то, что его залили водой из чайника, воссоздает блестящие кабалетты эпохи расцвета итальянского бель-канто. Хор и танцы разлученных пастушков и пастушек на разодранных ребенком обоях музыкально просты и безхитростны, однако, если внимательно вслушаться в эту хрупкую музыкальную пастораль («злой мальчик навсегда растерзал нашу нежную повесть»), в горле слушателя появится неожиданный для него самого комок.

Перепуганный виденным и слышанным, ребенок ищет ответа в книгах, из которых он недавно вырывал страницы. Из тома немецких сказок поднимается принцесса — его любимая героиня. Она во власти злого колдуна, но мальчик знает сказку наизусть: на помощь принцессе скачет отважный рыцарь, в оркестре все ближе звучат копыта его коня, уже звенят побед-

ные трубы... Но тут все обрывается, страницы описывающие спасение принцессы уничтожены. Теперь ее ничто не спасет и с отчаянием маленький герой видит, как косматые лапы колдуна увлекают ее в подземелье, навсегда. А в арифметическом задачнике уничтожены таблицы с ответами и хор маленьких злых цифр (детские голоса) обрушивает на ребенка потоки чудовищных дробей, бессмысленные обрывки типичных ситуаций из арифметических задач («некто купил то-то и то-то»), и заведомо неверных вычислений. Иррационально-злое в человеке одинаково губительно и для области мечты и фантастики (сказка), и для логического мирка прикладной математики.

Бурю цифр сменяет тишина. Мальчик оглушен и сражен. Возвращается кот, и недавно истязавший его ребенок бросается к этому живому существу, чтобы отвести душу. Но обиженному коту не до хозяина: у него завелся роман с белой кошкой. Если этот эпизод аналогичен соответствующему эпизоду из «Спящей красавицы» Чайковского, то музыка этого какофонического кошачьего дуэта, как ни странно, восходит к медленной части «Патетической симфонии» — тот же запинающийся вальсообразный узор пятидольного строения.

Дуэт кошек служит переходным звеном ко второй части оперы. Действие переносится из комнаты в сад, из мира очеловеченных предметов в мир очеловеченных живых существ. Звучность оркестра сразу же теплеет и как бы наливается кровью, что достигается гениально-простым приемом: вступает вся группа струнных, во всей первой части игравшая только пиччикато, если не считать выступлений отдельных солирующих инструментов. На фоне протяжных фраз впервые запевшего струнного оркестра, изображающего теплую летнюю ночь, Равель музыкально живописует чириканье сверчков и щелканье соловья. Закулисный хор, поющий на заумном «лягушачьем» языке (пути Колетт совпадают здесь с путями русского футуризма!), изображает отдаленное кваканье в болоте. Но вот появляется ребенок и выясняется, что с природой человек обращается не лучше, чем с собственными вещами. Деревья (мужской хор) истекают смолой от ран, нанесенных ножиком мальчика, стрекоза (контральто) грустит о посаженной им на булавку подруге, а самец летучей мыши отчаянно мечется, чтобы прокормить детенышей, мать которых ребенок убил удачным ударом палки. Длинный балетный эпизод («Та-

нец древесных лягушек»), искрящийся вальс, развивающий и варьирующий мелодию тоскующей стрекозы, завершается сценой окончательного просветления в сознании мальчика.

Глупая древесная квакша (тенор-буффо) прыгает к нему под ноги, а убежавшая в начале оперы ручная белка предупреждает ее с дерева: «А клетка? Посадит тебя, как меня, в тюрьму, безмозглая!» Потрясенный ребенок старается оправдаться, говорит, что он держал белку в клетке потому, что любил ее и хотел любоваться ее проворством. Ответное ариозо белки (меццо-сопрано) — замечательнейшие по глубине, патетике, и выразительности страницы этой партитуры. Страшно вносить хаос и разрушение в созидательную работу других (эпизоды с часами и с арифметическим задачником), страшно по произволу разлучать любящих друг друга (пастушки на обоях, принцесса, стрекозы), страшно для развлечения убить живое существо (летучая мышь, деревья). Но самые потрясающие страницы этой якобы забавной детской оперы говорят об одном из ужаснейших явлений нашего века: лишение других свободы, совершаемое под прикрытием гуманных или прогрессивных фраз. С таким же подъемом и отчетливостью выразил эту тему в оперной музыке один из величайших композиторов 19-го века — Бетховен в «Фиделио». Пишущий эти строки присутствовал, когда одна немецкая журналистка, слушавшая «Ребенка и чудеса» в грамофонной записи и с текстом в руках, прослушав ариозо белки в превосходном исполнении певицы Соланж Мишель, вышла из комнаты с дрожащими губами. «Такое у нас было при Гитлере», заметила она потом. Едва ли подробный музыкальный анализ сможет показать, как именно Равель добился столь глубокого воздействия в этом ариозо, длиною в каких-нибудь четыре странички партитуры и выдержанного во внешне корректной форме медленного вальса-бостона.

В финале оперы маленький герой делает выводы из всего, чему его научили вещи и звери. Он перевязывает поврежденную лапку белки и под примиренно и просветленно звучащий хор медленно идет к родному дому. Перед падением занавеса, он произносит одно слово, в котором выражено его понимание необходимости цивилизации, традиции, терпимости. Это слово — «Мама». Появляющаяся над хором фигурация гобооев, изображавшая скуку и отвращение в начале оперы, теперь звучит приятно и привлекательно.

Оперы Равеля блестящи по форме, глубоки и человечны по содержанию. Их трактовка трудных, проблематических сторон человеческой жизни в искристом и как бы играющем тоне — высокое искусство, искусство без пафоса и ложных глубин, сравнимое с такими же высокими и светлыми созданиями Гёте, Пушкина и Моцарта. И все же эти оперы оказались ненужными в репертуаре большинства театров мира. В американском телевидении ежегодно дается банальнейшая детская опера Менотти «Амал и ночные гости», в русских театрах продолжают возобновлять топорную по музыке и либретто (несмотря на отдельные прелестные эпизоды) «Снегурочку», а в Германии на святках царит уютно-мещанская опера «Гэнзель и Гретель», хотя по художественным достоинствам и по красоте музыки эти, ставшие традиционными, опусы далеко уступают сказочной второй опере Равеля. И уж, конечно, по вокальной и инструментальной прелести «Испанский час» намного превышает почти все ставшие репертуарными одноактные оперы, вроде «Паяцов», «Сельской чести» или мелодраматической, пошловатой «Саломеи» Рихарда Штрауса. В чем же дело? Очевидно, в том, что легкость фактуры и игривость изложения помешали критикам и публике почувствовать всю глубину и значительность равелевских опер. Точно так же читатели пушкинской эпохи сразу же пришли в восторг от «Бориса Годунова», а вот «Медный всадник» и «Домик в Коломне» десятилетиями продолжали рассматриваться как непритязательные пустячки. Таким же образом весь девятнадцатый век или не замечал или возмущался человечнейшей из опер Моцарта «Кози фан тутте», и только в двадцатом веке сообразили, что возмутившая Бетховена и Вагнера «безнравственность» либретто этой оперы на самом деле является полемической и гуманной пропагандой терпимости и женского равноправия. Надо надеяться, что участившиеся за последнее время радиопередачи равелевских опер поведут к пересмотру шаблонных представлений об этих двух значительных и оригинальных музыкальных явлениях двадцатого века. Так же, как свежее прочтение либретто «Кози фан тутте» привело к новой оценке великолепной музыки этой оперы (казавшейся ослепленному викторианскими моральными запретами Вагнеру слабой и неудачной), углубленное и обновленное понимание «Испанского часа» и «Ребенка и чудес» должно в будущем раскрыть слушателям все совершенство и радужный блеск этих двух партитур Равеля.

С. Карлинский

ДИОТИМА — НОЧЬ

Николаю Татищеву

Диотима уходит, цветы цепенеют в молчаньи.
О, прощай, Диотима, прозрачен, как воздух твой след.
От волос твоих синих идет золотое сиянье,
Драгоценная память тобой совершенных побед.

Оглянись и увидишь. Торжественно следует мимо
Вереница прошедших веков и забытых имен.
Ты поднимешь для них покрывало свое, Диотима.
Пред тобою склонятся древки побежденных знамен.

Диотима прошла и рассыпался звездами вечер.
Тишина запевает и птицей небесной поет,
И кружится, кружится, кружится по острову ветер,
Увлекая лавровые рощи в последний полет.

НОЧЬЮ

О просияй, о просветлей
Узор неясный нашей жизни
Взметнись над чернотой ночей
Небесной радугою брызни
Залей водой, сожги огнем
Схвати и претвори все это
Очисти всё, что было днем
И приготовь нас для рассвета.

Зинаида Шаховская, 1968

НАШ МАРШ

В январе 1918 года я прочел только что сочиненное стихотворение Маяковского «Наш марш». Заглавие означало, что марш этот наш, марш футуристов:

Бейся в площади бунтов топот,
Выше гордых голов гряда,
Мы разливом второго потопа
Перемоем миров города.

Под непосредственным впечатлением, в один-два дня я сочинил к этому стихотворению музыку. При чем, из озорства, сочинил я этот марш не в четырехдольном размере, как это полагается быть всякому маршу, а в трехдольном. Характер маршеобразного движения сохранялся, но марш мой как бы прихрамывал. Посвятил я его моим товарищам-футуристам, переименовав их на первой странице рукописи. Так это и напечатано на нотах.

Хромой этот марш доставил мне впоследствии много неприятностей. Когда в 1922 году я приехал заграницу, то эмигранты ничего лучшего не придумали, чем объявить мой марш «гимном большевицкой революции». Травили меня впродолжении многих лет; моя громкая слава «большевика и комиссара, командовавшего музыкой в России», распространилась и среди французов. Так, почтеннейший академик, композитор Флоран Шмидт, неизменно спрашивал меня при первых наших встречах:

— Как поживают ваши друзья, Жак Садуль и Андрэ Марти?

Эти двое, которых я в глаза не видал, были только что амнистированы французским правительством как дезертиры

Эту статью покойного А. С. Лурье мы печатаем с любезного разрешения его вдовы Елизаветы Алексеевны, за что приносим ей нашу благодарность. Редакция «Н. Ж.» не разделяет ни эстетических, ни — в особенности — политических взглядов автора. Мы печатаем эту статью, как ценный историко-литературный документ. РЕД.

первой мировой войны и представители Третьего Интернационала.

Почтенный академик не подозревал о том, что в те годы Париж казался мне после Петербурга провинцией с оттенком мещанства по сравнению с высоким строем мысли и разряженным воздухом, которым я привык дышать с юных лет, окруженный тем, что было лучшего в ту эпоху, как собственной семьей.

В годы молодости кумиром моим был Александр Блок. Я считал и продолжаю считать его одним из самых совершенных людей в истории мирового искусства. Блок имел на меня громадное влияние; вместе с ним, и наученный им, я слушал музыку революции. Как и мои друзья, авангард молодежи — художники и поэты — я поверил в Октябрьскую революцию и сразу же примкнул к ней. Благодаря поддержке оказанной нам Октябрьской революцией, все мы, молодые артисты-новаторы и эксцентрики, были приняты всерьез. Впервые мальчикам-фантастам сказали о том, что они могут осуществить свои мечты, и что в чистое искусство не вторгнется не только никакая политика, но вообще никакая сила. Нам была предоставлена полная свобода делать все, что нам угодно в нашей сфере; подобный случай произошел впервые в истории. Нигде в мире никогда не было ничего подобного этому. За эту веру в нас мы безоговорочно вошли в революцию; наше движение удержалось и утвердилось еще и потому, что нас поддерживал В. И. Ленин;* его тенденция заключалась в том, чтобы дать молодежи быть самой собой. Никто не препятствовал художникам-футуристам в их декоративных ухищрениях; во время революции все заборы, все арки, все стены зданий были разукрашены самым невероятным образом, и с самой невероятной фантазией. Время было фантастическое, невероятное, и футуризм было самое чистое из всего, что я когда-либо знал. Да могло ли быть наше достижение иным, если вождем его был такой человек, как Виктор Владимирович Хлебников?

ХЛЕБНИКОВ

За всю мою жизнь среди деятелей искусства во всех его областях я не встречал артиста более своеобразного, чем Вик-

---

* Нас несколько удивляет это утверждение, ибо известно, что Ленин к футуризму относился отрицательно. РЕД.

тор Владимирович Хлебников, «Велемир Первый, Владыка Мира», как он себя называл. По своему внутреннему [да и внешнему] облику Хлебников был близок эксцентричным и фантастическим существам, созданным Э. Т. А. Гофманом. Как и от этих странных существ, от Хлебникова нельзя было ожидать каких-либо трезвых, разумных действий; он находился во власти иррациональной, сказочной стихии, был одержим ею так же, как бывают одержимы этой стихией дети, которые, заигравшись, страстно верят в то, что они и есть индейцы, разбойники, пираты и т. д. Иррациональность Хлебникова происходила главным образом от того, что он был в состоянии перманентного творчества, и обладал даром удивительной творческой непосредственности и свежести; не только мысли и образы, но самые предметы казались впервые явившимися на свет после того, как они побывали в его руках. Часто Хлебников не мог довести до конца начатое произведение; для того, чтобы закончить работу, ему нужны были более или менее нормальные условия существования, а поэт жил в исключительной бедности, лишенный всего. У него не было не только письменного стола, но вообще почти никакой мебели. Митурич рассказывал мне, что Хлебников раскладывал свои тетради и листы бумаги на постели и работал, стоя перед ней на коленях. Хлебникова ничто не связывало с бытовыми формами существования; он был самым анти-буржуазным артистом какого я когда-либо видел. Ни в его мышлении, ни в его работе не было ни следа буржуазности. Хлебников не выносил ее, в чем бы она не проявлялась, и при всей своей доброте и кротости презирал богачей и буржуа [к ним относились посетители «Бродячей собаки», приходившие на нас поглазеть; мы их называли «фармацевтами»].

Хлебников имел привычку неожиданно исчезать и так же неожиданно появляться — свойство фантастических существ. Исчезнув, он оставлял после себя свои тетради и листы с набросками стихов, поэм, манифестов, прозы, математических вычислений и т. д. Часто он не оставлял для себя копии своих работ. Усилиями друзей все это литературное наследие, рассыпанное поэтом, приводилось в порядок. Так возникали поэмы, получившие впоследствии большую известность; так возникла пьеса «Ошибка барышни смерти». Эту пьесу Хлебников очень любил и придавал ей большое значение.

Хотя среди профессиональных литераторов, критиков и журналистов Хлебников слыл то-ли за помешанного, то-ли за тихого дурачка, отличительной чертой этого лже-юродивого была безупречная вежливость, воспитанность и деликатное отношение к людям, настолько деликатное, что о нем можно было свободно говорить как о... светском молодом человеке особого, петербургского склада. В ту эпоху петербургская манера себя держать считалась признаком особой культуры, отличавшей петербуржцев от всех других. [Блок был человеком с той же петербургской манерой себя держать, хотя по всему своему складу был полной противоположностью Хлебникову].

Второй отличительной чертой Хлебникова была его нравственная чистота и его безупречное моральное целомудрие. За все годы моего общения с Хлебниковым, т. е. на протяжении всей эпохи футуризма, я не слышал от него ни одной двусмысленности, ни одного вульгарного слова или выражения. В наши дни, когда стихийная распущенность в Европе и Америке приняла эпидемический характер, такие люди как Хлебников показались бы свалившимися с иной планеты.

Третьей характерной чертой поэта была его доброта. Хлебников был человечен в самом глубоком смысле этого слова; он жалел людей еще более бедных и обездоленных чем он сам. Достаточно было Хлебникову встретить человека с тяжелой судьбой, как поэт немедленно отзывался на чужую беду, отзывался активно, стараясь помочь всем, чем мог.

Математические вычисления Хлебникова [в том числе его «Гамма будетлянина»] для большинства из нас, его друзей, оставались загадкой. Не понимая «мистики цифр» Хлебникова, мы относились к ним с почтением, т. к. не могли допустить мысли, что наш пророк и иерофант может заниматься чепухой. Вычисления Хлебникова носили какой-то эсхатологический характер; на основании этих вычислений, он с вдохновением говорил об управлении ходом световых лучей, о том, что человек — это молния, и призывал людей читать «клинопись созвездий». До сих пор я убежден в том, что математические расчеты Хлебникова ждут своего толкователя-ученого.

Помимо писаний о помешательстве Хлебникова, существуют еще и лживые измышления о том, что он был эпилептиком, что он трясся, заикался и т. д. Никто из товарищей-футу-

ристов не знал об эпилепсии Хлебникова; говорил он очень четко, раздельно и ясно, с очень выраженными интонациями. Все эти небылицы были придуманы обывателями и буржуа, от их ненависти ко всему, что выходит за границы их понимания, не идущего дальше «обывательской лужи», как писал Блок.

Любопытно, что Хлебников и Председатели Земного Шара на три дня опередили Октябрьскую революцию, упразднив Временное Правительство 22 октября 1917 года, чему я являюсь свидетелем. В тот день я зачем-то пришел в Академию Художеств, где застал Хлебникова и группу друзей. «Вот, мы только что составили манифест», обратился ко мне Хлебников. «Пожалуйста, подпишитесь. Вот содержание манифеста [цитирую по глупой статье П. Пильского о Хлебникове]: «Здесь. Мариинский дворец. Временное Правительство. Всем, Всем, Всем. Правительство Земного Шара на заседании своем от 22 октября постановило: 1) Считать Временное Правительство временно несуществующим, а главнонасекомствующую А. Ф. Керенскую находящейся под строгим арестом. Как тяжело пожатье каменной десницы! Председатели Земного Шара: Петников, Лурье, Дм. и П. Петровские, статуя командора я, — Хлебников».

Помню, что манифест был написан на простой почтовой открытке. Не знаю, где видел наш манифест Пильский, написавший клеветническую книжку «Затуманившийся мир», но приведенное им содержание — дословно.

МАЯКОВСКИЙ

Я не помню моих первых встреч с Маяковским; они относятся к истоку футуризма, начавшегося в мои самые юные годы, когда стали выходить сборники Маяковского «Флейта позвоночник». Ранние стихотворения Маяковского произвели на меня сильное впечатление. Острые приемы его поэзии, неожиданные для того времени ритмы, критики объясняли тем, что Маяковский одно время служил на телеграфе, где и выработал свой лаконический, лапидарный стиль на основании передаваемых им депеш. Однажды вышел в огромном количестве журнал футуристов, выпущенный Маяковским. Меня поразило название журнала, придуманное Маяковским: «Взял». Об этом названии я с ним говорил, спрашивая его, что он собирается делать с заглавием журнала в будущем? Ведь дей-

ствие глагола было однократным! Маяковский только посмеивался в ответ.

Новаторская дерзость Маяковского и его презрение к буржуазии шокировали блюстителей литературных порядков, о «грубости» его врагами были созданы легенды и написаны пасквили, но я лично никогда не замечал ни одной черты такого проявления. Конечно, Маяковский не отличался мягким и уступчивым характером; он был способен взрываться, и все же, на протяжении всех лет между нами не было ни ссор, ни размолвок. Мы много беседовали как товарищи-футуристы перед тем как оба присоединились к Октябрьской революции; ни в одном вопросе мы тогда не разошлись. Странно, что я совсем не помню ни прогремевшей желтой кофты Маяковского, ни ложки в петлице, ни раскрашенного лица. «На щеке у милой будетлянки выросли две синие поганки», как писал Сологуб [цитирую по памяти]. Думается, что «желтую кофту из трех аршин заката» поэт носил от бедности, смягчая ее оригинальностью своего наряда; вспомним Гогэна и разрисованные им самим сабо, в которых он щеголял по Парижу, не имея возможности купить сапоги. Маяковский всегда нуждался; Тамара Михайловна Персиц, в то время литературная петербургская барышня, близко стоявшая к передовым артистическим кругам и дружившая со многими поэтами [она издавала сборнички, и издательство ее называлось «Очарованный странник»], увидев Маяковского зимой, одетого слишком легко для морозов, по доброте сердечной предложила купить ему пальто; это предложение Маяковский отверг с негодованием, чем сильно огорчил Тамару Михайловну.

Как известно, Маяковский любил карты; эту слабость нельзя, конечно, ставить на уровень обывательской картежной игры. Темперамент Маяковского требовал много «перцу», сильных эмоций, риска и азарта; ведь и Пушкин, и Некрасов, и Достоевский были игроками. Перспектива интересной партии привлекала Маяковского, и он согласен был ехать для нее в любой конец города. По игре у него были самые неожиданные партнеры, например, Сергей Кусевицкий.

Мое последнее свидание с Маяковским было в Париже, когда он приезжал туда в последний раз. Мы встретились в кафэ «Ля Ротонд», в баре, куда Маяковский меня пригласил за несколько дней до своего отъезда в Москву. Помню, что он

был очень грустен и серьезен, и что весь наш разговор почему-то мне показался прощальным.

КРУЧЕНЫХ

Беспощадно-враждебный ко всему старому, требовавший во всем движения вперед, Крученых в каком-то смысле близок к Маллармэ, наиболее радикальному из французских символистов. Появился Крученых на футуристическом фоне Петербурга неожиданно; не помню, при каких обстоятельствах и где именно произошла наша встреча. Болтали, что он приехал откуда-то из Сибири, из маленького города, где он был учителем рисования в гимназии. Среди его поэм мне запомнилась «Игра в аду», — заглавие было ему, возможно, навеяно "Saison en enfer" Артура Рэмбо. Когда о Крученыхе заговорили, имя его особенно раздражало буржуазную публику. Робкие души пришли в панику от футуристической отчаянности Крученыха. Словообразования его вроде знаменитого «Дыр-бул-щи убещур» вызывали у буржуа негодование.

Несмотря на свою репутацию бешеного футуриста и новатора, в личной жизни Крученых обнаруживал большую душевную нежность и человечность. Особенно она проявлялась в его отношении к молодой футуристке Елене Гуро, писательнице и художнице [автор «Шарманки»]. Это была чахоточная девушка, совершенно нищая, очень талантливая. До сих пор я помню ее декоративные плакаты карточных фигур. Наш Крученых совершенно безкорыстно, без тени намека на какую-либо романтическую привязанность, трогательно заботился о Елене Гуро как о сестре, делясь с ней всем, что он имел. Был он, конечно, очень беден. Безвременная кончина Елены Гуро [в 1913 году] всех нас поразила, и Крученых сильно горевал, оплакивая потерю друга.

КУЛЬБИН

Николай Иванович Кульбин принадлежал также к одной из самых фантастических фигур той замечательной эпохи. Доктор генерального штаба, носивший военную форму и звеневший шпорами, мечтатель и художник, Николай Иванович Кульбин был страстно предан искусству. Восприимчивость его была безгранична; он все принимал с доверием и вниманием в области художественной жизни. Страстно увлекаясь живописью,

Кульбин сначала рисовал на холсте и на дереве, потом придумал рисовать на стекле и на зеркалах; вряд ли Кульбин знал о существовании китайских рисунков на зеркалах. Был он одним из самых чутких, добрых и отзывчивых людей, которых я когда-либо знал. Занимая крупное служебное место, он тем самым имел возможность оказывать практическую помощь огромному количеству людей, спасая их от голода и холода. Думаю, что никто из художников и поэтов не уходил от Николая Ивановича с пустыми руками, не получив от него поддержки в той или иной форме. Добро он творил легко, не задумываясь, совершенно безкорыстно, не ожидая изъявлений благодарности. Дом его был открыт для всех [жил он вблизи Мариинского театра]; он кормил голодных, оказывал приют бездомным, лечил больных, с которых не только не брал платы, но еще и покупал своим пациентам лекарства и провизию. Несмотря на свое безконечное радушие, Кульбин любил стройную жизнь, по чину и порядку. Ходил в генеральской шинели на красной подкладке; был безупречно корректен и вежлив, и по-старинному галантен с дамами; был всегда веселый, улыбающийся доброй улыбкой. Походил Николай Иванович на русского Сократа; никогда никого не поучал, не терпел нравоучений и наставнических разговоров. Идеологически Кульбин был настроен очень радикально: все его симпатии были на стороне революционной молодежи. Вероятно за эти симпатии, литературные сплетники придумали пошлый пасквиль о «коронации» Кульбина и о том, как мы избрали его «футуристическим царем». Никогда такой коронации не было, как не было падучей Хлебникова, кликушества Крученыха и «водки с огурцом» Владимира Бурлюка.

Николай Иванович очень меня любил и повсюду таскал за собой. Называл он меня почему-то «Артемом», и знакомя меня с кем-нибудь, рекомендовал так: «Познакомьтесь, это Артем. У этого мальчика особенная голова». В данном случае, Николай Иванович наверное имел в виду мою теорию, которую я тогда придумывал, назвав ее «Театр действительности». Теория моя заключалась в том, что **всё** в мире включалось в искусство, до звучания предметов. Эта теория была именно тем, что в последнее время стали называть «Конкретной музыкой», и что затем выродилось в электронные опыты.

Через Николая Ивановича я встретился с С. Ю. Судейки-

ным и с Леонидом Андреевым. К последнему мы поехали в санях, через финскую границу. С нами ехал также Ф. К. Сологуб. В то время Андреев только что закончил «Тот, кто получает пощечины». Чтение пьесы состоялось ночью; затем читал свои стихи Сологуб. Андреев был под сильным впечатлением от стихов Сологуба, и говорил с шутливым ужасом: «Я его боюсь, он колдун!» Эта репутация была твердо установлена за Сологубом, который был добрейшим из людей, несмотря на свое ледяное спокойствие, смущавшее посторонних, и на бесстрастное выражение лица. Тихий, ласковый, Ф. К. Сологуб любил молодежь так же отечески-нежно, как и Кульбин. Лето 1916 года я провел у него в гостях, на даче около Костромы. Помню, что Сологуб и я фантазировали о том, что случится, если будет нечего есть [около булочных уже тогда стояли хвосты]. Федор Кузьмич уверял, что нам скоро придется есть «гимназятину» и смеялся своим выдумкам. В то время я затевал оперу на сюжет Сологуба — «Узор из роз». Время шло, опера так и не сочинялась. Однажды я ехал с Сологубом в дачном поезде и заговорил с ним о его триолетах, которые он тогда печатал. Федор Кузьмич, глядя на меня с бесстрастным видом, съимпровизировал:

Артур Лурье напомнил триолеты,
А я спрошу: — А опера-то где-ж?
«Узор из роз» все так же свеж,
Слагает Лиза рондолетты;
Уж если вспомнили вы триолеты,
То я спрошу: — А опера-то где-ж?

Между декадентом Сологубом и футуристом Кульбиным было общее: доброта к людям и мудрость сердца.

В период моих поисков новой формы в музыке и моих опытов с высшим хроматизмом [многие писали обо мне как о новаторе в этой области, особенно в части пользования приемами четверть-тонной музыки], — во время этих исступленных моих юношеских опытов новаторства, Николай Иванович Кульбин как-то принес и вручил мне том православного Обихода, сказав при этом: «Вот, Артем, вслушайся в это, может быть тебе пригодится». Николай Иванович не ошибся: контакт с Обиходом открыл передо мной новый и неведомый мир мелодических сокровищ, накопленных в опыте церковно-монастырского пе-

ния с древнейших времен. Сколько раз в жизни я с благодарностью вспоминал об удивительном артистическом чутье дорогого Николая Ивановича.

Здоровье у Николая Ивановича было плохое: он страдал язвой желудка. В первые дни Февральской революции он нарушил свою диэту и заболел. О кончине его я узнал окарауливая в качестве вольноопределяющегося [охотник первого разряда, Гвардии Саперный батальон] денежный ящик моего полка. Весть о гибели моего старшего друга настолько меня потрясла, что я, не задумываясь о том, что делаю, сел на извозчика и, обливаясь слезами, поехал на похороны Николая Ивановича. Время было переходное, но если бы я бросил денежный ящик до Февральской революции, то попал бы, конечно, под военно-полевой суд.

ТАТЛИН

В мое время, среди Председателей Земного Шара по назначению Хлебникова были Герберт Уэльс, японец, чьей фамилии я не помню и Пабло Пикассо. Увлечение Пикассо в России началось с тех пор как Татлин вернулся из своей поездки в Париж. Там ему открылся Монпарнасс и Монмартр, и он впервые увидел кубистические построения. Кубизм произвел на Татлина такое потрясающее впечатление, что он никогда не мог от него отделаться. Любопытно, что кубизм Татлина ничего общего не имел с африканским примитивом, в котором Пикассо открыл теорию кубистических построений. По возвращении из Парижа Татлин стал заниматься только конструктивными построениями, все больше отрываясь от пластической реальности формы. Конструкция стала фетишем Татлина; на холстах он строил все, соединяя самые неожиданные формы и материалы. Позднее, к влиянию Пикассо присоединилось влияние Модильяни, также ставшего конструктивистом уже на конкретных формах африканской примитивной скульптуры. Отсюда возникли первые поиски абстракции в живописи: Кандинский, Мансуров, Малевич, Школьник и прочие.

В каком-то смысле образ Татлина сохранился в моей памяти рядом с образом Хлебникова. В области пластических форм и линий Татлин обладал той же творческой непосредственностью, свежестью восприятия и остротой выдумки, какой обладал Хлебников в области слов. Я очень любил линию

Татлина; сильное впечатление на меня производили его декоративные опыты, в частности, удивительной красоты и выразительности деревья на эскизах декораций леса к «Ивану Сусанину». Не помню, были ли эти эскизы когда-нибудь осуществлены, или так и остались неиспользованными для сценической постановки оперы.

В начале революции Татлин спроектировал свой знаменитый Памятник Третьего Интернационала, имевший вид трехэтажной башни. Грандиозное это здание было максимальным проявлением революционности в зодчестве и скульптуре; построенная в формах куба, цилиндра и пирамиды, башня была окружена гигантской спиралью, которая олицетворяла идею революционного динамизма. Башня находилась в беспрерывном движении, делая оборот вокруг самой себя 365 дней в году. Конструкция башни представляла из себя сложнейшую механику: так, во всем здании должна быть круглый год одинаковая температура [не предугадал ли наш Татлин современные здания с их охладительной системой?]; в башне были рассчитаны всевозможные залы — астрономические, театральные, залы для заседаний, митингов, конгрессов, залы для печати и т. д. Под башню Татлин добывал себе какие-то доходы и тем существовал. Разговоры о башне начинались сразу же при встрече с ним, и никогда не прекращались. Всякий новый разговор о башне принимал все более и более фантастический характер. В воображении Татлина башня представляла собой архитектурный синтез всей революции; в это понятие он вмещал все, что ему подсказывала его творческая фантазия. Если не ошибаюсь, на самом верху башни Татлин задумал поместить аэродром.

Когда обсуждалась конституция Общества Деятелей Левого Искусства, Николай Николаевич Пунин и я пришли к Татлину и объявили ему следующее:

— Мы назначаем тебя пожизненным председателем всей нашей группы Деятелей Левого Искусства, но имей в виду, что никто тебя сместить с твоего поста не сможет, кроме нас, двух товарищей председателя, тоже пожизненных.

Татлин немедленно согласился на эту комбинацию.

Худощавый, широкоплечий, Татлин своими движениями и повадкой напоминал моряка. Он хорошо играл то-ли на гитаре, то-ли на мандолине; в Париже эта способность его кор-

мила, — он играл в монпарнасских артистических кабачках и жил на выручку. Таким образом Татлин смог продержаться в Париже не имея никакого заработка как художник и никакой поддержки.

МИТУРИЧ

Митурич был страстным почитателем Хлебникова; он создал для себя настоящий культ поэта. Если не ошибаюсь, Митурич женился на родственнице Хлебникова. После своих таинственных исчезновений из Петербурга, Хлебников неизменно появлялся у Митурича и подолгу живал в его квартире.

Митурич был замечательный рисовальщик. По технике рисунки Митурича сближали его с японцами. Кубизмом он не увлекался, и о Пикассо я от Митурича не слыхал. Как Хлебников и Татлин, Митурич обладал свежестью и творческой изобретательностью; он придумывал самые невероятные вещи, например, иллюстрации к учебникам. Митурич сделал ряд иллюстраций к моим пьесам, — «Рояль в детской», «Наш марш» и т. д. Выставка «Трамвай В» была одной из главных стадий деятельности Митурича.

Работал Митурич быстро; живописный колорит его имел что-то общее с колоритом Матисса. Это видно по моему портрету, сделанному Митуричем. На этом портрете рисунок освобожден от краски, т. е. холст был сначала заполнен живописью, поверх которой Митурич делал обводку, как бы создавая внутреннюю раму и разъединяя живописное пространство и колорит. В дальнейшем разъединение между колоритом и рисунком все больше развивалось, и дошло до полной независимости колорита от линии. Мне кажется, что колорит Митурича является единственным примером в живописи той эпохи, предугадавшем появление Матисса; в моем портрете Митурича виден прообраз знаменитого матиссовского «Хоровода».

БРУНИ

В то время я позировал для двух художников — Митурича и Бруни. Лев Александрович Бруни был выдающийся молодой человек, выдающийся по своей настроенности в смысле новизны и свежести впечатлений. Эстетически он был близок по духу Татлину и Хлебникову, но очень интересовался иконописью [Бруни был религиозно настроен]. Находился он в родстве со

знаменитым академиком Бруни, жил при Академии Художеств, где я часто бывал в его милой и передовой семье. Как Хлебников и Татлин, как Крученых и Митурич, Бруни был совершенно свободен от каких бы то ни было проявлений буржуазности в жизни и искусстве. Впрочем, никто из нас, молодых артистов, не был стяжателем, никто не думал о том, как и где можно что-нибудь «выгодно продать», «заработать» или «обогатиться».

Внешний облик Бруни был прекрасен, и особенно одухотворен; в лице его было что-то ботичеллиевское по чистоте и отрешенности. Помню, что во время сеансов, матушка Бруни, Анна Николаевна, читала вслух житие Анн-Катрин Эммерих, мистички 19-го века, что было довольно фантастично в эпоху революционного Петербурга. Но не были ли также фантастичны белые ночи на моей квартире на Фонтанке, где было слышно как в пустом цирке Чинизелли, находившемся в нескольких шагах от меня, старая Личия Чинизелли, некогда знаменитая цирковая наездница, гремела на рояли «Смерть Изольды»?

ЯКУЛОВ

Георгий Богданович Якулов, один из самых талантливых и культурных художников-футуристов, приехал в Петербург после довольно долгого пребывания в Париже, где он сблизился с наиболее передовыми артистами той эпохи. Якулов был блестяще образован, великолепно знал языки, эстетическое мышление его отличалось остротой и оригинальностью. Якулов был европейцем в самом высшем понятии этого слова, — таким-же европейцем как Пикассо, Брак, Гийом Аполлинэр или Дебюсси. Якулова волновала проблема Европа-Азия, и он часто о ней говорил.

Вместе с Якуловым мы, молодые футуристы, сочинили манифест в связи с приездом в Петербург Маринетти. В ответ на лекцию Маринетти об итальянском футуризме, мы противопоставили эстетику русской передовой молодежи; манифест наш был нами прочитан на лекции, которую мы устроили в здании шведской церкви. Читали Якулов, Лифшиц и я, а председательствовал известный профессор Бодуэн де Куртэнэ. Наш тезис был потом напечатан.

Часто картины Якулова висели в моей комнате [на Большой Конюшенной]. Он развешивал их сам, т. к. ему хотелось, чтобы приходившие ко мне друзья знакомились с его работами.

Картины Якулова оставались у меня довольно долго. Он делал очень яркую живопись, с ориентальным влиянием [Якулов великолепно знал персидскую миниатюру] в стиле нео-импрессионизма, но уже тогда приближавшегося к кубизму Пикассо. Позднее мы встречались в Москве, в кабачке «Красный петух», где собирались все левые артисты. Стены «Красного петуха», кажется, были расписаны Якуловым. Он принимал деятельное участие в росписи заборов, зданий, памятников революционной Москвы, как и во всех футуристических выставках — «Трамвай В» и другие. Несколько обложек моих пьес сделаны Якуловым.

ПУНИН

Одним из самых близких моих друзей был Николай Николаевич Пунин. Был он сотрудником «Аполлона», писал критические статьи о живописи, преимущественно современной и наиболее передовой. Пунин занимал очень радикальную позицию, поддерживая новые искания в их самых смелых проявлениях. В то время при Эрмитаже организовалась группа очень культурной молодежи, — все участники группы были сотрудниками «Аполлона». К этой группе примкнул Пунин. Нас — футуристов — он всячески поддерживал как новаторов, и был большим поклонником Татлина. Впоследствии Пунин стал директором быв. Императорского фарфорового завода, и на этом посту давал заказы молодым артистам. Между прочим, благодаря его поддержке, несколько работ были сделаны О. А. Глебовой-Судейкиной. Работы ее имели большой успех. Не знаю, уцелели ли они? Живя в Париже, Ольга Афанасьевна продавала свои личные экземпляры из-за нужды.

Пунин был тончайший и благороднейший человек, в высшей степени лойяльный; он находился на самой первой линии культуры. Как и все мы — Маяковский, Татлин, Мейерхольд, все друзья и все футуристы — Пунин сразу же поверил в Октябрьскую революцию и примкнул к ней. В летописи нашего серебряного века имени Пунина должно быть отведено почетное место.

Младший брат Пунина, Лев, был кем-то вроде моего «адъютанта» в бытность мою заведующим Музыкальным отделом Наркомпроса. На первые первомайские торжества, когда открывали памятник Карлу Марксу, мы с ним приехали в нашем

служебном автомобиле, который Лев Пунин, для пущего эфекта, обтянул красным кумачом. В таком виде мы появились на площади около Смольного; свидетелем этого зрелища был Зиновьев, бывший тогда председателем Петербургского Совета РСФСР.

БРАТЬЯ БУРЛЮКИ

Братья Бурлюки — Николай, Владимир и Давид — были патриархами футуризма, его основоположниками и основателями. Конечно, их всячески поддерживал Николай Иванович Кульбин. Бурлюки бывали решительно повсюду; не было дня, чтобы с ними не приходилось встречаться. О деятельности братьев Бурлюков имеется достаточно свидетельств, но вот через двадцать с лишним лет после наших молодых футуристических подвигов, уже в Нью-Иорке, в сороковых годах, я попал на выставку, куда меня привела одна молодая художница, француженка. Выставка находилась в Гринвич Виллэдж, квартале американской артистической богемы. Ни художница, ни я не знали толком, что это за выставка. Что же я увидел? На стенах цвел яркими цветами маленький мир живописных примитивов в духе Анри Руссо — телята, коровы, звери, человечки, лужайки, домики, — все очень пестрое и веселое. Устроители этого художественного торжества повели меня знакомиться с его виновником. Но не успели меня подвести к стоявшему ко мне спиной художнику, как тот, повернувшись, встретился со мной взглядом, и я опешил от неожиданности, он же закричал на весь зал: — Артур Лурье! — и кинулся мне на шею. Это был Давид Бурлюк. Тут же находилась его неизменная Маруся, почти совсем не постаревшая, и выводок молодых Бурлюков, родившихся в Америке. Теперь к этому поколению, наверное, прибавилось еще одно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло более пятидесяти лет с тех пор как возник русский футуризм, и движение это уже принадлежит истории искусства. Но и через полвека я попрежнему готов поставить свою подпись под манифестом, который был составлен в январе 1914 года Якуловым, Лифшицем и мною. Я подписываюсь под ним полностью, кроме одной фразы, которую обозначаю звездочкой и примечанием.

Звездочка и примечание:

Достижения замечательных артистов Запада в лице Пикассо, Модильяни, Матисса, Дебюсси, Равеля, Рильке, Иейтса в его расцвете и, конечно, Джойса были нами незаслуженно обойдены, и пусть будет забыта эта дерзость молодых скифов, преданных своей Азии и веривших в нее.

Артур Лурье

УЧИТЕЛЮ

“Рифмы только для забавы”..
Безысходная юдоль.
Хоть без права, судьи правы.
Дрофы в поле, в строфах боль.

И как при Екатерине,
Глуповатый длится сон,
Тредьяковский и поныне
Многим кажется смешон.

Презираемый, гонимый,
Отверзая слух глухим,
Он считал необходимым,
“Звону подчинять стихи”.

Радовал его и мучил,
Раскрывался и дышал
Мир тонических созвучий,
Хориямбами шурша...

Я на двести лет моложе,
Но меня, средь наших дней,
Манит и тревожит тот же
Непокладистый спондэй.

Вижу со своей голгофы,
Длань на сердце положа:
“В поле борозды, как строфы
И рифмует их межа”.

НЕУСТРОЕННОСТЬ

Знаки Зодиака
Близнецы и прочие
Восстают из мрака...
(Ставим многоточие).

Рака, Козерога
Смутное влияние.
Неизбывность рока,
Нищета сознания.

Девы юной прелесть
Нас во сне преследует,
Но про эту ересь
Говорить не следует.

На Весах бесстрастных
Мир не в равновесии,
Суть теорий разных
Не меняет версии.

Жизнь идет скачками,
К случаю от случая.
Рассудите сами:
Где ж благополучие?

Глеб Глинка

ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА

ОТВЕТ ТРЕМ СТУДЕНТАМ

Ощущение такое, что я вам свою мысль не договорил, не дояснил. Вот еще несколько слов.

Справедливость есть достояние протяженного в веках человечества и не прерывается никогда — даже когда на отдельных "суженных" участках затмевается для большинства. Очевидно, это понятие человечеству врождено, ибо нельзя найти другого источника. Справедливость существует, если существуют хотя бы немногие чувствующие ее. Любовь к справедливости мне представляется чувством отдельным от любви к людям (или совпадающим с нею лишь частично). И в те массово-развращенные эпохи, когда встает вопрос: "а для кого стараться? а для кого приносить жертвы?" — можно уверенно ответить: для справедливости. Она *совсем не релятивна,* как и совесть. Она, собственно, и есть совесть, но не личная, а всего человечества. Тот, кто ясно слышит голос собственной совести, тот обычно слышит и ее голос. Я думаю, что по любому общественному (или историческому, если мы его не по наслышке, не по книгам только знаем, а как-то коснулись душой) вопросу справедливость нам всегда подскажет поступок (или суждение) не бессовестный. А так как разума нашего обычно не хватает, чтобы объяснить, понять и предвидеть ход истории (а "планировать" ее, как вы сами говорите, оказалось бессмысленно), то никогда не ошибетесь, если во всякой общественной ситуации будете поступать по справедливости (старинное русское выражение — жить по правде). Это дает нам возможность быть постоянно деятельными, не руки опустя.

И не возражайте мне, что "все понимают справедливость

В кн. 93 «Н. Ж.» мы опубликовали несколько документов по «делу» Солженицына и вступление к ним А. В. Белинкова. Сейчас мы публикуем последние из полученных нами материалов по этому «делу». В СССР они распространяются в списках. РЕД.

по-разному". Нет! Могут кричать, за горло брать, грудь расцарапывать, но внутренний стукоток так же безобибочен, как и внушения совести. (Мы ведь и в личной жизни иногда пытаемся перекричать совесть). Например, я уверен, что лучшие из арабов и сейчас прекрасно понимают, что Израиль по справедливости имеет право жить и быть.

Жму руку!

Солженицын, Рязань. Октябрь 1967.

ЧИТАЮТ «ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

(ОБЗОР ПИСЕМ)

Эти письма я храню. Они дороги будут не только мне. Слишком редко наши соотечественники имеют случай высказаться по общественным вопросам, а бывшие зэки — тем более. Уж слишком разуверились, уж слишком обманывались, а тут поверили все-таки, что начинается эра правды и можно смело писать самим. И вырвался как бы общий слитный крик. (И обманулись, конечно, в который раз...)

Ну, да были и осторожные. Как писал один:

"Не называю себя, ибо берегу здоровье в оставшиеся дни моей жизни".

А кто еще поосторожнее — те не писали совсем (ведь и по почерку найдут, у нас, бывало, не хитро).

Мне кажется, уместно перелистать эти письма: по восприятию первого еще куцого и приглушенного рассказа о лагере примерить, что это будет, когда грянет правда вся.

А. Читают бывшие зэки

Когда бывшие зэки из трубных выкликов всех сразу газет узнали, что вышла какая-то повесть о лагерях и газетчики ее наперебой хвалят — решили единодушно: "Опять брехня! Сговорились и тут соврать!" Что наши газеты с их обычной непомерностью вдруг накинутся хвалить правду — ведь этого ж все-таки нельзя вообразить! Иные не хотели и в руки брать.

Но вот — *узнают.*

Маркелов: "Иван Денисович? Да это я, СЗ-209. И всех героев могу назвать не вымышленными, а подлинными именами.

Какой лагерь? Ухта, 29 лагпункт. Или Степлаг, Балхаш, 8 лаготделение".

Мумриков: "Это воркутинская шахта № 8".

Ник. Андр. Иванов из Череповца: "Да мы с вами были в 104 бригаде, жили в одном бараке".

Войченко: "Тюрину Солженицын даже не заменил фамилии. Я его знал, да и в 104 бригаде работал... Также хорошо помню старшего надзирателя Полтора Ивана — из Западной Украины, искатель длинных рублей, детина двухметрового роста с черными устрашающе-выпуклыми глазами. Настоящая фамилия его Бурденюк... Невозможно забыть начальника режима Сородова, выведенного в повести под фамилией Волкового. По зоне он не ходил, а шествовал в дубленом полушубке, в постоянно новеньких щегольских бурках (выделанных зэком) — картинка!.. Знал и Шухова под другой фамилией. В каждой бригаде был такой".

Ф. В. Шавирин: "Да, денек сфотографирован... Читая вашу повесть и сопоставляя лагерь — нельзя отделить одного лагеря от другого. Как две капли воды — устройство зон, БУРа и отношение к заключенным".

В. П. Голицын: "Прежде всего искал в повести фальши, надуманности, отсебятины — и не нашел ни на грош".

С. М. Рудковский: "Можно подумать, что вы были сами в лагерях".

За Шухова признает себя и Носа: "Номер А-691 я носил 10 лет за то, что 2 дня был в плену у немцев, да и самих-то немцев не видел".

А кто-то еще за кавторанга: "Кавторанг пострадал из-за подарка, я из-за письма из США изгнан со службы в военно-морском флоте, дискриминация по всем направлениям, даже в личной жизни".

Как читают

Рудковский: "С трудом прочел — сам был в этой шкуре".

Бельский: "Не мог спокойно сидеть. То и дело вскакивал, ходил, представлял все эти картины в образе того лагеря, где был сам".

Зарин: "Когда читал — буквально ощущал холод, как при выходе из барака на развод".

Войченко: "Читал — и руки дрожали".

Кравченко (Якутия): "Теперь читаю и плачу, а когда сидел в Ухте 10 лет не было слез".

П. В. Шарапов (Барнаул): "Я хоть и плакал, читая, но чувствовал себя среди окружающих полноправным гражданином. А до сих пор чувствовал от них холодные взгляды, напоминающие Печору и Норильск".

Э. Я. Зайцева: "Получила на одну новогоднюю ночь!"

Светлана Лесовик: "Я простая медсестра, а на очереди — профессора и доценты. Но потому, что у меня в библиотеке блат и потому, что я сама была там, мне дали без очереди на Новый год... Казалось, вы пишете о том самом лагере, где была я".

Марк Иванович Кононенко: "В Харькове я видел всякие очереди: — когда шла картина "Тарзан", за сливочным маслом, за женскими панталонами, куриными потрошками и конской колбасой. Но такой большой очереди, какая появилась за вашей повестью в библиотеках — я не помню... Ожидал по списку полгода — и все впустую. Случайно заимел на 48 часов".

Ольга Чавчавадзе: "После прочитанного остается вбить гвоздь в стенку, завязать узел и повеситься" (сама не сидела — жена погибшего). А молодая студентка, внучка двух дедов, погибших *там.* — "Я перелистала".

Кайданов из Дебальцево: "Купил "Роман-газету" вместо 12 коп. за 4 рубля... Здесь точно описывается моя личная жизнь... Одна пышно одетая дама с золотым кольцом: "Не нравится мне эта повесть, слишком тяжелая". Я ответил ей: "Лучше горькая правда, чем сладкая ложь".

Г. Венедиктова: "Это — настолько жизнь, настолько боль, что кажется, может остановиться сердце. Люди, не бывшие там, ахают, даже говорят, что надо арестовать всех, кто доносил на людей... Эти люди начинают проникаться хоть маленьким сочувствием к тем, кто погиб. Растапливается холод отчуждения".

М. И. Калинина тоже давала читать другим, разным людям. "Воспитательница детсада прочла записи, была потрясена, а завдетсадом, пожилая партийка: "Ну и ну, одна матерщина". Молодые рабочие из вечерней школы читали нарасхват, комсомольский секретарь сказал: "Не люблю такие книги". Мой сосед прочел, запил и пил всю неделю.

А. В. И. Жуков, еще в 1941 г. осужденный "за террор против Сталина", за эти годы потерявший семью, имущество и

квартиру, прочел даже не самого Ивана Денисовича, а рецензию в "Огоньке" и решился: дай напишу на реабилитацию! (по темноте он не верил, что давно уже может ее получить). Написал в Генеральную прокуратуру и получил быстро.

Оценка

Г. Ф. Полев: "Неужели приходит время, когда люди начинают узнавать?"

Анна Матвеевна Лукьянова (Ярославль): "Радостно сознавать, что мечты Шухова — 'Переживем все, даст Бог кончится' — исполнились".

Шавирин: "Надеемся, что повесть — предшественница других. Пусть будет больно и горько, но лишь бы правда!"

И. Добряк: "Повесть открыла глаза очень многим, для которых мы были загадкой".

Лиленков: "Правда восторжествовала, но поздно.[1] Дальний Восток и Сибирь — их создали невинно-осужденные, погибшие на стройках.

П. Н. Птицын: "Ни в чем неповинный наш человек, низведенный на положение последнего скота, душу свою вкладывал в труд... И окончив дело (мост, туннель, дорогу, дворец, аэродром) умирал на дороге, исходя голодным кровавым поносом. Вечная хвала и память этим безвестным труженникам, положившим кости свои на диких хладных окраинах родины... Настоящие преступники не способны к подлинному труду. Именно Иваны Денисовичи вершили настоящее дело... Вот драма — враг народа — друг народа. Человека хотят сгноить, а он доброе дело делает".

Сушихин, военный инженер: "Некоторые критики издеваются над Иваном Денисовичем, что мельчил, подрабатывал. А мне, человеку с двумя высшими образованиями, но без посылок и денег, приходилось ремонтировать авторучки, сочинять прошения. Хотел бы я кого-нибудь из критиков увидеть в шкуре зэка!".

Н. И. Рябинин: "Люди, доведенные до полного физического и морального истощения, гибли сотнями тысяч. А те, кто творил произвол, в большинстве своем делали это высокосознательно.

---

[1] Где уж там до торжества!

Да они и по сей день ходят на воле, хотя их место давно на том свете".

П. Р. Мартынюк: "При чтении этой повести напрашивается вопрос — как же могло так статься, что у власти стоит народ и народ допускает такую тиранию? Я построил Беломорканал и Волга-Москва, чудом жив остался. То, что описывается в повести — очень маленькая доля того, что пришлось увидеть и пережить мне лично".

Л. Терентьева-Миронова (Ялуторонск) сама не сидела — жена умершего. Двойная фамилия потому, что меняла из-за преследований. "Я вижу, слышу толпу этих голодных, замерзающих полулюдей-полуживотных, а среди них мой муж. Пишите еще, пишите правду, хоть и не печатают сейчас! Не зря столько было пролито наших слез — правда выплывет в реке этих слез...[2] Мой муж писал мне из Тайшета, что кто-нибудь из его товарищей по несчастью когда-нибудь придет ко мне и расскажет о нем и передаст мне кольцо, которое он там, в застенке, сделал для меня. Но никто ко мне не приходил и теперь уже не придет..."

В. П. Тарновский: "А вот он пайку разломил свою
И вместе с ней вернул мне всю Россию".

Н. А. Виленчук: "Мы верили партии и *мы не ошиблись* (просидел 17 лет). Еще надо показать наши горячие дебаты".

М. Кононенко: "Вы описываете сравнительно сносный, не режимный лагерь. Из повести нельзя получить ответа на вопрос: почему из лагерей так много не возвратилось?"

В. М. Еременко: "Удивляюсь, как Волковой дал тебе напечатать эту повесть. Ответь, я волнуюсь, не в БУРе ли ты?"

Ф. Шульц: "Удивляюсь, как это вас обоих с Твардовским не упрятали?"

Сами удивляемся...

Б. Читают зэки нынешние (50-60-х годов)

Мы — как о прошлом, а для них это — сейчас. Мы — отсидели (надолго ли?), а они-то сидят. Для них эта повесть — не в повесть, правда — не в правду, если не будет продолжения, если не будет дальше сказано *о них:* что и сегодня — то же. Чтобы сказано было — и изменилось! Если слово не о деле и не

---

[2] Выплывет ли?...

вызовет дела — так и на что оно? — ночной лай собак на деревне?

Весь газетный шум вокруг повести, изворачиваясь для нужд воли и заграницы, трубился в том смысле, что "это было, но никогда не повторится!" Как всегда, в главном лгали: это — будто воз вытащили. А воз и ныне там. И это особенно раздорило нынешних зэков.

Их письма тоже были общий слитный крик. Но крик: "А мы?!"

П. А. Лепехин: "Гражданин Солженицын! Помогите обновить порядки и административный состав в колониях! На основе моего письма прошу вас выступить в газете "Известия" с критикой на нормы проклятого прошлого режима".

И. Г. Писарев: "Непонятно одно — хотели ли вы сказать, что *этого* больше нет? Или: Что было, то и осталось?"

А. Д. Корзухин (ст. Решеты): "Описанный вами день не сошел с экрана жизни".

Ю. К-й: "С времен Ивана Денисовича ничего не изменилось, кроме внешней формы. З/к прочтет вашу книгу, и ему станет горько и обидно, что все осталось без изменения".

Братчиков: "Вчера прочитали вашу повесть, которая и впредь остается настоящей действительностью. Часто приходится слышать на суде: "Ты притаился, а в душе остаешься таким же преступником, как и десять лет назад". И я думаю, что эти слова относятся больше всего к тому, *кто* говорит. О культе Сталина много говорят и пишут, но что изменилось, если остались в силе все законы 25-летнего заключения, выпущенные при нем?"

В. Д. Ч-н и др.: "Почему все-таки остались безнаказанными такие, как начальник режима Волковой и ему подобные, которые и в настоящее время до сих пор в исправительно-трудовых учреждениях работают "воспитателями" с той лишь разницей, что сменили волчьи шкуры на овечьи?"

В. И. Княгинин: "Чтобы написать за настоящее время — наверно такого человека не найти".

Групповое письмо из Усть-Неры: "Нам сейчас гораздо хуже (т. е. чем в повести). Нас не бьют, но солдаты поговаривают, что надо нас уничтожить. Откуда такая ненависть у мальчишек 18-20 лет? Видно, кто-то их разжигает... В декабре 1962 г.

(момент выпуска повести в свет) в зоне из 300 человек было 190 цынготников".

В. Е. Мильчихин: "Черная мгла закрыла нас, и нас не видят... У вас хоть разрешалось получать посылки, да и хлеб с выработки. А у нас 700 грамм и посылок нет... В настоящее время вы, писатели, вскрываете произвол времен Берия. Но почему ни единый из вас не коснется за жизнь *бытовиков?* Почему ни один писатель не заинтересовался нынешней жизнью заключенных? Почему не соизволят приехать в лагерь и посмотреть, кто сидит.[3] Конечно, вы можете меня культурно послать, но раз вы решили открыть правду, давайте, будем доводить до конца... Например, мы, убийцы, за что сидим? (Лагерное убийство). По 58 освободились, что вешали и казнили советских граждан, а мы — сидим?"

Все тут наворочено — и правда, и зависть, и чушь. До того своя боль стоит у сердца, что о прошлом писать вовсе не нужно (как будто о том ежедён книги выходят). Пятьдесят восьмую хоть и не освобождай, а только меня освободи!

А Иван Алексеев, тот прямо огорошил: "Такие умы, как ваш, сторонятся действительной помощи. Ваша позиция — арьергард".

Письма нынешних зэков и рассказывают о новейшем положении в лагерях. И берутся объяснять некоторые общие вопросы.

Лепехин: "Жалобы заключенных в высших судебных органах сплошь отклоняют. Ведь если разобраться в делах и освободить, то самим придется попасть под сокращение. (Определенно тут есть верное. Конечно, не судебная истина, а самосохранение важней всего для нынешней судебной системы)".

Ю. К-й: "Если выходят "шефы" (с производств), то их водят по лучшим баракам, показывая потемкинские деревни. Предварительно на них нагоняют страху, что тут столкнутся с ненормальными дегенератами... Нас чернят, как могут, чтобы оправдать свое существование и показать, что и им нелегко. Начиная с захудалого надзирателя и кончая начальником управления, все кровно заинтересованы в существовании лагерей. Надзорсостав за любую мелочь фабрикует громкое постановление; оперы чернят личные дела; начальник управления, подпи-

---

[3] Такая простая мысль — но как дико в наше время звучит!!

сывая сводку нарушений за квартал, добавляет их. Мы, двадцатипятилетники, — булка с маслом, которой насыщаются те, кто призван нас наставлять добродетели, хотя сами в корне порочны. Не так ли колонизаторы выдавали индейцев и негров за неполноценных людей?.. Против нас восстановить общественное мнение ничего не стоит. Достаточно написать в газете статью "Человек за решеткой" или описать, как дегенерат-уголовник изнасиловал пятимесячную девочку — и народ завтра будет митинговать, чтобы нас сожгли в печах. То Никита Сергеевич за ручку с вором, то — полосатая шкура".

В. Читают практические работники и благонамеренные

Это кто же такие "практические работники"? А это, оказывается, так называемые лагерные хозяева и лагерный надзор. Словцо-то золотое, а мы его прежде не знали. Выслушаем, как полагается, и другую сторону. Точнее — получим руководящие указания. Не все корреспонденты тут себя открывают, может, среди них есть и такие, кто голубых погон не носил, а связку ключей только от квартиры, — но все они единомышленники, та же масть. Это те самые, чьих портретов не бывает в газетах, но в ком сила. (А один из них — С. И. Головин — говорит, что бывший зэк. Приходится поверить). Их за книгу эту не преследуют, у них есть время почитать, выписать, раздолбать по пунктам.

О Шухове

"Иван Денисович — подхалим. В плену у немцев он мог бы заработать "птюху", хотя бы после этого не досчитались одного военнопленного в бараке". (Олейник, Владимир Васильевич, Актюбинск).

"Не хочу таких героев — только желудок, а мозга нет". (Пастухова, Т. С., г. Богородск).

"Главный персонаж повести Шухов показан отрицательно, как и все другие, которые, как видно из повести, вносили дезорганизацию в лагерную жизнь". (Григорьев, А. И., Монино Нелидовск. р-н, практический работник).

"Если ему не дадут вернуться к семье, то на воле ему вообще нечего делать. Правдивый ли это образ советского человека 50-х годов? К Шухову не испытываешь ни сострадания, ни уважения, ни особенного гнева учиненного над ним произволом". (Ю. Матвеев, Москва. Сам-то, небось, живет с семьей).

"Вымыв полы, бросил невыжатую тряпку за печь, а грязную воду вылил на дорожку, туда именно, где ходило начальство. Это говорит о том, как он уважает коммунистов и как бережет социалистическую собственность... Только и надеется на санчасть. А ведь он находится в ИТЛ, пусть даже и невинный, — так он должен, как советский человек, показать всем пример, как зажечь остальных, а не разлагаться!" (Захарова, А. Ф., сотрудник МВД с 1950 г. Лесогорск, Иркутск. обл.).

"Шухов осужден правильно. При допросе его *никто заставить не мог* — ведь это не 1937 год. Расчет у него был: он боялся пойти обратно на фронт". (В. И. Силин. Свердловск, практический работник).

Но обстоятельнее всех набрасывается на Шухова Влад. Дмитриевич Успенский из Москвы (или следователь или лагерщик). Пренебрегая текстом повести, как показаниями явно ложными, он *наматывает* дело Шухову совершенно в духе *того* времени:

"— Шухов не болен сегодня, раз сумел работать. Но трясется за свое здоровье — к фельдшеру побежал!

— Только на своей избе работал хорошо, а всюду и везде — халтурщик.

— Он никогда ни с кем не поделится; он квалифицированный, изворотливый и безжалостный шакал. Законченный эгоист, живущий только ради брюха;

— Он приносит в лагерь нож, *чтобы* продать его, а им потом зарежут человека.

— Он первый поднял руки и поспешил сдаться в плен; он настоящий изменник Родины.

Одним словом, Шухову Десятки мало. Четвертную!"

О других героях

"Миллионы наших советских людей трудятся на лесоповале и восхваляют этот труд (!), а герои повести относятся к нему со страхом". (А. Ф. Захарова).

"Вы показываете капитана 2-го ранга приниженным, лишенным чувства человеческого достоинства. Почему он одинок в своем справедливом возмущении, а почему директор завода смирился?" (Олейник).

"А Тюрины никогда в лагере не работали..." (П. А. Панков, Краматорск).

"За что сидит Тюрин? Сыновей кулаков не сажали (??). И эстонцев и латышей в лагерях было *совсем мало,* главным образом дезертиры из Красной армии". (Успенский).

"С каких пор "Новый мир" взял на себя миссию защиты буржуазных националистов, от пули которых погибли тысячи активистов?" (Белоусов, Ужгород).

Теперь о лагерных порядках

"А зачем давать много питания тому, кто не работает? Сила у него остается неизрасходованной... Одевали зэков *по сезону,* кормили не хуже, чем вольнонаемных... С преступным миром еще слишком мягко обращаются". (Сергей Иван. Головин, Целиноград, отсидел 10 лет).

"Как можно охаивать лагерные порядки? В лагерях меньше злоупотреблений, чем в каком-либо другом советском учреждении". (Патриотично). "Утверждаю, что сейчас в лагерях *стало строже".* (Караханов, прораб.).

"Ничего и сейчас не изменилось, скажем, в смысле проверки, или, выражаясь языком автора, "шмона" при выводе и входе. И повторные проверки, если не сходятся люди... И сейчас идут обязательно с автоматами наготове, на определенном расстоянии, так же идут и собаководы... А насчет норм питания не следует забывать, *что они не на курорте.* Поэтому должны искупить свою вину только честным трудом". (Старшина Базунов, Оймякон, 55 лет, состарился на лагерной службе).[4]

"Как же не делать обыска, если з/к стремятся вынести из лагеря разные письма с клеветническим характером на советскую коммунистическую партию и советское правительство?

(О плетке). Ведь мы все прекрасно знаем, что телесные наказания в нашей стране отменены с приходом советской власти... Солженицын так описывает всю работу лагеря, будто там и партийного руководства не было. А ведь и ранее, как

---

[4] Пространное письмо Базунова было направлено в закрытый журнал надзора и охраны с благородным названием «К новой жизни». В общем толчке этот журнал имел неосторожность поместить кисло-положительную рецензию на мою повесть и в ответ был засыпан возмущенными письмами читателей. И еще так велико было очарование, что редакция прислала мне письмо Базунова для ответа ему. Я охотно ответил, но тут времена изменились, и мой ответ заколодило.

сейчас, существовали партийные организации и направляли всю работу согласно совести". (Захарова).

"Раз лагерь, то возможен и произвол личности". (П. А. Панков).

О стукачах

"По Солженицыну выходит, что если кто-то из заключенных, более сознательный, скажет оперуполномоченному, то это "бережение на чужой крови". Вот это патриот, нечего сказать! Советский народ должен только сказать спасибо этим осознавшим заключенным". (Захарова).

"Описывают, что убивают "стукачей" — и как бы в заслугу. Все же знают, что такое *разведчик-стукач.* В Советском Союзе *этих* людей уважают, так как это передовые (!) сознательные люди, которые помогают выявить врагов советской власти, разоблачают изменников. В лагерях это те зэки, которые осознали свою вину. Если бы не было бы стукачей — совершались бы побеги. А что зэкам *делать на воле?*" (Силин).

О конвое

"Но главное, что поражает в этой, осмелюсь так выразиться, повести, — что автор так опошляет наших солдат и конвоиров. Солдат есть солдат, он верен присяге, выполняет все распоряжения командования, дисциплинированные, воспитанные воины... Ведь какая тяжелая и ответственная служба солдат, выводящих бригады на работу... Эта повесть оскорбляет солдат, сержантов и офицеров МООП. Народ — творец истории, но как показан этот народ в лице солдат, сержантов и офицеров? — в виде "попок", "остолопов", "дураков" в засаленных гимнастерках, в рваных шинелях". (Базунов).

"Мне кажется, не позорно охранять мирный труд советских людей. А по Солженицыну получается, что ниже позора быть не может. Народ возвеличил наши доблестные советские войска, а у Солженицына они стали попками... А если б конвой перестал нести службу? — Народ страдай?!" (Захарова).

О самих практических работниках, о лагерной администрации и надзоре

"Солженицын выступает против работников, выполняющих трудную, но почетную задачу. Весь день в повести насыщен от-

рицательным поведением заключенных без показа роли администрации, а если о ней говорится, то только отрицательно. Но содержание заключенных в лагере *не является причиной периода культа личности,* а связано с исполнением приговора... Оперработник назван "кумом", как могут называть только отдельные отрицательные заключенные... Отрицательное отношение заключенных к администрации... не отвечает поставленным задачам в настоящее время". (Григорьев, А. И.).

"Охрана не знала, кто за что сидит".[5] (Караханов).

"Чем виноваты сотрудники, офицерский состав? Тем, что они призваны партией и правительством нести самое тяжелое бремя нашего времени — работу с преступным миром?.. Мы, сотрудники, живя на периферии, лишены всех элементарных человеческих условий против жителей городов и районов. У нас подчас нет достаточно питания (!)... Мы работаем с отходами общества, мы несем наитяжелейшую участь ради блага всего народа. Так почему же нас чернят?"

(Об администрации в повести). "Они только выполняли, что с них требовали положения, инструкции, приказы. От себя на месте ничего не придумывали, пользуясь бесконтрольностью культа личности. *Ведь эти же люди, что работали тогда, работают и сейчас* (!!)[6] Может быть добавилось процентов десять — и за хорошую работу поощрялись не раз, являются на хорошем счету, как работники (!)

Солженицын называет оперативного работника "кумом". Кто дал ему право оскорблять должность, назначенную по штатам МВД?.. И что значит — "надзиратели дураки"? — они службу несут (Захарова).

Теперь о повести в целом

"Если ваша повесть — художественное произведение, то она должна *звать* к чему-то". (Олейник).

"Вместо того, чтобы нарисовать картину гибели преданнейших людей в 1937 г., автор избрал 1941 год, когда в лагерь, в основном, попадали шкурники. В 37-ом не было Шуховых,[7]

---

[5] Мы? «Только выполняли приказ», «мы не знали».

[6] Очень важное свидетельство. То же самое говорят и сегодняшние заключенные.

[7] Еще сколько!

а шли на смерть угрюмо и молча с думою *о том, кому это нужно?*... Там не лизали миски". (Олейник).

"Не испытываю к этим зэкам жалости и сочувствия. Разве такими были коммунисты, попавшие в беду?" (Аноним).

"Ни один из невинно-пострадавших не обвинял в своих страданиях товарища Сталина — об этом даже не приходила мысль. Здесь и находится водораздел между невинно-пострадавшими и настоящими преступниками. Те, как правило поносили и советскую власть и Сталина". (Винокур, инженер).

"Не люди 1937 г., а все послевоенная братия. Жалости к ним я не испытываю.[8] Этих людишек с подленькой душой *судили слишком мягко.* Темных личностей Отечественной войны (кроме пленных)мне не жаль". (Игнатович, г. Кимовск, работал десятником по транспорту в Караганде).

"Сколько чудовищных усилий прикладывают чекисты, чтобы возвратить в общество потерянных людей! Почему бы не показать, как наши люди сутками работали не из-под палки, а потому, что знали, что такое вольфрам и молибден в военное время! В каком-то исступлении работали около тысячи человек 3 суток по колено и по пояс в холодной воде. Кто сумел вдохнуть такое великое чувство патриотизма? — Чекисты!"[9] (С. И. Головин).

"Не показан в повести положительно и трудовой процесс заключенных, как основа перевоспитания. Заключенные в повести творили произвол (!) не только в быту, но и на производстве... Повесть научает небрежному отношению к социалистической собственности — "отломили проволоки на ложки, спрятали в углу"... Не в этом, по нашему мнению, должно быть содержание одного дня Шухова в лагере. Если эти отрицательные действия заключенных и имели место, то с ними велась большая работа по их искоренению, о чем ничего не сказано в повести. А сколько положительного было и есть в действительности? Разве можно было допускать таких недозволенных действий со стороны заключенных? Положительное влияние повесть имела бы в том случае, если бы она отвечала задачам,

---

[8] Ну да, ведь это простой беспартийный народ.

[9] Читатель видит, что этот глубокий отзыв намечает и общие задачи литературы.

поставленным перед исправительно-трудовыми учреждениями".[10] (Григорьев).

"Такой дряни еще не приходилось переваривать... Это не только мое мнение, много нас таких. *Имя нам легион*".[11]

"Возмущена до глубины души, как и все сотрудники МООП. Горячее негодование и возмущение у всех! Просто удивляешься, сколько желчи в этом произведении..." (Захарова).

Да короче: "Повесть Солженицына должна быть немедленно изъята из всех библиотек и читален!" (Кузьмин. Орел).

Так и сделано, только постепенно.

И наконец: "Эту книгу надо было не печатать, а передать материал в органы МГБ". (Аноним, ровестник Октября).

Да так почти и произошло, угадал ровестничек...

Что же о самом авторе?

"Вы, будучи не в состоянии сами стоять твердо на ногах (?), топчете в грязь честных советских людей... Вы взялись за хорошую тему не с весьма чистой душой... Почему (в повести) никто не возмущается взяточничеством? Ведь это противно советскому человеку. Или вы *сами* ценой взятки спешили выйти на свободу?" (Олейник).

"А вы, товарищ Солженицын, нюни распустили, в вас не чувствуется веры в новую жизнь". (Камзолова).

"Этому Солженицыну злоба застилает глаза, и потому он не способен трезво оценить окружающее. Ему мерещится, что только его мелкая, прокисшая безвольной злобой личность и есть типичное в литературе... Этот человек не способен понять великое". (Н. Д. Марченко, ст. Удельная).

"*История никогда не нуждалась в прошлом* (!) и тем более не нуждается в нем история социалистической культуры". (А. Кузьмин).

"За советскую власть мы слишком дорого заплатили, чтобы позволить опошлять ее действия". (Головин).

"Я бы не напечатала. Зачем и кому это нужно? Изъян на собственном теле стараешься прикрыть, а не выставить напоказ. Нам не нужно ни сочувствия, ни подаяния". (Медне).

---

[10] Вот и еще глубокий отзыв, намечающий общие задачи литературы.

[11] Это верно, что легион. Только впопыхах не проверили цитату по Евангелию. Легион то — б е с о в...

"Зачем нужно показывать с шумом то, что творилось в период культа? Как поветрие началось разоблачение беззаконий, писатели и поэты стараются лягнуть мертвого льва... Может быть, и классового врага придумал Сталин и его подхалимы...[12] Зачем копаться в грязном белье прошлого, канувшего навсегда в Лету?..

Ты слышишь, Россия,
На совести нашей
Единого пятнышка нет!" (Аноним).

И вот, наконец, самый общий исторический взгляд, первое научное объяснение всех наших несчастий:

"После первоначального (?) лозунга "сын за отца не отвечает", осколки разбитых классов устремились во все поры советского организма, не оставляя мысли отомстить за отнятые привилегии. Это они особенно свирепствовали в 1937 году (!), это они стали полицаями в 1941 году, это они, попав в армию, с первых же дней кричали "спасайся, кто может!", увлекая и других в плен". (Панков).

Ну, наконец-то все понятно: и партию вырезал классовый враг, и Гитлера в Сталинград заманил классовый враг, после чего передал дела талантливым генералам и мудрому Генералиссимусу.

Вот это-то и страшно — что так пишут историю...

---

[12] Конечно! А разве нет?

1917-Й ГОД*

1919 год. Что даст нам этот год?

Я сижу дома у себя в комнате перед печкой. Ноги мои лежат на стуле, потому что сильно отекают, когда спустишь их на пол. Уже две недели, как я вернулась из больницы, где пролежала больше месяца.

В тот вечер, когда я шла в последний раз в больницу к мужу, я чувствовала, что заболеваю. Утром, шатаясь от слабости, я проискала около двух часов извозчика, чтобы перевезти мужа домой. Наконец, нашла доброго старичка, который согласился довезти за триста рублей. Когда няня вывела моего мужа на крыльцо, он с трудом держался на ногах от слабости, а я чуть не падала от усталости. Но я напрягла все свои силы и, обняв одной рукой мужа, держала его так всю дорогу до дома.

Сынишка приготовил самовар, печь была растоплена, в комнате стало тепло, а на столе стояли приготовленные мамой вещи, которых я не видела более полугода: сахар и варенье. Сын ластился к отцу.

— Неужели я дома, и на свободе? Не верю! Как кошмарно все это было!

— Не знаю, кому ты обязан освобождением — твоей болезни, или Семашко, — ответила я.

Вскоре к нам пришли мои родители. Муж рассказывал про тюремное житье, как клали тифозных больных на пол, как уводили на расстрел офицеров с 40-градусной температурой, про заключенных в одной с ним палате, так исхудавших, что у них слышен был хруст костей, когда они двигались.

Мы долго все сидели вместе, пока мама не взглянула на мое лицо.

— Пора уходить! Она так устала!

Ночью мною овладели кошмары. Мне казалось, что Роз-

---

* См. кн. 90, 91, 92 «Н. Ж.».

мирович велела замуровать наши окна и двери и при этом язвительно говорила:

— Вам будет теплее так. Не будет дуть.

Мне казалось, что я задыхаюсь в замурованной комнате, голова моя пылала. Я поднялась, зажгла электричество и поставила себе термометр — 39,0. Я соображала с трудом, но понимала, что нужно дождаться утра. Утром я поднялась, чтобы приготовить чай. Чашка выпала из рук. Я села.

— Я заболеваю, заболеваю тифом!

Чувствую, что ноги отяжелели, и я не могу двинуться. Помню, муж мой, испугавшись за меня, шатаясь, бросился к родителям наверх. Что было дальше, вспоминаю, как в тумане. Был доктор, сказал, что немедленно нужно меня изолировать. Потом видела мужа на диване, — у него от истощения и исхудания брюшных мышц при первом же быстром движении, — когда он поднялся по лестнице к моим родителям, сделалось ущемление грыжи. Помню, — нас обоих повезли на грузовом автомобиле в больницу, его в хирургическое, меня в тифозное. Когда меня доставили в тифозное отделение, меня будто кто-то ударил по голове, и я лишилась сознания. Сколько времени прошло с тех пор, как я пришла в себя, не помню. Когда я открыла глаза, передо мною стояла сестра милосердия и что-то мне говорила. Не знаю, почему, но мне представилось, что я лежу в Женеве, и у меня родился Григося. Как обрадуется отец, когда узнает, что мальчик...

Я очнулась снова, на этот раз я уже слышала слова сестры. Но слова эти долетали до меня будто издалека. Я поняла, что я оглохла.

— Мне не нравится ваш вид, вы такая вялая. Кризис у вас миновал, теперь дело должно итти на поправку. Вы и слышать начали лучше. А письма прочли, которые я вам дала?

Я поднялась на подушке и увидала, что нахожусь в небольшой палате, где стояли четыре кровати, и все были заняты больными. Я вынула письма из-под подушки. Это писал муж. Ему сделали операцию без наркоза, потому ли что он был слаб, или потому, что не хватало анестезирующих средств. Затем, затем... у меня все закружилось в глазах, — затем через несколько дней после операции, ему вручили бумагу от Следственной Комиссии при Верховном Трибунале, что его переводят в Кремль.

Я почувствовала, что постель подо мной опустилась, и до меня донесся громкий голос сестры:

— Опять она без сознания!

Я услышала запах камфоры и открыла глаза. Мне казалось, что я схожу с ума. Я стала подробно вспоминать мой разговор с Семашко. Он ясно сказал: это освобождение. Я снова стала читать письмо.

Они не только прислали мужу бумагу, но приехали за ним в автомобиле с вооруженными солдатами. Хирург В. Н. Розанов отказался выдать больного ввиду того, что швы еще не были сняты, и больной был настолько слаб и истощен, что перевозка его представляла опасность для жизни.

Муж спрашивал у меня в письме, у кого бумага об его освобождении и просил прислать адреса и номера телефонов учреждений. Бумага об освобождении? Но ее нет у меня! Семашко сказал на словах. Адреса и телефоны были записаны, я ничего не знаю на память. Что делать? Зачем его хотят увезти в Кремль? В качестве заложника? Я опять потеряла сознание. Опять старшая сестра стояла около меня и говорила:

— Вы мне положительно не нравитесь... Был ваш сын, приходил справляться о вашем здоровьи. Его, конечно, не допустили к вам. Он вам написал в канцелярии письмо. Вот оно, прочтите. Может быть развлечетесь!

Сын, несмотря на свои десять лет, написал мне очень обстоятельное письмо. Он писал, что пришел в больницу с дядей, но их не допустили до меня. На улице страшные морозы. Он топит каждый день нашу комнату, чтобы она не промерзла. У бабушки с дедушкой уже нет дров. Выдают на каждого человека по пяти пудов в неделю, при таких морозах этого мало, и бабушка с дедушкой уже топят ящиками и стульями. Водопроводные трубы замерзли. «Я и Леня ходим на площадь в общественный водопровод за водой, кипяток берем в советской столовой. Поправляйся! Твой сын Григося».

Я дала сестре прочесть письмо.

— Да, это все правда. Потому то и лежите подольше в больнице. Здесь вам покойнее.

Покойнее! А как же муж? У меня нет сил писать, и его письма остаются без ответа.

Я не спала по ночам и до меня доносились из коридора стоны и крики больных. Корпус переполнен тифозными, места

не хватает. Быстро настроили бараки, туда командировали студентов и студенток. Работы им много, а питания мало. Тарелка супа и чечевица. Это все. Ни мыла, ни горячей воды для ванн не дают; при таких условиях эти командированные сами — прямые кандидаты в больные. Старшая сестра говорит, что в Москве в день заболевают до 500-600 человек...

Дня через два я получила от мужа опять письмо. Он пишет, что вызвал в больницу следователя из Верховного Трибунала. Тот явился и, убедившись, что муж мой действительно тяжело болен, прислал бумагу об освобождении. Муж спрашивал в письме, когда я могу выписаться из больницы, чтобы вместе ехать домой.

Прочла и не поверила. Я больше ничему и никому не верю в этой Совдепии. Скорей прочь из этой страны, из этого застенка! В больнице мне грезился Париж, наша квартира, я и сын идем по Монпарнассу, заходим, как бывало, в магазин, я покупаю ветчину. Как она пахнет! Только изголодавшийся человек понимает этот запах.

В палате рядом со мною лежала больная докторша, ассистентка доктора Обуха, заместителя комиссара здравоохранения. Она тоже коммунистка. Ее навещали сановные большевики, был и сам Обух. Вокруг нее суетились няньки. Когда по утрам ей перестилали постель, то вокруг нее появлялся целый штат нянек, в таком количестве, что любая крон-принцесса ей могла бы позавидовать.

Няня, кто эта больная, рядом со мной? — спросила я няню.

Это — ассистентка доктора Обуха, — с подобострастием ответила нянька.

— А Обух кто? — спросила я безразличным тоном.

— Обух? Вы не знаете, кто Обух? Да это главный комиссар по больничным делам, — она окинула меня взглядом с видом превосходства.

К моей соседке, коммунистке, каждый день приходили близкие, принося ей всевозможные яства. Откуда это у них? Тут были и масло, и сыр, и икра, и ветчина. Ела она все это очень противно, как истинная обжора, и я всегда отворачивалась. Мне некому было принести поесть: родители не смогли пройти такое большое расстояние пешком, сын еще мал, муж

лежал в хирургическом отделении. Я питалась больничным супом и кашей. Я еле держалась на ногах, но мне хотелось скорее уйти от этих подобострастных нянь, и этой высокопоставленной сытой коммунистки. Но я все-таки не верила, что муж получил ордер об освобождении и ждет меня. Врач позволил мне выписаться не ранее недели. Я написала об этом мужу. Как-то я лежала на своей кровати, по обыкновению грея свои руки на паровой трубе, вдруг услышала свое имя, — кто-то ясно меня назвал:

— Таня!

Я обернулась: передо мной стоял муж. Я только развела беспомощно руками.

— Ну, вот видишь, я на свободе! — сказал он.

Мне не верилось. Я погладила руками его лицо, как бы желая убедиться, что это действительно он. Он взял мои обе руки и по очереди поцеловал.

— Бедняжка! Как ты изменилась! Ну, я тебя вылечу! Теперь я буду за тобой ухаживать. А сейчас я тебя приглажу.

Он пригладил мои стриженые волосы и подобрал их под косынку.

— Устала? Засни. Я теперь к тебе буду каждый день приходить после перевязки. Рана моя хорошо заживает.

Когда он ушел, я убедилась, что освобождение его, наконец, действительно произошло.

Когда мы оба вернулись домой, я нашла свое хозяйство в плачевном состоянии: дров почти нет, водопровод замерз, никакой провизии... Нервы мои были так истрепаны, что думая обо всем этом, я начала плакать.

— Мама, о чем же ты вдруг плачешь, когда папу освободили, и вы оба выжили после этого тифа? — спросил сын.

— А кто будет покупать провизию, носить воду, дрова, готовить... Я не могу двинуться с места, а прислугу нанять нельзя, меня переведут в четвертую категорию...

Слезы текли у меня. Сын растерялся и принялся утешать.

— Мамочка, не плачь, не горюй! Я буду работать, тебе помогать. Воды тебе принесу. Сколько нужно? Три ведра? Печи буду топить. На Смоленский за морковью пойду. За дровами с папой пойдем на склад и привезем на санках.

Он принялся меня целовать.

Григося сдержал слово. По возвращении из гимназии он приносит воду, стоит в очередях и ходит с санками за дровами с отцом. Ужаснее всего, это поездки на склад за дровами. В назначенный день жильцы всего дома идут вместе на склад, там ждут, пока им отвесят дрова для всего дома. Потом уже начинается развеска по 5 пудов на человека. Затем каждый увязывает свои дрова на саночки и везет их по убийственным мостовым, занесенным снегом.

Трудно пришлось бы многим родителям, если бы не дети. Маленькие труженики! В них детский труд восстановлен в самой неограниченной силе. Не мы ли, социалистки, так протестовали против детского труда, указывая, что детские годы должны быть посвящены учению? Какие занятия и успехи могут быть у детей в школах при таких условиях. Уставшие, озябшие, полуголодные идут дети в классы. Классы отапливаются плохо. Знаменитый «горячий» завтрак, введенный большевиками, это тарелка жидкой похлебки. Вдобавок, чтобы получить его, ученики каждую неделю ходят в невероятную даль за продуктами, везя их потом на себе в санках до школы.

Главное детское занятие — это стояние в очередях. Приходится стоять часа по 3-4. Эта зима особенно холодная и нельзя без жалости смотреть на ребятишек, когда они в рваных сапоженках, синие от холода, стоят в хвостах и ждут, когда они по карточкам получат четверть фунта коноплянного масла или полфунта высохших пряников. Посмотришь, — сердце кровью обливается, а все-таки посылаешь своего ребенка, иначе останешься без ничего.

Большевики публикуют массу декретов, один лучше другого: дети получают сверх нормы по полфунта мыла, пользуются правом посещения раз в неделю бань; выздоравливающие после тифа тоже сверх нормы получают масло, яйца, сыр, рис и... икру и т. д.

Если эти декреты сохранятся для будущего поколения, то оно должно, конечно, воскликнуть: «Будем же беспристрастны! Большевики все делали для народа...»

Мы тоже поверили сначала этим «щедротам». Но, увы! Григося, прождав на морозе три часа, получил из продовольственного комитета ордер на фунт гороха. Где же мыло, икра и все прочее? Видно, все это нужно лишь, чтобы оставить документ для потомства.

Как много людей умирает в Москве за последнее время. Когда утром муж и сын уходят из дома, я ложусь у окна погреться на солнышке, мимо моего окна проносят, провозят мертвых без конца. Наша улица ведет в своем конечном пути на Ваганьковское кладбище. Не сочтешь, сколько за день их пронесут на покой в вечную обитель. Возят больше на маленьких саночках, — гроб привяжут веревкой к санкам; сзади идет человек, смотрит, чтобы гроб не упал, впереди двое тащут за веревку.

Вчера мимо окон проехал автомобиль-платформа, на ней лежали рядом, тесно друг к другу, мертвые тела. Сверху они была накрыты брезентом, в одном месте он сполз, и трупы открылись. Кто они, эти бывшие люди? Безродные ли, или больные, умершие в больнице или расстрелянные? Не знаю. Приими, Господи, души их с миром!

Муж работает в Центральном Совете Профессиональных Союзов, в отделе информации.

Он хотел поступить в Главное Архивное Управление разъездным инспектором в надежде, что если понадобится, он сможет приблизиться со мной и с сыном — к западной границе. Но он получил от властей ответ: «Для Алексинского такое место слишком незначительно».

Когда я услыхала такой отзыв, сердце у меня упало. Вероятно, Чека боится, что муж добивается должности разъездного инспектора для побега заграницу. Если так, то правительство ошибается: до тех пор, пока его дело не будет поставлено на суд, или официально прекращено, он не бежит из России.

Работа в Центральном Совете Профессиональных Союзов его интересует. Профессиональное движение еще не разгромлено и в нем еще можно работать для рабочих, а не для правительства.

После тюрьмы, голодовки, болезней в муже проснулась особенная жажда жизни и появилась необыкновенная энергия. Утро и день он проводит в Совете Профессиональных Союзов, затем отправляется раздобывать для меня продукты питания. И все это пешком, иногда проделывая в день по 15 верст и везя на себе в маленьких саночках по несколько пудов дров, картофеля, муки.

Вечером он лихорадочно работает над своими воспоми-

наниями о большевицкой тюрьме. Но его прогулки, с грузом в несколько пудов, уже дали себя знать: шов за швом лопаются на месте недавней операции и расходятся края его раны, которая была так прекрасно оперирована В. Н. Розановым. Хирург, выписывая мужа из больницы, сказал:

— Не носить, не поднимать никаких тяжестей в течение трех месяцев!

Я напоминаю об этом мужу, он неизменно отвечает:

— Поправляйся скорей, питайся! Встанешь на ноги уедем заграницу. Томский мне сообщил, что мое дело прекращено. Но одновременно я узнал от друзей, что Ч. К. подозревает, что я вернулся снова к нелегальной работе, и что возможен мой новый арест.

Я убеждаю его — не ждать моего выздоровления и ехать одному.

— Твоя жизнь нужнее моей. Я уже конченный человек и к жизни не вернусь.

— После моего отъезда большевики тебя сгноят в тюрьме, — возражал он.

— Нечего гноить! Я скоро умру.

Предчувствие смерти меня не покидает.

Мощи святых, которые так чтил русский народ, стали одни за другими подвергаться «вскрытиям». Когда большевики дошли до мощей святого Сергия, раздались протесты со стороны всей небольшевистской части общества.

Газеты полны описанием этой процедуры. Когда я читала описание вскрытия гроба св. Сергия, слезы текли у меня. Да, я плакала! Мне не стыдно это сказать. Я знаю, иные скажут:

— И это социалистка?! Атеистка?!

Пусть объясняют эти слезы моими больными нервами, моей разбитой волей. Пусть! Объясняйте, чем хотите. Но я плачу и сейчас, когда пишу это!

Святой Сергий покровитель нашей России, как Жанна д'Арк — Франции. Но большевики не остановились и перед его гробом. Вскрыли гробницу, потревожили истлевшие одежды и мощи. С отчаянием смотрели на кощунство монахи, пели псалмы, рыдали люди, находившиеся в храме.

Зачем это нужно было большевикам? Зачем было тревожить тело чтимого народом святого, умершего 500 лет тому

назад? Неверующие и без того знали, что в гробу нет ничего, кроме праха, а верующие ответили на «протокол вскрытия» рассказом о том, как Господь взял к себе мощи святого для того, чтобы не коснулись их нечистые руки.

Этого ли хотели большевики?

Мое состояние здоровья и самочувствие улучшаются. Я уже держусь на ногах. Вчера вышла побродить на солнышке. На улице тепло, снег тает. Скоро весна. Я даже так осмелела, что пошла на Бронную, в кооператив. Там выдавали по четверть фунта меда на книжку. Очередь огромная — несколько сот человек. Все стоят озлобленные, голодные. Вдруг на тротуаре падает без чувств пожилая дама. Никто даже не шелохнулся со своего места.

— Боже мой! Что с ней? — спросила я свою соседку.

— Что вы, с луны свалились? — с озлоблением ответила соседка, —не видали, как люди на улице падают от истощения и голода?

Женщина, которая стояла неподалеку от меня, перекрестилась. Вероятно, она думала: «Слава Богу, что не я упала и держусь пока на ногах».

Не надо смотреть на это, как на бесчеловечное отношение или как на узкий эгоизм. Это теперь так со всеми нами. Я сама целые дни сидела в углу на диване, уставившись в одну точку... Мне ничего не было нужно, и мне были безразличны все другие. И в таком состоянии — половина России. Что можно требовать от больного народа? Что можно требовать от заживо погребенных людей?

Большевики усиливают гонение на церковь. Кто не знает, какую роль играла и играет религия в миросозерцании русского народа. Русский народ по натуре мистичен. Этот мистицизм складывался веками. Зная это, мы, социалисты, всегда осторожно подходили в своей пропаганде к этому вопросу.

Мы говорили, что человек волен верить, как хочет. А большевики одним росчерком пера объявляют поход против религии и упразднение национальной русской церкви. Но всякое гонение на веру вызывает симпатию к гонимым. Я и муж пошли в ночь под Пасху на богослужение. И мы увидали воочию, как отозвался народ на гонение против церкви. Улицы не были

освещены совсем, хотя в обычные дни на улицах зажигалось по фонарю на каждом углу. Толпы народа спешили в церковь. В обычное время в Москве народ шел в пасхальную ночь в Кремль и дожидался удара знаменитого колокола Ивана Великого в 12 часов ночи. И когда могучий призыв его раздавался в полночь, все московские церкви отвечали ему дружным звоном своих колоколов. Народ, с зажженными свечами, расходился по своим церквам.

Вековой традиции следовали как верующие, так и неверующие. Большевики закрыли Кремль для русского народа. И молчал в ту ночь Иван Великий!

Трогательное зрелище представляло богослужение, на котором были мы. Молящихся масса внутри и на паперти. Стоят на коленях. Многие плачут. Среди молящихся красногвардейцы. Лица сосредоточенные, а у иных тоскливые.

Грустная вернулась я домой.

Мы едим карамели. Редкое кушанье. Происхождение их очень интересное. В Центральном Совете Профессиональных Союзов к Пасхе всем служащим выдали по три фунта этих карамелей. К мужу подходит видный большевик, поставленный для «надзора» за профессиональным движением и говорит:

— Товарищ Алексинский, вы как ответственный советский работник, имеете право взять себе шесть фунтов.

Мой муж посмотрел на него и ответил:

— Я понимаю еще привилегии происхождения, но привилегий желудка не понимаю! Отдайте дополнительные три фунта кому-нибудь из многосемейных!

Но тот, повидимому, не понял слов моего мужа, сказав:

— Напрасно! У нас все пользуются своими правами.

Многие сановные большевики алчны до невозможности.

Из коммунистов, которых я лично знаю, я лишь одного назвала бы, который работает, мне думается, бескорыстно, по убеждению, — это доктор Н. А. Семашко. Лично ему ничего не надо. Он живет, как жил раньше. Его семейные так же дежурят в очередях и принимают на себя все тяжести жизни.

В этом небольшом эпизоде с карамельками отразился, как в зеркале, мнимый демократизм большевиков. Девиз: «кто не работает, тот не ест», превращен большевиками в другой: «кто не работает на большевиков, тот не ест». В этой переделке де-

виза сказался весь Ленин — «практик», который сам лично равнодушен к материальным благам, но отлично видит, что эти блага соблазняют многих и что за деньги можно купить даже совесть. Еще в годы эмиграции, он и его жена, Надежда Константиновна, вербовали себе послушных сторонников при помощи средств, которые были, в сущности, грубым подкупом. И это проделывалось во имя революции и в интересах пролетариата.

Бедный пролетариат!

Ленинская фракция превратилась теперь в правительственную партию. Все возможности, все способы воздействия в ее руках. И она применяет их без всякого стеснения, прикрываясь квази-социалистическим девизом: «кто не работает (на большевиков!) тот не ест».

Кто же работает с ними? Большевицкие учреждения полны служащими: ответственные и неответственные. Ответственные — это чаще всего свои старые партийные работники-большевики и интеллигенты из «приспособляющихся», которые за крупный пост и материальные удобства пойдут, с кем угодно и все оправдают. «Большевицкое засилье» для них не играет никакой роли. Подобные люди всегда были, есть и будут. Режим для них не существует, а они для режима. Ярким примером такой «интеллигенции» является вторая жена Максима Горького, артистка М. Ф. Андреева. Сейчас же после покушения на Ленина, она послала ему сочувственную телеграмму, где перечислены все бедствия, которых избегла Россия благодаря тому, что Ленин сохранил свою жизнь. Под подписью красовались ее имя и Максима Горького. Она верно учла, что момент для выражения верноподданнических чувств настал и, конечно, не ошиблась, потому что вскоре ей предложили должность комиссара российских театров, т. е. почет, автомобили, власть и продовольствие бес счета.

Неответственные работники это та голодная русская интеллигенция, непримирившаяся с большевиками, но ставшая на работу, как рабочие идут на завод после проигранной стачки, чтобы не умереть медленной голодной смертью. Это белые рабы, идущие к большевикам только ради куска хлеба и ненавидящие всей душой своих деспотов работодателей. Эти белые рабы не могут ничего сделать для своего освобождения, они скованы своими семьями, детьми, женами. При малейшем не-

удовольствии или ропоте их сейчас же объявят контр-революционерами, бросят в тюрьму в жертву тифу, или поведут на расстрел китайцами. Нужна новая свежая сила, которая бы вдохнула в них надежду. Но эта сила может придти лишь извне.

Вчера в одном из отдаленных переулков Москвы, близ Брянского вокзала, куда я ходила за хлебом, я встретила даму, жену одного из крупных участников нелегальной организации, которая помогала мне подготовлять несостоявшийся побег моего мужа. Мы обе, как бы по сигналу, остановились друг перед другом.

— Это вы?

— Неужели вы?

Я сомневалась, — она удивлялась.

Не прошло и года, как мы виделись в последний раз. Тогда она была красивой, еще сравнительно молодой дамой, теперь же она стояла передо мной в образе старухи: белое, как бы резиновое лицо, ввалившиеся глаза, согнувшаяся фигура.

— Что было с вами? — прервала она молчание.

Она смотрела на мое отекшее лицо, на мои опухшие ноги и на шаткую, неуверенную походку.

— У меня была цынга, сыпной тиф. Вообще все, что полагается. Только испанкой еще не болела. Ну, а вы?

— Сядьте, вам трудно стоять!

Мы сели на скамейку. Кругом не было ни живой души, она начала кошмарный рассказ. Сначала один арест, освободили; затем другой, улик не было, освободили опять. Явочные квартиры все провалены. Средств никаких. Несчастные офицеры, члены организации, без денег, без ночлега.

— Вы помните эту злосчастную регистрацию офицеров? Ну, вот все несчастья начались после нее.

Во главе нашей организации стоял известный вам С. В один прекрасный день он скрывается со своими секретарями, бросив нас на произвол судьбы. Я понимаю, что он должен был скрыться, его искали. Но нельзя же так поступать с остальными, со штабом, с нашим бюро. У этого С. — старая система террористических организаций: во главе как можно меньше людей. И эти избранные трое-двое только и были связаны с остальными. Мы знали только их. Они скрываются, не передав нам связей, средств, предоставляя нас самим себе. Какой это был

ужас. Последствия были: офицерство один за другим стало поступать инструкторами в Красную армию. Что было делать? Бежать? У нас ни гроша. Просто жить? На что, на какие средства? Я думала, что с ума сойду! Но вот, оказывается, все пережила, — сказала она с горькой улыбкой. — Живучее существо, это человек... Да, ужас, — вздохнула она.

Но в обвинениях против С. она не права — этого я ей не сказала. Он вовсе не «скрылся» и не бросил дело, чтобы спастись лично, а отправился в Ярославль руководить восстанием, которое было там организовано им и полковником П., в согласии с «союзниками».

Мы поднялись со скамьи, протянули друг другу руки. Обнялись, посмотрели еще раз друг на друга и разошлись. Встретимся ли опять?

Весною М. Калинин, бывший избиратель моего мужа в Государственную Думу, предложил ему войти в состав советского правительства (по поручению Ленина). Но мой муж отказался, и наоборот, снова вошел в нелегальную антибольшевицкую работу — в «Союз Возрождения» и в «Тактический Центр». Председатель «Тактического Центра» Щепкин* сообщил Г. А. об угрозе нового ареста и потребовал, чтобы он эмигрировал немедленно. В мае я стала тверже держаться на ногах. Муж решил, что ждать дольше нечего. Нужно уезжать из Москвы в Петроград, чтобы испробовать все возможности для перехода границы. Нам дали связи.

В Петроград муж поехал по фиктивной командировке, якобы для необходимой работы в петроградских архивах, по вопросу о профессиональных союзах. По приезде в Петроград я обошла все данные мне адреса и всюду мне ответили отказом. Финны, боясь большевиков, строго охраняют границу. Я уже начала отчаиваться и хотела вернуться в Москву. Уезжая из Москвы, я никому ни одним намеком не показала, что мы собрались покинуть Россию. Я сказала, что еду отдохнуть, полечиться. Если удастся проехать в Финляндию, буду рада.

Петроград оказался хуже, чем я думала. Жизнь затихла, растет трава на мостовых, на улице кладбищенская тишина,

* Щепкин, впоследствии расстрелянный Че-Кой.

так что днем слышен гул шагов. За несколько дней, что я прожила в Петрограде, я чувствовала, что ко мне возвращается мое подавленное состояние. Видя это, муж решил отправить меня и сына в Гдов, Петроградской губернии.

— Большевики скрывают это, — сказал он мне, — но из Эстонии началось наступление антибольшевиков. Около Гдова ведутся бои. Может быть, Гдов будет взят, и тогда тебе с сыном удастся проскользнуть в Эстонию. Там вы будете в безопасности. Во всех городах, через которые ты проедешь, оставляй адреса, куда выбыла. Я тебя найду. Если я буду знать, что вы в безопасности, мне будет легче одному перейти границу.

В Гдов муж послал сопровождать меня одну даму, у которой сын, офицер-антибольшевик, служил там в одном из советских учреждений.

Поезда из Петрограда в Гдов еще ходили. Мы уехали. Подъезжая к Гдову, мы услышали выстрелы.

— Что это значит? — спросила я у деревенского парня, который согласился снести наш багаж в город.

Это белые идут к нам, — радостно ответил он.

— Вы рады? — спросила я.

— Еще бы! Свободно будет жить и сыты будем. Они записку бросали, чтобы красные город оставили. Ну, красные и выезжают.

— Когда выезжают? — спросила я.

— Да сегодня целый день увязывали все.

— Что все?

— Да бумаги разные в комиссариатах.

Я как-то не придала значения словам этого парня. В Москве и Петрограде в советских газетах никогда не писали об этом фронте. Лишь в Пскове на вокзале я заметила некоторую тревогу.

Пассажирам, которые стояли на платформе в ожидании поезда, вдруг приказали моментально войти в вокзал. На нас буквально бросились солдаты со штыками. В дверях меня оттеснили от Григоси, и он у меня пропал. Я бросила свои вещи и умоляла красногвардейцев пропустить меня назад найти сына. Но в ответ слышалась только ругань. На счастье через несколько минут нас опять выпустили на платформу, и там я нашла Григосю.

— Мама, сейчас проехал поезд, и на платформах стояли пулеметы. Их много!

Только впоследствии я поняла, куда ехали эти пулеметы. Парень довел нас до избы, где должен был жить сын дамы, с которой я приехала. Оказалось, он выехал в Петроград уже несколько дней тому назад. Но наступила ночь, и мы решили остаться ночевать в этой избе.

Я не могла сомкнуть всю ночь глаз и слышала, как приходили к нашим хозяевам из совдепа, чтобы те дали лошадей увозить советских комиссаров из Гдова. Утром в городе не осталось уже ни одного комиссара и не было никакой «власти». С полудня начался обстрел города белыми. Я вышла из дому до начала обстрела и на улице попала под огонь.

— Идите в погреб скорее! — крикнул мне кто-то.

Я бросилась на голос и спустилась в погреб. В погребе на матраце сидели дети, взрослые стояли. Огарок свечи горел на бочке. Ни страха, ни озлобления я не заметила на лицах взрослых, все деловито обсуждали в котором часу белые будут в Гдове.

— Они норовят в совдеп все попасть. Да не знают, что те ночью упорхнули.

Просидели мы с час. За это время я спросила, как им жилось под большевицким режимом.

— Сами знаете, что не сладко, — ответил мне пожилой мужчина. — Ведь у нас уже были белые два раза, продержались немного: раз две недели, а последний раз больше месяца. Вольно жилось при них. Зато, когда красные возвращались, уж и мстили же они всем. Расстрелов, расстрелов что было... Страшное было время!

Стрельба стихла. Я поблагодарила хозяев за приют и вышла. Не прошла я и двадцати шагов, как новые выстрелы, и я снова засела в погреб. Только к вечеру я добралась до того дома, где мы остановились.

На рассвете, часа в четыре утра, в город вошли белые войска. Вошли тихо, безшумно, не «беспокоя» жителей.

Я не спала и, стоя у окна, уловила ржание лошадей и топот копыт.

Утром, часов в восемь, все жители высыпали на улицу. Мы тоже вышли. Плавно проходили белые войска во главе с атаманом Булаховичем. Фуражки, пулеметы, оружие, повозки и ло-

шади были убраны зелеными ветками. На левой руке у всех солдат были белые повязки. Впереди войска шли два солдата с обнаженными шашками и срывали большевицкие надписи с главных учреждений, а на их место водружались трехцветные национальные флаги. Жители шумно и радостно встречали войска.

Одно из первых распоряжений Булаховича было немедленное освобождение из тюрем всех арестованных большевиками. Около полудня по главной улице провели нескольких, не успевших бежать, большевицких комиссаров, которых выдали сами жители. Допрос их состоял в следующем:

— Признаете ли себя виновным в принадлежности к коммунистической партии и в том, что являетесь активным членом ее и проводили ее постановления в жизнь?

— Виновным себя не признаю. Но признаю себя коммунистом по убеждению, — отвечали некоторые.

Коммунисты, дававшие такой ответ, приговаривались к расстрелу. Тех же коммунистов, которые отрекались от своих взглядов, Булахович отпускал или записывал к себе в войска.

Сегодня, проходя по главной улице, я видела на часах того парня, который нес нам вчера вещи с вокзала. Он приветливо кивал мне головой. Я подошла к нему.

— Вот, добровольцем записался, — сказал он.

Видя русские флаги, русские надписи, я только сейчас начинаю понимать, что я уже не в Совдепии. Она осталась где-то далеко... Но где мой муж теперь? Ходят слухи, что Петроград уже взят, другие говорят наоборот, что там царит ужаснейший террор. Никто ничего не знает.

На шестой день после взятия белыми Гдова, рано утром я вышла на балкон. Какой-то молодой человек окликнул меня:

— Госпожа Алексинская!

Кто мог знать меня здесь в этом городишке? Опять недобрые предчувствия овладели мною.

— Да, я.

— Ваш муж... — начал он.

«Убит!» — пронеслось у меня в голове.

— ...Ваш муж здесь и скоро будет у вас.

Молодой человек оказался белым офицером, уроженцем Гдова. Он служил здесь в военном комиссариате, и нелегальная

организация, с которой был связан муж, поручила ему сопровождать мужа при переходе границы.

— Две ночи шли болотом, — сказал он, указывая на свои сапоги. — Днем прятались в кустарниках. Удалось переехать озера и добраться до Эстонии, а потом сюда.

Только тут я заметила, что он был по колено в грязи.

— Ради Бога, ведите скорее моего мужа.

Через полчаса я увидела мужа. Я бросилась ему на шею и сказала, как одиннадцать лет тому назад, когда мы эмигрировали после роспуска второй Думы в Швецию:

— Никогда больше не будем расставаться.

Копенгаген. Июнь, 1919 год. Сейчас здесь в Копенгагене вспоминаешь, что пришлось пережить в большевицкой России. Все это кажется кошмаром. Не верится, как мог человек все это перенести, пережить, выжить. Мы здесь далеко от этих ужасов, но мучит мысль о том — а как же те близкие, родные и все другие, кто еще под властью большевиков? Мы ушли, а они остались. Захлопнулись кладбищенские ворота, мы за оградой...

Татьяна Алексинская

ТУРГЕНЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА*

Историю Тургеневской библиотеки надо будет составлять по ее архивам и протоколам; тут я даю только некоторые характеристики, привожу некоторые факты, пишу главным образом о том, что ни в каких архивах и протоколах не отмечается. Но может быть среди моих воспоминаний историк библиотеки найдет кое-что интересное.

Я знаю библиотеку с 1900-го года, когда она находилась на рю де ля Гласьер. Вечером, иногда я ходила туда (библио-

---

* Мы с удовольствием печатаем воспоминания Л. В. Шейнис-Чеховой о Тургеневской библиотеке, долголетним работником которой она состояла. Все русские парижане, приходившие в Тургеневскую библиотеку, очень хорошо знали Л. В. Напомним, что «Тургеневка», это самое большое русское книгохранилище заграницей, было основано в 1875 году И. С. Тургеневым. Первое литературно-музыкальное утро в пользу создания этой библиотеки было устроено в том же году при участии И. С. Тургенева, Глеба Успенского, Полины Виардо, поэта Курочкина. Тургенев пожертвовал библиотеке свои книги с своими пометками на полях. С тех пор и до 1940 года существовал этот русский культурный центр в Париже. В 1940 году, вошедшие в Париж гитлеровцы, в первые же дни занятия Парижа вывезли всю библиотеку в Германию, где все богатство книг, частных архивов, рукописей и пр. было брошено на железнодорожных путях и погибло при бомбардировках. В последний момент перед увозом библиотеки в Германию, ее тогдашний председатель правления проф. Д. М. Одинец обратился в советское посольство в Париже с просьбой спасти это драгоценное русское книгохранилище, снесясь с немецкими властями, с которыми советское правительство тогда было в «дружбе, спаянной кровью». Но представители советского посольства не пошевелили даже пальцем. Так погибла, существовавшая 65 лет знаменитая Тургеневская библиотека. Но усилиями группы русских эмигрантов в Париже и многими жертвователями книг, Тургеневская библиотека за годы прошедшие с окончания войны, опять восстановлена. В ней сейчас уже несколько десятков тысяч книг и она снова обслуживает русских в Париже. РЕД.

тека, кажется, только и была открыта по вечерам); дом и вход производили впечатление трущобы, подыматься надо было по вонючей, плохо освещенной лестнице в глубине двора. За небольшой передней шел читальный зал, затем комната, где выдавались книги. Библиотекарь — небольшого роста, хмурый, больной и раздражительный.

В том же или в следующем году было созвано общее собрание членов библиотеки (среди них были Аитов, Гольштейны мать и дочь и другие старые эмигранты). Собрание состоялось в небольшом кафэ на рю Данфер-Рошеро, где теперь магазин печей. На этом собрании обсуждалась реорганизация библиотеки.

Затем библиотека переехала на рю Сен-Жак, в квартиру, в которой прежде жил Лавров. В день похорон Лаврова весь большой двор, отделявший улицу от его квартиры, был завален венками, а процессия была так длинна, что когда начало ее было уже на Бульвар Монпарнасс, конец был еще на рю Сен-Жак, около его дома.

На рю Сен-Жак постоянного, платного библиотекаря уже не было. Обслуживали библиотеку члены Правления и добровольные помощники. У каждого библиотекаря и его помощника был свой определенный день. Я приходила помогать, когда дежурил Шейнис или когда кто-нибудь из дежуривших или помощников не мог придти и просил меня заменить его. Чаще всего приходилось заменять Эфрона. Курьезно было встречать этого приземистого человека на улице: у него всегда карманы были до отказа набиты торчащими из них газетами.

Вход в библиотеку был в глубине двора, узкая деревянная лестница вела на второй этаж, где по одну сторону ее был читальный зал, довольно большой, по другую — две маленькие комнаты сплошь заставленные книгами, которые тут и выдавались. Несмотря на беспорядок, здесь было светло, симпатично и уютно; из окон был виден сад при доме 9, рю дю Валь-де-Грас, в котором позднее библиотека помещалась с 1914 по 1937 год. В этом помещении уже появилась та самая конторка, при которой библиотекари выдавали книги в течение более 20-ти лет, до переезда библиотеки на рю де ля Бюшери.

У работавших в библиотеке было много рвения, и посетители стали веселее. В 1900 году была устроена первая елка в Палэ Руаяль, в пользу библиотеки. Как тогда все было дешево

и как все веселились! Дети оставались до 6-ти часов, а потом-то и началось самое веселье, мы все были молоды, танцевали с увлечением.

Библиотека разросталась, ей стало тесно в прежнем помещении и ее перевели в другую квартиру в том же доме. Вход был под воротами, окна выходили на улицу и на двор. В этот период я в библиотеке почти совсем не бывала, но Шейнис был председателем Правления, и я знала, что дела библиотеки идут неплохо. Это был даже один из активных периодов в жизни библиотеки. Устраивались лекции, концерты. Как только приезжал в Париж какой-нибудь выдающийся артист или писатель из России, к нему спешили с просьбой выступить в пользу библиотеки. Приезжавшие тогда из России или жившие в Париже русские артисты были состоятельны и охотно выступали бесплатно в пользу библиотеки. Так, выступали братья Кедровы и многие другие. Сологуб читал в кафэ на Пляс де л'Одеон.

Материальное положение библиотеки улучшилось, и она обслуживалась уже не добровольным трудом, а платным. Библиотекарем был Н. А. Сазонов (Пальчевский). Он любил библиотеку, труда своего для нее не жалел, готов был проводить в ней целые дни в пыли за работой, бегал всюду по делам библиотеки и делал все это очень охотно. Так же вел он себя, когда был членом Правления и работал бесплатно. Всегда ли он поступал правильно — это уже другой вопрос. Чем больше он работал, по сравнению с другими членами Правления, тем больше, как бы чувствуя себя хозяином библиотеки, он брал на себя инициативу, не интересуясь мнением других членов Правления. Это была с его стороны, конечно, крупная ошибка.

Если Сазонов относился любовно к библиотеке, то нельзя сказать того же об его отношении к читателям. Когда я и М. П. Котляревская стали библиотекарями, он нас учил (только учение это в прок не пошло): «Как войдет подписчик, так вы и следите сейчас, что это за стрелок — книгу ли он хочет украсть, за чтение ли не уплатить или скрыть штраф. И прицеливайтесь в него как во врага, в каждом подписчике вы должны видеть врага библиотеки». Он сам видел друзей библиотеки только в тех людях, которые приносили какую-нибудь материальную пользу библиотеке. Зато, думаю, что и подписчики библиотеки его не очень долюбливали. Одна подписчица спросила нас как-то после первой мировой войны: «Что сталось с

прежним библиотекарем, неужели этого толстого чорта на войне не убили?» Сазонов был эмигрант, бывший революционер, а держал себя как генерал, говорил генеральским тоном (особенно перед публикой), выпятив живот и откинув голову. Я никогда не могла хорошенько разобрать, разыгрывает ли он генерала или эта манера держаться ему присуща.

Когда в 1914 году Н. А. Сазонов ушел волонтером на войну, его заменила Ольга Ивановна Каптерева. Библиотека открывалась только на два часа в день, этого времени было достаточно, так как читателей было немного. Ол. Ив., считая себя только временным библиотекарем, приходила для выдачи книг и подсчета ничтожных доходов и расходов; внутренней библиотечной работой — каталогами — она не занималась.

В этот период М. П. Котляревская и я были очень заняты в Обществах помощи русским волонтерам. Раза два-три Шейнис просил меня пойти в библиотеку помочь поставить на полки накопившиеся неприбранными книги, но это было вне часов открытия библиотеки. Потом муж предложил мне заняться детским отделом, составить инвентарь и на карточках каталога отмечать для какого возраста годится книга и заслуживает ли она рекомендации. Тут я начала довольно регулярно посещать библиотеку для этой работы. Это был совершенно новый отдел в библиотеке. Незадолго перед войной 1914 года, Правление, решив создать детский отдел, собирало специальные пожертвования на этот отдел и обратилось в русские книжные магазины и издательства в России с просьбой прислать книги. Результаты получились прекрасные, и сразу образовался крупный отдел детских книг.

После революции, когда О. И. Каптерева, как и многие другие русские, решила уехать в Россию, Правление библиотеки предложило мне и М. П. Котляревской взять на себя должность библиотекарей, с жалованием каждой 250 франков в месяц. Мария Петровна была перед тем членом Правления; приняв должность библиотекаря, она должна была выйти из Правления, но на собрании, на которое мы были приглашены, чтобы дать свое согласие, председатель Правления (Л. И. Шейнис) сказал нам: «Вы будете такими же членами Правления, как и мы, разница будет только в том, что решающего голоса вы не можете иметь, так как вы на жаловании». Несколько дней спустя, покидая Париж из-за военной службы, он сказал мне уже дома:

«Об одном попрошу тебя, милая, не оставляй библиотеку ни в каком случае, и даже если тебе ничего не будут платить». Я, конечно, обещала ему. Он завещал мне свое любимое детище, и я этого никогда не забыла бы.

Мы приняли библиотеку из-за войны в совершенно особых условиях. Все те, кто занимался библиотекой и хорошо ее знал, ушли волонтерами на войну. Нам сказали: «Вот так-то записывайте, что получаете и что выдаете» — и больше никаких инструкций не было дано.

Председатель правления Л. И. Шейнис служил в военных госпиталях в Альби, в Кастр, в Монпелье, в Майи (где были русские солдаты), был отправлен с военной миссией пропаганды в Петроград, где оставался до прихода большевиков; потом был послан с экономической миссией во Владивосток (поехал через Америку), откуда вернулся только через несколько месяцев по окончании войны, объехав всю Азию.

Один очень деятельный член правления Тургеневской библиотеки, Золотарев, поступивший волонтером на войну, был убит в первый же год войны. Председателя замещал во время войны Кервели, который никогда не бывал в библиотеке, казначеем был Д. А. Аитов; он заглядывал в библиотеку раз в месяц, чтобы вернуть мне мой месячный денежный отчет. Книжным делом он никогда не интересовался. Когда подымали вопрос о том, как разгрузить библиотеку, где еще найти место для книг, он предложил очень простое средство: «уничтожить все старые журналы». Богатство, которым мы так дорожили!

Из членов Правления, оставшихся в то время в Париже, были художник Лебедев и Михайлов. Первый во внутренние дела библиотеки никогда не вмешивался и ими не интересовался; второй приходил только на собрания и то очень редко. Он сам о себе говорил: «Я дурак, я в книге и в библиотеке ничего не понимаю, но если надо похлопотать и раздобыть где-нибудь деньги для библиотеки, то я могу помочь». Потом Михайлов перешел к большевикам и по собственной инициативе вышел из Правления (беспартийного) библиотеки.

Секретаря в Правлении в то время у нас не было. Для помощи библиотеке был составлен дамский комитет; в нем участвовали Дюбуше (жена американца, хирурга американского госпиталя), Клейман и Плеханова-Бато. Прежде они никогда не бывали в библиотеке, не знали ее и, конечно, не могли нам

давать никаких указаний. Они приходили на собрания, выслушивали то, о чем им докладывали библиотекари и по возможности исполняли то, о чем библиотекари их просили.

Одним словом, получилось, что фактически библиотека была сдана на наши руки и нам самим надо было во всем разбираться и проявлять собственную инициативу. Мы стали разбираться в книгах и открывать, что для одного отдела нет каталога, для другого нет инвентаря и т. п. Мы засели за работу, но как люди неопытные, многое делали не так, как следует, и позднее нам приходилось об этом сожалеть.

Роясь в книгах на полках и по шкафам, я нашла редкие книги в сыром шкафу, где они начали уже подгнивать. Библиотека только за несколько месяцев до войны 1914 года переехала на новую квартиру (9, рю Валь-де-Грас), и тот, кто уложил летом редкие книги в стенной шкаф, не подозревал какая участь ожидает тут эти книги зимой.

Еще большим сюрпризом была для меня другая находка. Прибирая библиотеку, мне понадобилось снести что-то в погреб; я спустилась туда и каково было мое удивление, когда я нашла там стул, стол, груду книг на иностранных языках, главным образом, немецких и множество писем с немецкими марками; некоторые немецкие письма валялись на столе или на полу без конвертов. Письма на немецком языке в подвале русской библиотеки и это в самый разгар войны с немцами, в то время, когда французы всюду подозревали шпионов! Я осторожно спросила консьержку, не знает ли она кому принадлежат вещи в погребе. Она мне сказала, что они принадлежат, очевидно, господину, который приходит два раза в неделю и у которого есть ключ от погреба. Удивление мое было велико! Я решила пойти в погреб в тот день, когда приходит этот таинственный господин. Вся эта история казалась мне невероятной. Спускаюсь, дверь от погреба не заперта, темно, в глубине при слабом свете свечи, склонившись над книгой, сидит какой-то пожилой еврей. Оказалось, что это букинист Ривлин и разрешение на жительство в нашем погребе дал ему Н. А. Пальчевский (Сазонов). Ни председатель Правления, ни Аитов и никто другой из членов Правления об этом ничего не знали. Когда на собрании Правления я доложила о Ривлине, Правление поручило мне сказать ему, чтобы он очистил погреб, который к тому же был нужен нам самим. Но выставить Ривлина было

не так-то легко. Сначала он заявил, что ему некуда переезжать, и он не уедет. После повторных требований и настаивания он решился, наконец, увести свое имущество и с тех пор возненавидел меня и Марию Петровну. Позднее он не раз приходил в библиотеку для обмена книг на наши мюльтипликаты. Обмен, который он предлагал, был всегда выгоден для него, но не выгоден для нас. Когда он входил в библиотеку, он не только не здоровался со мной и с Марией Петровной, но даже не смотрел на нас, не отвечал на вопросы. Самое большее, что ему случалось нам говорить это: «Тут ли Пальчевский?» или «Есть ли кто-нибудь из Правления?»

Во время войны библиотека была открыта для публики только два часа в день, но мы приходили на четыре часа. До открытия работали над уборкой библиотеки, над инвентарями и каталогами. Новых книг не покупалось, да, вероятно, и не выходило из-за войны; журналы и газеты еще выходили, но постепенно и их мы перестали получать, дольше всех получался «Вестник Европы».

Переплетали очень мало. Старый еврей-переплетчик работал отвратительно, а когда я упрекала его за это и указывала ему на недостатки, вместо того, чтобы признать их, он плакался и говорил: «Это все госпожа Котляревская не любит меня и преследует за то, что я еврей, я это понимаю».

Читателей приходило мало — человек 8 в день. Было много времени для разговоров; долго простаивали у конторки, разговаривая на политические темы: Алексинский и Волонтер-Павлович (последний был позднее одним из участников заключения Брест-Литовского мира) и др. Дамы говорили о своих домашних и семейных делах. Потом стали приходить приезжавшие с фронта русские волонтеры. Мария Петровна и я обе состояли в Обществах помощи русским волонтерам. Этих Обществ было два. Мария Петровна была членом того, в котором участвовали С. Иванов, В. Гоц, Дюбуше. Благодаря этой последней, Общество получало большие субсидии от американцев и могло широко развивать свою деятельность. Наше Общество, председательницей которого была г-жа Эрнест Лафон, напротив, с трудом собирало деньги, но так или иначе, у нас тоже был большой круг волонтеров, которым мы оказывали, по возможности, материальную и моральную поддержку. Я вела с ними

очень активную переписку. Приезжая в отпуск, наши солдаты приходили к нам на дом и в библиотеку.

Когда прибыли во Францию русские войска, надо было подумать о них. Председатель Правления, Л. И. Шейнис, который в это время временно находился в Париже, обратился к американцам с просьбой содействовать библиотеке, чтобы обслуживать солдат книгами, уплачивая за право чтения и стоимость почтовых посылок, на что те очень охотно согласились. С солдат мы спрашивали только 5 франков залога, рассчитывая, что благодаря залогу, они будут бережнее относиться к книгам. Желающих читать нашлось немало. Каждый день мы таскали на почту кипы книг. Началась, конечно, и переписка с этими солдатами. Нашу переписку с русскими волонтерами и с русскими солдатами, по окончании войны мы передали в Военный музей в Венсен. Интересны были главным образом письма волонтеров. Письма русских солдат скорее курьезны, как образцы их некультурности. Один из них, например, пишет, что он не может прислать деньги, потому что он «новопредставленный». Другой, который часто писал мне о своей жизни и о своих делах, сообщил мне однажды, что он сделал предложение дочери своего хозяина (это было уже после революции), а она... согласилась! «Как же теперь быть?» — спрашивал он. — «Ведь она француженка, а я русский. Не везет. Не могу же я на ней жениться. Мне всегда не везет».

Мы посылали солдатам главным образом общеобразовательные книги, Рубакинские издания для народа и т. д.

Каждый месяц я отвозила в Американское Общество подробный отчет, отпечатанный на машинке. Суммы, которые я закругляла на сантимы или на франк, получались, в сущности, очень ничтожные. Мы не считались с тем, что книги, при пересылке и в руках непривычных их держать и не всегда чистых, очень изнашиваются. Однажды, когда я принесла свой обычный отчет, в Американском Обществе мне округлили его на несколько десятков франков и сказали, что в виду нашей полезной деятельности, они увеличивают свою субсидию.

Для русских авиаторов, приехавших из России, библиотека была чем-то вроде клуба, они тут встречались, беседовали с нами и между собой. Они получали высокие оклады, сорили деньгами, приходили одетые с иголочки, принося с собой запах

духов, фрукты, конфеты. Среди авиаторов у нас был «крестник», типичный русский парень, славный малый Коля Добрынин. Позднее он стал активным большевиком, потом заболел туберкулезом, уехал в Россию и, протянув еще несколько месяцев, умер там.

Материальное положение библиотеки во время войны и в первое пореволюционное время было очень печально, хотя экономию мы соблюдали самую строгую; всякие мелочи — веревки для пакетов, мыло, карандаши и т. д., приносили из дома, чтобы не тратить лишнего гроша из библиотечных сумм. Переплетали очень мало, да и то больше старые книги, новых не было.

Мы продавали, с согласия Правления, немало мюльтипликатов в книжный магазин Поволоцкого и для солдатской библиотеки. После ликвидации пребывания русских солдат во Франции, из их библиотеки вернулся к нам ящик с книгами. Большинство книг были в печальном виде, чистенькие были только многочисленные Евангелия, молитвенники и другие книги духовного содержания.

Надо было позаботиться раздобыть средства для библиотеки: в течение двух месяцев я уже не получала жалованья, потому что денег не было. Мы решили открыть подписной лист, а на Рождество устроить елку. Художник И. Лебедев, состоявший членом Правления, нарисовал лист, с которым мы ходили ко всем более или менее состоятельным людям русской колонии, в которой уже не было разделения на «правый» и «левый» берег Сены. Давали нам больше или меньше, но отказа мы нигде не получали. В библиотечном архиве сохранился этот лист с подписями людей совершенно различных направлений — и тех, кто уже не мог вернуться в революционную Россию, и тех, кто являлся теперь ее представителями.

Правление библиотеки обратилось к русскому консульству в эпоху Временного Правительства, получило от него 1½ тысячи франков и обещание взять библиотеку под покровительство Академии Наук и присылать ей регулярно субсидию. Но в России все перевернулось раньше, чем мы начали получать эту субсидию.

Правление обратилось также за помощью к брильянтщику Леонарду Розенталю, который обыкновенно щедро отзывался на нужды русской колонии и хорошо оплачивал пригласитель-

ные билеты. Было известно, что Розенталь не любит, чтобы у него просили деньги на ветер, не давая точных сведений о нуждах и о том, на что они пойдут. Поэтому Правление составило подробный бюджет, из которого вытекало, что библиотеке не хватает в конце года 5-ти тысяч. Розенталь пришел в библиотеку, с интересом осмотрел ее, взял для прочтения два тома «Вестника Европы» (которые потом никогда не вернул), дал 5 тысяч и сказал, что если ему будут представлять такого же рода отчеты о состоянии библиотеки, он будет помогать ей. Но потом, забыло ли Правление это обещание, или некому и некогда было составлять бюджет, только больше за помощью к Розенталю не обращались, а позднее и нельзя было этого сделать, так как у брильянтщиков дела пошли плохо и Розенталь якобы «разорился».

На Рождество мы устроили елку на рю Дантон, в большой зале здания Сосьетэ Савант. Никаких елок тогда в русской колонии не устраивалось, это была единственная и она имела в колонии громадный успех. Всех заинтересовало это предприятие — первый праздник по окончании войны. Маклакова прислала пожертвования. Савинков, игравший тогда в колонии важную роль, пришел на елку с женой и сыном. Позднее их сын участвовал в детском спектакле на другой елке и долгое время состоял подписчиком библиотеки. На елке было очень оживленно и весело, публика осталась очень довольна, не подозревая всех огорчений неопытной устроительницы.

При входе в зал, как и на следующих елках Тургеневской библиотеки, дети вытягивали билетики с номерами, по которым они потом получали подарки.

Повторяю, вся публика и вся детвора остались очень довольны елкой, она вошла в традицию библиотеки, принесла ей небольшой доход и большую рекламу.

На елку Тургеневской библиотеки стали приходить русские со всех концов Парижа. Надо сказать, что до русской революции, библиотека была учреждением исключительно «левобережным». Жители правого берега Сены часто даже не знали о ее существовании. Приезжавшим в Париж русским, в русском консульстве, на вопрос «есть ли в Париже русская библиотека?» отвечали, что таковой нет; хотя там прекрасно знали о ее существовании, считали ее зловредным учреждением русских революционеров. Характерно восклицание русского священни-

ка: «двадцать лет живу в Париже и не знал, что тут есть русская библиотека!»

Когда, после русской революции, волна новой русской эмиграции докатилась до Парижа, число подписчиков библиотеки стало быстро возрастать. В день приходило в библиотеку в среднем больше 60-ти человек. Иногда хвост, стоявший перед конторкой, где выдавались книги, кончался на улице. Однажды, после того, как библиотека была закрыта три дня, пришло 170 человек. Надо было навостриться работать очень скоро, приходить значительно раньше, часто брать работу, чтобы заканчивать дома. Материальное положение библиотеки очень улучшилось...

В этот период, более чем когда-либо, библиотека проявила себя как вполне аполитичное учреждение. Люди всех направлений находили в библиотеке одинаково любезный прием. Но надо сказать, что к сожалению, не все они вели себя одинаково корректно...

С подписчиками у нас всегда были прекрасные отношения. Нас можно было упрекнуть за то, что мы теряем время в разговорах с ними, но упрек этот, в сущности, несправедлив: потерянное время мы нагоняли. Мария Петровна приходила в библиотеку раньше положенного времени, я уносила работу на дом. Благодаря тому, что у нас были не официальные, а сердечные отношения с подписчиками, мы прекрасно знали их, часто знали семейное и материальное положение, знали их нравы и вкусы, кто чем способен заинтересоваться, кому какую книгу подкинуть или рекомендовать, а кому лучше предоставить самому выбирать. Способствовало этому и необыкновенное терпение и феноменальная память Марии Петровны. Абонент подписан на одну книгу, но прежде, чем взять ее, десять раз посылает Марию Петровну к полкам достать ему то ту, то другую книгу; десять книг, а то и больше переберет пока наконец остановится на одной.

Обыкновенно подписчики очень полагались на наш вкус. «Дайте мне книгу по вашему вкусу». Иногда Мария Петровна отвечала: «Если я дам вам по своему вкусу, то вам наверное не понравится», но по вкусу подписчика она всегда находила что-нибудь.

Феноменальная память Марии Петровны сначала поражала или приводила в недоумение, потом к ней привыкали и широко

пользовались ею. Человек дает ей листок, на котором написано 12 номеров с просьбой дать один из них. Она бросает беглый взгляд на листочек и отдает его назад, говоря: «составьте другой список, тут ничего нет». Лицо подписчика выражает удивление, затем возмущение: «Как вы можете это знать, вы даже не посмотрели на полку!» Читатель думает, что ей лень посмотреть или она не в духе и ей хочется отказом доставить неприятность. «Вы не верите, говорит она, тогда посмотрите, и начинает называть книги, которым соответствуют номера. «Эта книга затеряна, эту вы уже читали в другом переводе, эти две слишком растрепаны и их отдали в переплет, все остальные в чтении». Читатель остается при некотором недоверии и недоумении, но и то, и другое, во всяком случае недоверие, исчезает через короткий срок, когда читатель убеждается, что Мария Петровна не только знает чему соответствуют все номера, и состояние всей библиотеки, но и состояние умов подписчиков; часто лучше их самих помнит, что они читали и чего еще не читали, что придется им по вкусу и что будет неинтересно.

Иногда требования были довольно курьезные. Одна очень милая и якобы интеллигентная дама пришла просить, чтобы ей дали какой-нибудь роман Островского. Ей говорим: «У него только драмы и комедии». — «Ах, нет! драм не хочу, дайте роман Островского». Она была удивлена услышав, что Островский не писал романов и бросив недоверчивый взгляд на библиотекаршу, попросила дать роман какого-нибудь другого автора. А когда ей предложили роман Чирикова, она спросила: «а это не переводный?»

Молодой человек спрашивает Белкина «История села Горюхина». Ему дают Пушкина. «Вы мне даете Пушкина, а мне надо не Пушкина, а Белкина». Ему показывают: «Посмотрите, тут именно записки Белкина». Немного удивленный он говорит: «Ах, да? это тут тоже есть, но все-таки дайте уж мне сегодня не Пушкина, а Белкина». С трудом объяснили ему, что записки Белкина писал Пушкин. Молодой человек взял томик Пушкина, но ушел с недовольным видом.

Приходит рабочий и спрашивает: «Дайте что-нибудь Макса». — «Макса? Что это за писатель? Вам нужен роман?» — «Дайте роман». Догадываюсь: «Да вы может быть хотите Маркса?» (дело было вскоре после русской революции). — «Да, да, — обрадовался рабочий, — Маркса».

Читатель просит дать ему «Фабрика-дрова», имя автора не помнит. Мария Петровна угадывает, что это «Лесозавод» Караваевой. Приходит дама и очень развязно спрашивает: «Дайте мне вторую часть». — «Вторую часть того, что вы мне возвращаете?» — «Нет!» — «Чего же вторую часть?» — «Да того, что я недавно читала, я не помню уж название». — «А какого автора?» — «Я не помню автора». — «Тогда я уже право не знаю как быть, что вам дать». — «Да там про еврея говорилось».

Конечно, книг, в которых говорилось о евреях, много, но если я могла угадать о какой книге идет речь, то только потому, что знала — этой даме нужен роман и помнила, что сама же я несколько времени тому назад рекомендовала читателям исторический роман Фейхтвангера «Еврей Зюс».

Русская офранцузившаяся дама просит подыскать ей что-нибудь «веселое из старых авторов», чтобы сделать «адаптацию для французской оперетки». Все, что ей предлагали, она отвергала и, наконец, сама остановила свой выбор на... «Горе от ума» Грибоедова. Она унесла книгу, чтобы стряпать оперетку из «Горе от ума»!

Дама, которая все время читала Вербицкую, вдруг, к нашему удивлению, спрашивает Ницше. Догадались: это она у Вербицкой вычитала. Взяла. Прочла ли? Сомнительно, вернула довольно скоро и уже больше, конечно, не спрашивала Ницше.

Подписчик обращается к библиотекарше: «Дайте мне, пожалуйста, «Обрыв» Обломова». Другой просит «Чертов хвост» Алданова (вместо «Чертов мост»). Третий подает записку с требованием дать ему Горького «Матвейка Жемякин» (Матвей Кожемякин). Вместо «Тихий Дон» Шолохова, часто спрашивали «Тихий Дом».

Прочитав «Воскресение» Толстого, его «Детство, отрочество и юность», а также Достоевского «Преступление и наказание», читатели очень часто спрашивали продолжение.

Полное собрание сочинений Ленина стоило очень дорого и потому, чтобы предохранить эти книги от утери отдельных томов, решено было при выдаче их спрашивать дополнительный залог в 100 фр. Один из наших читателей заподозрил, что мы это делаем с целью препятствовать чтению этих книг. Вообще дополнительные залоги производили сильное впечатление на некоторых рабочих. Один из них в своем выборе книг однажды

случайно напал на книгу с дополнительным залогом в 100 фр. и с тех пор он только и читал книги с дополнительным залогом. Так и говорил: «У меня тут лежит дополнительный залог в 100 фр., дайте мне книгу с дополнительным залогом». — «А из какого отдела? По беллетристике, по истории, по искусству?» — «Все равно из какого отдела».

Был у нас подписчиком один молодой военный; должно быть в русской армии считался хорошим офицером, выправка прекрасная, голос громкий, голову держит высоко, смотрит вам прямо в глаза своими широко открытыми голубыми глазами, в которых светится наивная и радостная самоуверенность и даже самолюбование. Читал он много, всегда по беллетристике, менял книги часто. Намерение у него было прочесть все книги и, чтобы не пропустить ни одной, он читал по порядку номеров: 1, 2, 3, 4 и т. д. Случалось ему поэтому иногда читать, например, третью часть «Войны и мира» раньше первой или второй, перечитывать уже прочитанное сочинение в другом издании; но его ничто не смущало. Когда появился печатный каталог по беллетристике, то этот любитель чтения, конечно, его купил! И вдруг, к нашему удивлению, он начинает спрашивать книги не в порядке номеров. Мы подумали: наконец-то человек образумился! Но... он просто стал спрашивать книги в том порядке, как книги напечатаны в каталоге, т.-е. всех авторов на букву А и т. д.

Почему-то этот подписчик имел особую симпатию ко мне. Однажды, несколько времени он не приходил, потом явился в марте или апреле, но был серый дождливый отвратительный день. М... вошел сияющий и преподнес мне букетик фиалок, говоря: «Вот первый весенний вестник!» После этого Мария Петровна не мало подтрунивала надо мной. Он долго состоял подписчиком, потом получил работу и выписался. Год или два спустя он пришел в библиотеку и дал для меня Марии Петровне (меня в это время не было в библиотеке) брошюру в 4 листика, 7 страничек:

Николай Моллериус.

Духовной сестре моей Амине Ханум.

БЕЖЕНКА.

Поэма.

1935 г.

На первой странице: «Беженка у ног учителя. Поэма посвящается русской женщине 1935 года». Все это смешно, но

по-детски трогательно и мне жаль, что у меня не было адреса и я не могла его поблагодарить.

Это все смехотворные случаи, но бывали и иные. Простой рабочий, мусульманин, татарин из Казани, где он учился в русской школе, подписался в библиотеку и взял Коран. Он долго задерживал книгу, и я ему написала, что ее надо вернуть, так как другой подписчик ее спрашивает. Он принес книгу, но ему очень не хотелось с ней расставаться, спросил даже, нельзя ли ее купить. Сказал, что первый раз видит Коран на русском языке и прибавил: «но кто же его читает? разве тут есть мусульмане?» Я ему ответила, что не только магометане читают Коран, я тоже читала и мне очень нравится. Услышав это, мусульманин мой совсем растаял. Стал мне рассказывать, что у них, когда читают Коран, женщины плачут. А в переводе, по его мнению, Коран много теряет. Потом начал разговаривать, что называется «душу отводить». Жаловался на мусульман, которых видел в Африке: «какие же это мусульмане? разве могут настоящие мусульмане так жить и обманывать? нет среди них настоящих мусульман». Новую книгу спросил: «был, говорят, великий безбожник Вольтер, дайте мне что-нибудь из его сочинений». Я дала Вольтера. На следующий раз приходит, спрашивает следующий том. В читальне было мало народа и он опять разговорился, задавал разные вопросы: «что это значит беллетристика?» — «каких писателей называют классиками?» и т. п. После Вольтера он читал журнал «Мусульманин», в библиотеке есть довольно много томов этого журнала. Затем этот рабочий выписался, за неимением времени для чтения.

Библиотека была не только местом, где выдаются книги, она была в то же время русским уголком, куда можно было придти посоветоваться, навести справку, поделиться своей радостью или горем. Однажды явился в библиотеку молодой человек, говорит, что он студент из Берлина, только что приехал в Париж, никого и ничего тут не знает, но ему в Берлине дали адрес библиотеки и сказали: «не беспокойтесь, как приедете в Париж, идите сейчас же прямо в Тургеневскую библиотеку, там вам все расскажут, все нужные сведения дадут». Мы были польщены такой популярностью и довольны тем, что как раз были в состоянии дать ему все нужные справки.

В отношениях с некоторыми подписчиками бывали и трения, но обыкновенно они потом улаживались. Так, например,

очень неприятным нахальным подписчиком был Н... Он приносил в подарок библиотеке ненужные ему книги о фашизме, на итальянском языке, или немецкие книги и на этом основании требовал себе льготный абонемент и всякие привилегии, как-то получать новинки, задерживать их у себя дольше положенного срока, не платить штраф и т. п. Он возмущался всеми правилами и постановлениями библиотеки и приводил нам в пример немецкую библиотеку в Париже, где ему без всякого залога и без всяких ограничений давали сколько угодно книг.

Подписался он в мое отсутствие; первый раз, когда он пришел при мне, у нас произошло маленькое столкновение именно по поводу разных льгот, которые он сам себе брал. При этом столкновении он выказал грубость, возмутившую даже всех стоявших рядом подписчиков. Я дала ему спокойный отпор, и на следующий раз он уже заговорил совсем другим тоном, он старался даже насколько мог быть любезным. Я своего отношения к нему не изменила — с нахалом лучше как можно меньше разговаривать.

Иначе обстояло дело с генералом Х... Этот генерал, придя в библиотеку, взглянул должно быть на нее и на нас — библиотекарей в передниках, очень сверху вниз. Мария Петровна была с ним в высшей степени любезна и усердно подыскивала книги для его работы. Ему нужна была дактиклографистка, она предложила свои услуги. Она переписала ему несколько листов. Когда он принес продолжение для переписки, он указал на некоторые пустяшные недостатки в первых листах переписки. Замечания были сделаны сухо, резко, с таким пренебрежением, как может говорить только очень важное лицо со своей малограмотной машинисткой. Меня это возмутило, тем более, что Мария Петровна, по своей доброте, не обратила внимания на это обращение с ней. Грубости он никакой не сказал, только манера говорить была крайне неприятная, и я ощетинилась и стала с ним преувеличенно холодна. Когда Мария Петровна просила меня разыскать для него какой-нибудь журнал (этот отдел я приводила в порядок и знала лучше ее), я не торопилась и ген. Х... приходилось ждать. Другой раз ему понадобился журнал «Солдат-гражданин»* (Х... писал работу о русских солдатах во Франции); я не сразу согласилась его дать, так как журнал

* Следует читать: «Русский солдат-гражданин во Франции».

был не переплетен и, помучив немного ген. X... своими колебаниями, дала ему, наконец, журнал, делая это как услугу, с напоминаниями не затерять номер, вернуть во время и т. п. Очень скоро он понял, что нуждается в нас больше, чем мы в нем, лед растаял, и у нас установились с ним очень милые, дружественные отношения.

Нам всегда хотелось идти навстречу желаниям подписчиков и для нас самих было огорчением, если подписчик уходил неудовлетворенный, не найдя того, что искал, а тем более, если он искал книгу, документ, цитату или рисунок не для развлечения, а для работы. Мария Петровна в таких случаях не жалела времени, с увлечением углублялась в розыски и благодаря своей памяти, умению быстро просматривать книгу и какой-то интуиции, находила все, что требовалось.

Многие авторы, выпуская книгу, выражали свою благодарность библиотеке печатно. Когда авторы жертвовали свои книги библиотеке, мы всегда просили сделать надпись, и они писали: «Тургеневской библиотеке от автора» или что-нибудь подобное. Но Газданова мы не могли уговорить надписать принесенную им его книгу «Вечер у Клэр». Он отказывался, говоря, что он «не Тургенев». А неделю спустя мы получили по почте книгу Зданевича «Восхищение», написанную не «заумным», а понятным языком, и на книге надпись: «Тургеневской библиотеке от нового Тургенева».

Среди наших подписчиков были такие, к которым мы всегда относились с особой симпатией и вниманием; это — дети и молодежь. Приходится говорить в прошлом, потому что то поколение, о котором я пишу, выросло, а следующее в большей части офранцузилось и редко тревожит отдел детских книг. После нашей первой елки в 1918-ом году, у нас получился довольно большой круг знакомых детей, подростков и молодежи, и нам пришло в голову составить из них отряд помощников для приведения в порядок газет и для других мелких работ в библиотеке. Цель у нас была не столько материальная, сколько моральная: хотелось приблизить всю эту молодежь к библиотеке, к книгам, заставить заинтересоваться ими, полюбить их. Все, что предпринималось в библиотеке в этом направлении, исходило всегда от нас — библиотекарей. Правление давало только разрешение.

Наш «отряд помощников библиотеки» состоял из 8-ми че-

ловек; приходили они по четвергам попарно, таким образом каждому приходилось дежурить только раз в месяц. Не скажу, чтобы они оказали нам большую помощь, но атмосфера была приятная. Младшие были активнее старших, последние больше болтали или рассматривали книги. Вспоминается мне Волик Щупак: разбираться в газетах и складывать их ему приходилось на полу в неудобном положении, в особенности для мальчика с плохим зрением. Но его усердие всегда трогало меня, его приходилось уговаривать бросить наконец работу и не утомляться. Очень охотно и хорошо работала всегда Раиса Шапуль. Она осталась верна библиотеке и позднее. Когда у нее бывало свободное время и если библиотека нуждалась в работнице, Раиса всегда охотно исполняла хотя бы и самую скучную и грязную работу. Она делала это в 1919-ом году и точно так же двадцать лет спустя, когда библиотека уже находилась на рю де ля Бюшери.

То-же желание приблизить подростающее поколение к библиотеке побудило нас устроить детские четверги. Для абонентов библиотека открывалась в 4 часа. До 4-х мы располагали свободным временем, надо было только приходить не к 3-м, а к 2-м часам.

Ежегодным прибыльным предприятием мы выбрали елку, где опять наши мысли и заботы были обращены к детям и к молодежи. На всех первых елках дети принимали активное участие, то-есть они танцевали, пели, участвовали в спектаклях. Присутствовавшая на елках публика не могла себе и представить, какое сложное дело представляло собой устройство этих спектаклей, и всего этого праздника. Когда дети играли на сцене, мы имели дело не только с ними, но еще и с их родителями. Прихожу я раз за кулисы и вижу: лежит дама на диване и рыдает. В чем дело? Она хотела, чтобы ее дочку выпустили танцевать первым номером после спектакля, а мы выпустили раньше другую, маленькую танцовщицу.

Другой раз мы распределяли роли детям в спектакле. Котляревскому, так как он высокого роста и не робкий, дали роль короля. Но г-жа А..., сын которой, крупный и толстый мальчик, с довольно неясным говором, тоже должен был участвовать в спектакле, заявила, что если ее сыну не дадут самую подходящую ему роль — роль короля, то она не хочет, чтобы он участвовал в спектакле. Котляревский, конечно, сейчас же уступил

свою роль. Но когда его мать дома рассказала об этом, то няня устроила ей сцену, плакала и упрекала ее, так как по ее мнению, «роль короля, конечно, должен был играть сын библиотекарши».

Несколько лет подряд у нас на елках участвовала школа танцев Нестеровской. Она ставила всегда очень хороший, большой разнообразный балет, у нее было много богатых учениц и костюмы были прекрасные. Среди родных своих учениц она продавала много билетов. Я оставалась всегда очень довольна балетами Нестеровской...

Елки вообще брали у меня массу времени и в декабре М. П. Котляревской приходилось работать в библиотеке за двух. Мне надо было то ехать разыскивать подходящий зал, то нанимать его, то присутствовать на репетициях, перед детскими спектаклями часто самой репетировать с детьми, покупать подарки и украшенья к елке, заказывать елку, заниматься всеми мелочами, нужными для балета или спектакля, смотреть, чтобы ковер на сцене был хорошо выметен и т. п.

Я еще ничего не говорила о Правлении библиотеки. Перевыборы его первоначально, по Уставу, должны были происходить ежегодно. Каждый читатель, состоявший платным абонентом в течение 6-ти месяцев, становился членом О-ва Тургеневской Библиотеки и получал право приходить на общее собрание и выбирать членов Правления.

После русской революции было решено (и изменение введено в Устав общим собранием), что перевыборы Правления и ревизионной комиссии будут происходить только каждые три года. Это нововведение было сделано главным образом по настоянию соц.-револ. С. А. Иванова (бывшего шлиссельбуржца).

Надо сказать, что на эти общие собрания приходило всегда очень мало подписчиков. Мы уговаривали их приходить; нам отвечали: «может быть приду», «постараюсь придти» — это уже значило, что наверное не придут. Другие, более откровенные, говорили: «зачем же мне приходить? я всем доволен, пусть идет все попрежнему». А как идут дела библиотеки, как справляется она со своим бюджетом, как работали Правление и библиотекари, в чем нуждается библиотека, все это совершенно не интересовало членов Общества, они интересовались только той книжкой, которую уносили из библиотеки.

Перед общим собранием рассылалось больше 200 пригла-

сительных повесток членам Общества, а приходило 6-10 человек. Присутствовали на собрании и выбирали новое Правление 10 абонентов, 10 членов Правления, 3 члена ревизионной комиссии и 2 библиотекаря. Понятно, что варились постоянно в собственном соку. На собрании полагалось выбирать 6-8 человек в Правление и 3-х в ревизионную комиссию. Приходившие на собрание подписчики, были мало осведомлены о деятельности Правления и спрашивали совета у предыдущих членов Правления или у библиотекарей, за кого голосовать. Им указывали наиболее активных членов, а после выборов, Правление само кооптировало двух-трех человек, большею частью из прежнего Правления.

С. Г. Сватиков обратил на себя наше внимание поразительным знанием книг, в особенности по истории и общественным наукам. Нетрудно было также увидеть, как он любил книгу. Он быстро ознакомился с каталогами и с книгами библиотеки и сумел оценить это редкое книгохранилище. Когда мы или кто-нибудь из читателей обращался к нему за библиографической справкой, он очень охотно давал ее и помогал делать розыски.

На общем собрании он прошел в Правление большинством голосов, а затем в скором времени Правление просило его взять на себя должность секретаря и поручало ему покупку книг. Это было в ту эпоху, когда, после октябрьской революции 17-го года, в Париж нахлынула новая эмиграция. Число подписчиков ни раньше, ни позже не было так велико, как в этот период. Позднее в Париже появились в разных кварталах другие маленькие библиотечки, книгоноши носили книги на дом, но в тот период наша библиотека была единственная. Из самых отдаленных от библиотеки кварталов читатели приезжали к нам. Благодаря огромному наплыву абонентов, материальное положение библиотеки было превосходное. Книг С. Г. Сватиков покупал на тысячу, а то и на полторы или на две тысячи в месяц... Как историк, он пополнял главным образом исторический отдел, но покупал также, по возможности все, что только выходило тогда на русском языке. Сватикова интересовала интеллектуальная сторона библиотеки, Пальчевского — материальная сторона. Сватиков давал нам не раз полезные советы при составлении каталогов и инвентарей, указывал редкие, ценные книги, которые не надо было выпускать из библиотеки или вы-

давать только под большой залог и т. д. Пальчевский проявлял большую активность и энергию, когда дело шло о материальных нуждах библиотеки: обмен книг, отопление, освещение, приискание средств и т. п. Если надо было приводить в порядок журналы и газеты, переставлять отдел (за неимением места) и менять его нумеровку, Пальчевский охотно принимался за такую работу, не жалея ни сил, ни времени, проводил иногда целые дни в невероятной пыли. Книжным имуществом, к сожалению, он распоряжался довольно бесцеремонно. При случае, обменивал и продавал трипликаты или ненужные, по его мнению, книги. Делал он это в интересах библиотеки, но не справляясь с мнением Правления и не всегда удачно...

Текущей работы в библиотеке было так много, что иногда нам совершенно невозможно было справляться с чисто библиотечной работой — записыванием всех поступающих книг в инвентари и каталоги, составлением комплектов газет и журналов и т. п.

Я давно начала писать свои воспоминания о библиотеке (несколько лет после смерти моего мужа), но никогда никому их не читала, кроме М. П. Котляревской; но М. А. Осоргину я дала их прочесть, у меня было какое-то исключительное доверие к нему... Между прочим, прочитав мои записки, М. А. спросил меня, почему о моем муже я не говорю в моих записках: «Вы стесняетесь?» Да, действительно, я стеснялась, тем более, что говорить могла только хорошее, а о некоторых членах Правления я отзывалась не очень одобрительно. Но Осоргин был совершенно прав: я должна для библиотеки написать о Шейнисе, что знаю и думаю.

Доктор Шейнис, Лев Исаевич (1871-1924) был председателем Правления Тургеневской библиотеки с 1900 до 1924 года. В русской колонии, и в частности в Тургеневской библиотеке, он пользовался общим уважением. Всегда деликатный, тактичный, сдержанный, он никогда никому не сказал неприятного или обидного. Собрания Правления в библиотеке проходили очень дружно и хорошо и в то же время он умел остановить во время, если кто уходил в сторону от обсуждаемого вопроса, не допускать на собраниях лишней болтовни. Не

даром его часто просили быть председателем на собраниях довоенной эмиграции, где сталкивались большевики и меньшевики в горячих, бурных спорах и разногласиях; на этих собраниях не легка была роль председателя, нужна была и энергия и голос. Шейнис никогда не принадлежал ни к какой партии и это было тоже очень желательно для председателя Правления Тургеневской библиотеки, так как это было учреждение чисто культурное и вполне аполитичное; в библиотеке не полагалось говорить о религии и о политике. Благодаря этому характеру библиотеки, ей удалось прожить так долго: 65 лет. Немцы ее увезли...

Шейнис отсутствовал из библиотеки только, когда в 1914 году был волонтером во французской армии; но об этом я уже говорила.

Тургеневская библиотека, и до войны 14-го года и после, постоянно нуждалась в материальной поддержке. Правление библиотеки приискивало средства, и Шейнис много способствовал устройству предприятий в пользу библиотеки. Его посылали просить субсидии для библиотеки, приглашать артистов русских или французских. Никогда никто ему не отказывал: он был высокий, представительный, красивый, хорошо и умело мог говорить по-русски и по-французски. Правление устраивало вечера, спектакли, концерты, лекции, на Рождество елки. Шейнис выступал сам лектором в пользу библиотеки. Так, в 1909 году он читал лекцию о «Ламброзо. Его значение в эволюции учения о преступности». В 1912 году он выступил на чествовании памяти Герцена. В 1920 году прочел три лекции 13, 20, 25 марта в Отель де Сосьете Савант на тему: «Художественное творчество и наука». Последний раз, уже после войны, он читал о своих впечатлениях по возвращении из Петербурга... Несколько раз мы ставили спектакли. В «Вьё Коломбье» поставили очень успешно «Дядю Ваню» Чехова; Шейнис играл роль Войницкого, Чеботаревская (не жена Сологуба, а сестра ее) — роль Елены Андреевны, я — роль Сони.

Л. В. Шейнис-Чехова

НА ЮГЕ КИТАЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ (1938-45)

Летом 1937 г. я жил с семьей на курорте Пейтайхо, выгодно расположенном на берегу Печилийского залива, недалеко от порта Тяньцзинь. Положение в Сев. Китае было неспокойное: японская агрессия, начавшаяся в 1931 г. в Манчжурии, постепенно приближалась к нам, и государство Манчжуго, подставная японская организация, находилась на расстоянии только одной станции от Пейтайхо. К этому как-то все привыкли, и когда 7 июля пришло известие о столкновении китайских и японских войск во время ночных маневров у городка Ванпина, в Пекинском районе, мы в Пейтайхо, т.-е. довольно далеко от места событий, особенно не беспокоились. Казалось, что этот инцидент, хотя и с ущербом для Китая, инцидентом и останется.

Но вот перестали ходить поезда, разбежалась китайская полиция и, наконец, пришли известия, что с боем был взят Тяньцзинь, а затем легко был занят Пекин. Китайские войска ушли за Великую Стену. Это было что-то новое, вызывало тревогу за будущее и я решил отправиться с семьей в Пекин и узнать что сталось с прекрасным Цсинхуаским университетом где я состоял профессором истории.[1]

Поезд, как обычно в таких случаях, шел медленно, и в пути я мог видеть следы неприятельского вторжения. Промыш-

---

[1] Национальный Цсинхуаский университет расположен около Пекина в Цин-Хуа. Он содержался за счет американской доли боксерской контрибуции, которую Америка уступила Китаю на образовательные нужды. Он был построен по типу американских университетов, имел свой «кампус» и располагал большими удобствами для жизни профессоров и студентов. Просторная библиотека была лучше, чем в старых европейских университетах. Китайские профессора получили образование в Америке или в Европе, иностранные профессора в своих странах.

ленный район Тяньцзина был разрушен бомбардировкой и пожаром, на станциях по дороге к Пекину были видны лошади, военные повозки, порой орудия, усталые от жары японские солдаты и молодые офицеры с громадными самурайскими мечами — в общем, мы были в армейском тылу. Приехав на место, мы не без труда добрались до университета, который находился в обширном парке за городом. Студенты уже покинули его, и не было почти никого из администрации и профессоров.

Дверь в наш дом была взломана, а внутри были разбросаны вещи и книги. Видимо, здесь хозяйничали не воры, а деятели разведки, которые искали что-нибудь криминальное (с их точки зрения); устав разбираться в моих книгах по древней и русской истории, они с досады поломали игрушки моей дочери. Могли последовать и более неприятные визиты; в университете не работало электричество, нехватало воды, оставаться было незачем, и собрав имущество, мы переехали в Пекин.

Местное правительство покинуло город и в нем распоряжались японские военные власти; однако, заранее были вывезены художественные ценности и научное имущество, и была предположена эвакуация двух пекинских университетов через Тяньцзинь, в котором была английская концессия, которая оставалась вне японской власти. Китайские профессора в большинстве уезжали, а за ними последовали и все европейские, о студентах нечего было и говорить. Университеты, и особенно наш, не отличались японскими симпатиями. Это была первая реакция, какой еще не наблюдалось прежде, на японское выступление. Семья моя должна была временно остаться в Пекине.

Университет предполагал поместиться в г. Чанша (пров. Хунань, на юге Китая), значит, вне опасности. Мы добирались туда компаниями и медленно, потому что прямой путь на юг был уже закрыт. Надо было двигаться морем до Циндао, затем по железной дороге до Ханькоу и, наконец, перейдя р. Янцзе, мы очутились в Чанша. Никто тогда не думал, что война может зайти за эту реку; не ожидали этого и сами японцы, которые именовали начавшуюся войну северо-китайским инцидентом. Путешествие проходило без приключений, кроме остановок в городах, где были неприятельские налеты; в этом случае мой спутник торопил меня, говоря: «Скорей, скорей, отдохнем в поезде».

Город мне понравился; он был солидно построен, много европейских зданий; мы разместились в пустовавшем миссионерском колледже в ожидании, пока будут закончены здания университета за рекой, предусмотрительно начатые еще до вспышки войны. Казалось, жизнь входила в мирную колею; прибывали студенты, и мы могли приступить к занятиям. Однако, шла война, и японцы напоминали об этом, делая воздушные налеты на город и охотно выбирая целью эти новые здания. С севера шли неблагоприятные вести; в конце 1937 г. японцы взяли Шанхай, после сильного сопротивления китайских войск. Иностранный Шанхай уцелел, но японцы не особенно стеснялись его экстерриториальностью. Отступали китайские войска к Нанкину тоже с боями; Нанкин был, конечно, взят, но озлобленные японцы устроили там резню. Китайское правительство перешло в Ханькоу и не было склонно к уступкам. И хотя перед этими событиями оно боролось с коммунистами, сидевшими в Зап. Китае, теперь президент Чжан Кай-ши, чувствуя настроение народа, должен был противиться внешнему врагу, чтобы не потерять лица, и война разгоралась.

Можно было ожидать японского наступления на Ханькоу, что и оправдалось в конце 1938 г. Правительство перешло в Чункин. Ранее этого события наш университет был эвакуирован в г. Кунмин, столицу пров. Юньнань, самой южной в Китае, граничившей с (нынешним) Вьетнамом и английской Бирмой. Добраться туда было не так-то просто. Прямого пути туда не было, и надо было сначала проехать в Кантон, под угрозой японских аэропланов, а затем в Гонконг. Французский пароход отсюда доставил нас в Хайфон и Ханой — места очень известные сейчас, где я мог отдохнуть среди удобств французской жизни: просторные улицы, бульвары, роскошные кафе, театры. Но тут можно было видеть и изнанку французской колонизации — бедность и униженность аннамитов, эксплоатацию их и грубое обращение всякого начальства. Это было то, что в теории называлось ассимиляцией.

Пожив по-человечески, мы двинулись по железной дороге, которая проходит прямо через джунгли, в Кунмин. Жара была неимоверная, но нельзя было ни пить воды, ни есть фруктов, все было заражено малярией. Перейдя границу около станции Лаокай, мы, наконец, очутились в Китае, и поезд пошел вверх, т.-е. в горы, пока не добрался до обширного плоскогория на

высоте 6.500 ф., где раскинулось широкое озеро и за ним стоял г. Кунмин. Всего мы ехали три дня, а ночи стояли, будто бы из-за опасности горной дороги, на самом же деле для выгоды французских гостиниц, где надо было ночевать.

Хотя я прожил в Китае уже больше десяти лет, но пров. Юньнань меня удивила. Это был глухой и изолированный угол Китая на стыке с Аннамом и Сиамом. Несмотря на тропическое положение, жара здесь умеряется высотой места, и потому здесь чудесный климат — вечная весна и все в цвету. Та же изоляция сделала эту провинцию почти независимой; здешний губернатор Лун Юн управлял на подобие старых милитаристов: здесь были свои дешевые деньги, и могла быть своя иностранная политика. Появление войск Чжан Кай-ши обеспечило лояльность местных властей.

Европейским соседом была только Франция в Индокитае, но ей было не до нас. Однако, французское влияние здесь было очень заметно: французское консульство, железная дорога, товары и пиастры, миссионеры, — все было французское. Народ знал только одних иностранцев, французов, и каждого европейца называли фаго жень, т.-е. француз. Вообще же за пределами Кунмина народ был диковат и совсем не знал европейцев; появление нашей семьи на улицах городка Менцзе собирало вокруг нас не враждебную, но любопытную толпу. В то время моя семья уже приехала туда, выбравшись с трудом из Пекина, где мою жену допрашивали, стращали и пытались обобрать японские шпионы и их помощники. Ей пришлось ехать в Кунмин таким же путем, как и мне, и конечно, женщине с ребенком это путешествие было трудно.

Юньнань — горная область, подходящая к предгорьям Гималаев, и как таковая не очень удобна для земледелия; зато она располагает минеральными богатствами: здесь добывается олово, свинец, серебро; здесь же выращивается особый сорт чая — предмет выгодной торговли. Все-таки земледелие возможно на плоскогориях около озер Кунмина и Дали, но и здесь обрабатывается только одна треть земли, и не выращиваются никакие фрукты. Почему же так? Вся свободная площадь занята посевами мака, потому что опиум дает хороший доход местному правительству, и все здешнее население (90% мужчин и 60% женщин) его курило. Ночью курили, а утром спали, так что жизнь начиналась после полудня. Китайское население, хотя

и южное по месту, больше связано с севером, откуда пришли первые китайские поселенцы. Но и сейчас оно окружено первоначальным населением, племенами Лоло и Миао на севере, Шан и Тай на юге, отличающимися от китайцев и физически и по образу жизни. И вот в эту-то благодатную страну, с ее сонными жителями, явились мы в составе трех университетов, со студентами и профессорами, и связанные с нами европейцы.

Когда университет пришел в Чанша, там уже были построены здания для него, которые вскоре пришлось покинуть. В Кунмине, наоборот, не предполагалось долго жить, поэтому здесь и не стали строиться. Но мы должны были провести здесь восемь лет. Вся работа по эвакуации университетов, организации их на юге и возвращению в Пекин была произведена нашим президентом д-ром Мей И-чи (ныне покойным). После перехода в Кунмин, год-два жизнь шла довольно спокойно. Правда, японцы заняли все побережье Китая и его восточные провинции; но юго-запад оставался под властью правительства Чжан Кай-ши, а на северо-западе были коммунисты. Попытка японцев продвинуться на запад внутрь страны была остановлена, когда китайцы взорвали плотины на Желтой реке и затопили громадное пространство. Блокада побережья, казалось, могла бы лишить Китай военного снабжения и даже вызвать голод. Но не было ничего подобного. Китай — самодовлеющая страна, и мог производить все нужное для жизни; чего-чего, а голода мы не испытывали. Военное снаряжение шло через Бирму, по крайней мере, вначале.

Начавшаяся в Европе война у нас никак не чувствовалась; не было ни новой опасности, ни какой-либо пользы с Запада. Положение круто изменилось, и в неблагоприятную сторону, после японского нападения на Перл Харбор в 1941 г. и вступления Америки в войну. Положение Англии и Франции сразу дало себя знать по ближайшему соседству; японцы взяли Гонконг и вступили в Малайю; французы сдали им без боя весь Вьетнам, а сами спасались в Кунмине, перейдя китайскую границу. Но все это было не так опасно. Хуже было, что японцы, пользуясь теперь более близкими базами, начали бомбардировать Кунмин, не имевший никакой воздушной защиты.

Как теперь помню, что я говорил со своим соседом по дому, д-ром Майнцером (когда то он бежал от Гитлера из Германии и попал в тюрьму к Сталину); речь шла о начальном от-

ступлении советских войск из Белоруссии. Вдруг послышались звуки аэропланов над нашей головой, треск пулеметов и взрыв бомб в городе. После налета жители стали для защиты строить убежища при своих домах: надземные блиндажи, которые укрывали, но не защищали. Но люди еще не очень чувствовали опасность. Раз во время налета толпа поместилась под деревьями у городской стены — и была обстреляна пулеметами с самого близкого растояния; проходя позже, мы видели валявшиеся трупы, обрывки одежды, кровь.

После этого несчастья жители предпочитали, после тревожного сигнала, уходить за город или убегать толпой с детьми и отсиживаться в приготовленных траншеях. Но полной безопасности не было и тут; японцы бомбардировали город и окрестности и часто бросали бомбы по соседству с нами, казалось, прямо над головой; и вот, избежав гибели сами, мы могли видеть наших соседей изувеченными или задушенными взрывом. Наконец, по сигналу «отбой», можно было вернуться в город, но отдыха не было и там. После взрывов начинались пожары, и путь лежал в ярком блеске пламени, между рядами горящих зданий. Наша семья всегда возвращалась с тревогой; наш дом находился между английским и американским консульствами — особой целью японских летчиков. По счастью, мы не пострадали серьезно. Однако, люди всегда люди, и война обнаруживает их характер. Оказались и такие, что оставались в опустевшем городе и начинали грабить; охранявшие город солдаты стреляли по ним без предупреждения. Но были и совсем другие примеры; старший врач нашего университета, усердный и энергичный д-р Чен (полного имени не помню), принадлежавший к группе Христианского Флага, всегда оставался со своей группой в городе, твердо веря в помощь Божью.

Население Кунмина встретило нас, приезжих, сдержанно, а природа — неприветливо. В этих местах очень много крыс; это не только неприятно, потому что они портят платье и поедают пищу, но и опасно для здоровья, потому что они разносят вирус тифа. Большинство из приезжих переболели сыпным тифом. Но на такой высоте, как здесь, эти вирусы не очень сильны, и больной через три недели выздоравливает. Сначала заболел я, потом жена; это случилось, когда мы для безопасности переехали в китайскую деревню. Так как выбор между бомбой в городе и заразой в деревне был небольшой, то мы и вернулись

в город. Из наших сослуживцев погиб, по другой причине, только профессор английской литературы Поллард. Уходя из города во время налета, он был задет автомобилем и получил небольшую рану; она загрязнилась, произошло заражение крови, и он через несколько дней умер в деревне без всякой помощи.

Как я сказал, наш университет поместился во временных зданиях за городом, и это пришлось весьма кстати. Японцы старались бомбардировать и иногда разрушали эти помещения; после этого университет быстро возрождался, как феникс из пепла. Занятия по возможности не прерывались. По сигналу тревоги студенты могли покидать класс; а преподаватель продолжал занятия с оставшимися до второго сигнала, когда неприятель был уже близко. Тогда все поспешно выбирались вон, если нельзя через двери, то — в окна.

Но для меня это было невозможно, потому что я с трудом ходил из-за болезни, которая требовала операции. Ее можно было сделать только в г. Гвейян (в соседней провинции), куда мы отправились всей семьей на автобусе. Дорога была интересна, но трудная, иногда проходя по краю громадного обрыва, то круто поднимаясь наверх по скалам; иногда по краям дороги были видны автомобили или грузовики, следы катастроф, что было не очень ободрительно. Прибыв в Гвейян через три дня, мы легли в госпиталь, так как жена тоже была больна. Японцы часто делали налеты на город и тоже на госпиталь. В этом случае больные, сестры, доктора и наша маленькая дочь уходили в дальнее поле, а кто не мог уйти и необходимый персонал оставались в госпитале. Операция (удаление камней из почек) мне была сделана прекрасно, несмотря на трудные условия госпиталя. Через месяц все мы благополучно вернулись в Кунмин.

Иностранная колония Кунмина была невелика. Здесь были английское и американское консульства, которые во время войны несли, кроме обычных обязанностей, также дипломатические функции. Английским консулом был сэр Гэмфри Придо-Брюнн, профессиональный дипломат с опытом службы на Востоке. Из иностранцев здесь были коммерсанты и миссионеры, позже появилось довольно много приезжих из Гонконга, люди разнообразные, которых сближало только беженское положение. Надо сказать, что все иностранцы жили дружно; был общий опыт в прошлом, была общая опасность теперь, и все были готовы помочь друг другу. Об этой жизни, хоть в ней были и немалые

тягости и порой нужда, у нас осталось хорошее воспоминание.

Национальный состав иностранных резидентов был довольно пестр. Преобладали англичане, были невоенные американцы, появились даже немцы, конечно, не гитлеровские — это были профессора нашего университета, бежавшие из Германии. Русских было очень мало. Были также французы, выбравшиеся из Вьетнама; они держались особняком и совсем потеряли лицо; памятуя их колониальную практику, симпатий к ним мы не питали. Наконец, появились советские граждане; наша первая встреча произошла так. Идя по улице, я увидел военного в старой русской форме и полковничьих погонах; не призрак ли это? Нет, это был советский полковник, приехавший по делам военной миссии из Чункина. Наезжали оттуда же служащие советского торгпредства.

У нас в университете бывали гости особого рода — английские и американские профессора, читавшие лекции по своей специальности и дававшие информацию о положении их стран. Эти приезды, кроме научного интереса, приносили ободрение, показывая, что не все еще было заключено в японскую «сферу общего благополучия». В самом университете были люди (говорю о европейцах), получившие большую известность позже. Были там два англичанина, тогда еще молодые — В. Эмсон, представитель редкой поэзии, философской и математической, сейчас выдающийся литературный критик в Англии, и Р. Пэйн, уже тогда обнаруживший литературное дарование, а сейчас известный в Америке, как автор множества книг.

В начале 1942 г. положение на Тихом океане было весьма неблагоприятно для Китая. Японцы заняли всю Малайю с неприступным, как предполагалось, Сингапуром, а также американские Филиппины и нынешнюю Индонезию, проникли в Бирму, высадились в Новой Гвинее — везде в Азии французы, англичане, американцы, голландцы, все терпели поражение. Чего же мог ожидать Китай, со всех сторон окруженный противником? Японцы, все еще утверждая, что в Китае нет войны, а только «китайский инцидент», создали подставное китайское правительство в Нанкине, во главе которого стал известный Ван Чин-вей, перебежчик из национального правительства. Японские войска вновь перешли в наступление по дороге от г. Чанша на юг. Опасность подходила вплотную.

Перелом в войне наступил после поражения японского флота американским у Коралловых островов в мае 1942 г. Лишь позже мы поняли, почему японцы ринулись на юг; потеряв господство над морем, они хотели установить оборонительную линию на суше от Манчжурии до Вьетнама. Но они начали терять и господство в воздухе, когда появилась американская авиация. Налеты на Кунмин стали реже, потом безрезультатны, потому что они отражались, и наконец, японские летчики просто терпели поражение; теперь настала наша очередь видеть горящие японские аэропланы. Кунмин становился важным операционным центром; здесь была американская воздушная база, отсюда строилась дорога на Бирму. В городе, кроме военного и технического персонала, расположились штабы и многочисленные учреждения, обслуживающие американскую армию. Постепенно число американцев в городе дошло до 30.000.

Война в Китае стала частью войны на Тихом океане, и о ней я не собираюсь говорить: она известна. Но я хочу сказать о бытовой стороне пребывания американцев в Кунмине. «Цивилизация чинов военного ведомства», как называется она в одном из чеховских рассказов, имеет разные стороны, в том числе и нежелательные; и здесь, при встрече такого числа военных людей с совершенно чуждым населением, неизбежно возникали трения и порой происходили инциденты, но это легко улаживалось. Многое зависело от непонимания обычаев и привычек обеих сторон. В большинстве своем американские военные были молодыми людьми со школьной скамьи или из университетов, скучавшие по дому и семье и желавшие найти добрых знакомых. Европейцы старались помочь им в этом отношении; например, в нашей семье часто бывали молодые американцы, делившиеся с нами своими радостями и печалями, мы принимали их как могли и они были всегда за это благодарны.

Пребывание американских войск в Кунмине способствовало экономическому оживлению, вызвав здесь настоящий «бум». Войска обслуживались китайцами на разных ролях, и они не только служили у хозяев, но и не забывали себя. В результате базар наполнился хорошими и дешевыми американскими продуктами; все их охотно покупали, не задумываясь над тем, как они сюда попадали. В более широком плане, война доставила заработок множеству рабочих, занятых на постройке дороги, и вызвала усиленное домостроительство для нужд всяких учреж-

дений и старших чинов армии. В городе, который прежде считался на далекой окраине Китая, открылось до 50 банков. Относительное спокойствие и надежда на заработки привлекали сюда беженцев из других провинций, и население Кунмина возросло до 500.000. Но было одно неблагоприятное обстоятельство привнесенное американцами. Это было появление на рынке большого количества американских долларов; спекулянты начали покупать и продавать их с прибылью, роняя ценность китайского доллара.

Положение на внешнем фронте с 1943 г. не внушало больше опасения; но единство внутреннего фронта, которое поддерживалось, пока была общая опасность, стало распадаться. Здесь я должен вернуться назад, к 1927 г., когда Чжан Кай-ши отошел от коммунистов и начал их преследовать; потерпев поражение на юге, они прошли через весь Китай и обосновались на северо-западе в провинции Енань, под предводительством Мао Цзе-дуна. Гражданский мир, провозглашенный в 1937 г. и скрепленный визитом Мао Цзе-дуна в Чункин, где находилось правительство Китая, не был прочным. И националисты и коммунисты готовились к новой борьбе, в ожидании конца войны. А пока война очень помогла успеху Мао Цзе-дуна: он мог укрепить свои небольшие тогда силы (около 100.000) — так называемая Восьмая полевая армия — и увеличить свое влияние в деревнях. Вопреки более поздней легенде, патриотический порыв коммунистов был не очень велик. Сидя в горах пров. Шенси, они постреливали вниз, и иногда захватывали в деревне нескольких японцев.

В политическую борьбу был вовлечен н наш университет. Надо сказать, что студенческие волнения — частое явление в китайских университетах, и они оказывают влияние на политическую жизнь больше, чем где-либо. Повода для критики правительства было достаточно; особенное неудовольствие возбуждала влиятельная семья Сунов, представлявшая банковский капитал. Начались студенческие митинги протеста, за которыми в ответ последовали репрессии. Студенты обратились к профессорам с просьбой поддержать их, подав в отставку в знак протеста; на это мы не могли согласиться, зная, что правительство было бы довольно таким исходом; раз нет профессоров, значит, нет и университета.

Несколько профессоров были популярны среди студентов,

потому что сами решительно критиковали правительство; они не были ни революционерами, ни тем более коммунистами, и исходили из принципов национальных интересов. На них-то и направилась ярость противников, считавших, что они возбуждают студентов; произошли прискорбные события, каких в Китае еще не бывало.

В городе появились пророки и пророчицы, обличавшие с Библией в руках здешних грешников и убеждавшие их раскаяться. Не ожидая суда Божьего, неизвестные люди сами сделали нападения на предполагаемых грешников. А затем удар обрушился на профессора китайской литературы Вен И-то, который уже раньше получал угрозы. Выходя из университетского компаунда, он подвергся вооруженному нападению; жена его, услышав выстрелы, бросилась с просьбой о помощи к соседям, но те, охваченные страхом, не решались выйти из дома. Моя жена выбежала за ворота, где увидела такую картину: проф. Вен лежал на земле, уже умирая от пулевых ран; сын его, студент, пытавшийся собой защитить отца, был ранен; убийцы, сделав свое дело, поспешно садились в автомобиль. Несколько профессоров, которым, возможно, грозила такая же участь, укрылись в английском консульстве, которому пришлось вмешаться в китайские политические дела. Террористы достигли цели: возможные противники были запуганы. Но убийство проф. Вена вызвало всеобщее возмущение, особенно в академической и иностранной среде. Правительство поспешно высказало осуждение случившемуся, но виновников не нашли; бывшие в консульстве профессора получили гарантию безопасности и вернулись домой. Подобные события больше не повторялись.[2]

В конце нашей жизни в Кунмине произошло происшествие, которое могло бы иметь значительные последствия; это было выступление провинциальных властей против правительства. Все они, и сам губернатор Лун Юн, могли видеть, как реальная

---

[2] Обстоятельства смерти проф. Вен И-то, который был больше ученым, чем политиком, и мотивы его убийц напоминают случай из отечественного прошлого. Русские читатели старшего поколения, вероятно, припомнят, как в 1906 г. член первой Государственной Думы, московский профессор Герценштейн был убит участником крайней правой организации. Но в отличие от китайского случая, виновные тогда были обнаружены.

сила уходила из их рук, а с ней и доходы; в городе стояли войска Чжан Кай-ши, старшие должности замещались его ставленниками. Губернатор и сделал попытку, опираясь на провинциальные войска, восстановить довоенное положение. Проснувшись одним утром, мы услышали пулеметную и ружейную стрельбу, и увидели солдат, в беспорядке двигавшихся по городу. К вечеру «внутренний враг» был побежден, и губернатор сохранил свое положение лишь номинально, а потом и вообще был смещен.

Но всему бывает конец, настал конец в 1945 г. и нашим испытаниям. 15 августа Япония сдалась, и мы могли вернуться обратно на север. Однако, пришлось задержаться в Кунмине; железные дороги были разрушены и аэропланов, конечно, не хватало для перевозки учреждений и беженцев. Происшедшая перемена была прежде всего психологическая; исчезло напряжение, которое существовало до самого конца войны, так как всегда можно было ожидать воздушной атаки отчаянных «камиказе». И хотя политическое положение было неясно, все же исчезло чувство изоляции от остальной страны. Заглядывать в будущее никто не хотел, все думали, как бы скорей выбраться из Кунмина.

Чтобы ускорить репатриацию, было решено вывезти нас из Кунмина сперва в Чункин. Перелет занял лишь около двух часов, но физическая перемена была большая; мы буквально спустились с облаков на землю—из высокогорного Кунмина в глубокую долину р. Янцзе, из благодатного климата нашего города в душную и влажную атмосферу Чункина. Сойдя с аэроплана, я почувствовал себя как в паровой бане и потерял способность двигаться. Нас втащили на высокий и крутой берег, и тут можно было прийти в себя.

Чункин, как временная столица, жил на более широком уровне, чем наш провинциальный Кунмин. Здесь находилось правительство Китая, которое неожиданно, после поражения Японии, приобрело международное значение; здесь присутствовал дипломатический корпус; здесь работала контр-разведка разных наций. Все это меня мало интересовало, не привлекал и самый Чункин с его невыносимой жарой, каждый день по 105-110° Ф. Кроме необходимых прогулок по делам, приходилось проводить время дома, где было прохладнее, да посещать рестораны, где пища была и обильной и вкусной — не последняя вещь после кунминской диеты.

Наконец, через месяц настал желанный день отъезда. Погрузившись на аэроплан, полетели на север, через высокие горы, что давало себя знать, потому что становилось все холоднее, а при спуске в Пекине попали в бурю с ветром из пустыни. На другой день перед нами открылась старая столица. Пекин всегда производил очарование на долго живших там европейцев, и было так приятно вновь видеть парки с озерами, старые дворцы и храмы, городские стены с их воротами и башнями. Университет не пострадал, так как был занят госпиталем, но был запущен и загрязнен. Здания нуждались в ремонте, университет требовал расширения. Прибывали студенты, начиналась новая жизнь.

Война, которую мы пережили, длилась более восьми лет; это была война между Японией и Китаем и для меня, как русского, это было «в чужом пиру похмелье». Не могу, однако, сказать, чтобы это время для меня совершенно пропало; работая непрерывно в университете, я не только жил как беженец, но и делал дело, имевшее для меня жизненное значение. Но об одном я жалел; моя хорошая библиотека, которую я собирал несколько лет, была вывезена для безопасности в Гонконг и там погибла. В конце концов, несмотря на трудности и опасности, мы пережили это тяжелое время, не испытав японской власти и не увидев японских лагерей, в отличие от многих европейцев, живших тогда в Китае, и уже это было несомненным благом.

И. И. Гапанович

ПИСЬМО РУССКОГО ИСТОРИКА ОБ "ОБНОВЛЕНЧЕСТВЕ"

Дорогой друг и брат! Получил Ваше письмо, в котором Вы просите меня высказать свое суждение по поводу современного нам церковного движения, именуемого «обновленческим». Охотно отвечаю на Ваш вопрос, хотя Вы сами знаете, что я теперь очень далек от церковной работы и могу высказаться только, как сторонний наблюдатель происходящего вокруг нас.

Меня, также как и Вас, прежде всего интересует вопрос, в чем существенное различие между так называемой «Тихоновской» и обновленческой церквами. Ведь, рассуждая теоретически, это различие должно быть очень глубоко, если почти все прежние епископы и тысячи священников предпочитают томиться в тюрьмах и погибать в далеких ссылках, чтобы только не признать другой орган высшей церковной власти.

Мне лично пришлось в одной из московских церквей слышать, как обновленческий батюшка пламенно доказывал, что никакой разницы нет между обновленческой и прежней церквами. Вообще теперь это модная полоса. Все обновленческие деятели утверждают тоже самое, но ясно, что и здесь дело не так просто.

Если, действительно, разницы никакой нет, то откуда-же и зачем такой шум; зачем повсеместно закрывают православ-

---

Это письмо было получено П. Б. Струве повидимому в двадцатых годах и находилось в его редакционном архиве. Возможно, что оно было прислано на имя князя Григория Николаевича Трубецкого и передано им П. Б. Струве. Мы получили этот документ для опубликования от проф. Г. П. Струве. Письмо русского историка об «обновленчестве»» является как бы дополнением к очеркам А. Левитина и В. Шаврова, опубликованным в «Н. Ж.» (см. «Очерки по истории русской церковной смуты» кн. 85, 86, 87 и 88). РЕД.

ные церкви; изгоняют канонических законных епископов и священников, а на место их назначаются никому неведомые люди. Очевидно, что это имеет свою идеологию. И, если мы обратимся к началу обновленческого движения, то услышим совсем другие речи, чем те, какие слышим теперь. Тогда говорилось о необходимости не только реформации, но и революции в Церкви. В программу обновленческих съездов ставился пересмотр учения о соединении Божеской и человеческой природы в Иисусе Христе, о лице Богоматери, о почитании Святых. Тогда пренебрежительно и насмешливо говорилось об устарелости и ненужности канонических определений Вселенских Соборов; выносились постановления о закрытии монастырей и т. д. Еще на соборе 1923 г. слышались весьма подозрительные речи и дерзко попирались все церковные каноны, Поэтому, когда я слушал ласковые речи батюшки, то невольно думал: все лжешь ты, любезный, и сам ты говорил раньше совершенно другое, просто струсили Вы, когда увидели, что народу нет.

Коммунист Степанов написал еще в 1922 году прекрасную брошюру «Живая Церковь»; в ней он предсказывал, что обновленческое движение быстро пойдет влево и скоро сдаст в архив такие нелепые суеверия, как учение о Божестве Иисуса Христа, безмужном рождении Спасителя и т. п. Я думаю, что Степанов не ошибался. Он, повидимому, хорошо знал этих церковных «работников». Но случилось иначе. Все верующие и честные в Церкви с ужасом и омерзением отшатнулись от самозванных обновителей Церкви. Непоколебимой стойкостью епископов, самых выдающихся наших священников, и церковного народа — Церковь была спасена от страшного внутреннего развала. И теперь все эти Красницкие, Боярские, Введенские клятвенно уверяют всех, что они ничем не отличаются от «тихоновцев»! Бывший протоиерей Калиновский предпочел снять сан и сотрудничать в «Безбожнике», и один только Антонин Грановский, уже всеми забытый и никому ненужный, рычит в бессильной злобе о какой-то реформации. Да, дело не так просто. Не напрасно теперь томятся в неволе все лучшие пастыри наши, не напрасно и «обновленцы» так страстно гонят православных, отбирают в провинции чуть-ли не все православные церкви и предпочитают, чтобы храмы были пусты и народ оставался без священников, чем чтобы служили

православные священники, которые ничем будто бы не отличаются от «обновленческих».

В чем же однако подлинная сущность этого «мнимого» обновленческого движения и в чем заключаются те отступления «обновленцев» от заветов Церкви, которые создают настоящую пропасть между нами и обновленцами?

И для меня лично, и для великого множества православных не могла бы иметь решающего значения та или иная форма Высшего Церковного Управления. Патриарха Тихона мы признали только потому, что он свободно был избран законным Собором нашей Русской Церкви. Но когда теперь нам говорят: «Откажитесь от Тихона и признайте наш «Священный Синод», то первый мой и важнейший вопрос: «что же такое этот синод, откуда он возник, кто его составляет, по какому праву он существует в Церкви?» — «Только признайте Синод», говорят обновленцы. Очевидно это «только» имеет действительно громадное значение и здесь мне придется остановить Ваше внимание на первом моменте возникновения новой церковной власти.

Епископ Антонин, протоиерей Красницкий, священник Калиновский и священник Введенский явились к Патриарху Тихону и предупредили его, о передаче их наблюдению Патриаршей Канцелярии, и, после того, как Патриарх Тихон был действительно арестован, эти люди объявили, что Патриарх отрекся от Управления Церковью, а себя объявили временным высшим Церковным Управлением.

Новая Церковная Власть родилась от лжи, ибо Патриарх от своей власти не отрекался, а передал ее Митрополиту Агафангелу, как своему законному заместителю. Все это теперь точно известно и из послания Митрополита Агафангела и из послания самого Патриарха Тихона. Но тогда эти «церковные реформаторы» лгали нагло и настойчиво, пользуясь тем, что Патриарх был арестован, а митр. Агафангел в Москву выехать не мог. И временное церковное правительство созывает съезд своих сторонников, избирает из их среды высшее церковное Управление и начинается работа по насильственному обновлению Церкви.

Судите сами, дорогой друг, можно-ли о такой церковной власти сказать, что она существует «Божьей милостью» или что она имеет законное каноническое основание? Конечно

нет. И как из лжи родилось это самозванное Церковное Управление, так и действовать оно могло только путем лжи, клеветы и насилия. Единственным их делом явилась клевета на всех, кто не хотел подчиниться грубому церковному насилию. Знаменем, с которым пошли в жизнь эти люди, было наглое и ложное обвинение в контр-революции всех, кто не мог признать христианскими пророками этих новоявленных крикунов. А что было дальше, хорошо всем известно. Кафедры все опустели и место законных канонических епископов заняли разные темные люди. Не знаю известно ли Вам, как скоро перессорились между собой эти «вожди» церковного обновления. Антонин образовал группу — «Церковного возрождения», Красницкий — «Живую Церковь», Введенский — «Союз общин Древне-Апостольской Церкви», Калиновский — «Группу внеобрядового Христианства».

Произошло полное смешение языков. Эти люди ни в чем не сходились кроме одного — ложью и клеветою губить Церковь и всеми силами держаться за власть. Честнее других оказался Калиновский, он сбросил сан, а остальные и до сих пор играют комедию церковного обновления. Примирить все эти разногласия в церкви обновленческой, подвести итоги всему обновленческому церковному движению и определить пути дальнейшей жизни суждено было так называемому «Второму Всероссийскому Собору 1923 года». Такой действительно собрался в мае 1923 года, и, как нельзя лучше выразил лицо обновленческого движения. Как историк, хотя и не церковной специальности, я утверждаю, что ничего более жалкого и в то же время гнусного, чем этот собор, в истории Церкви не было в течение всех 19 веков. И созыв этого собора, и состав его членов, и соборная атмосфера, и все соборные определения носили несомненно антиканонический характер, не говоря уже о моральной стороне дела.

Теперь обновленцы ставят одним из четырех условий единения с ними — признание 2-го Всероссийского Собора и всех его определений. Посмотрим же, что означало бы такое признание. Совместимо ли оно с верою в Бога и человеческую правду?

Собор созвало «Высшее Церковное Управление». Если мы признали это управление по существу незаконным, самозванным и самоуполномоченным, то ясно с какой осторожностью

мы должны отнестись к его детищу — «2-му Всероссийскому Собору». И действительно, состав этого собора был предрешен в таком смысле, что мог явиться отражением только взглядов его устроителей, но никак не выражением церковного религиозного сознания православных людей. Так, прежде всего, непременными членами собора явились все «Живые Епископы», все губернские уполномоченные «Живой Церкви», московские и харьковские высшие церковные управления в полном составе их членов и, наконец, 25 человек по выбору и приглашению церковного Управления.

Все это число предназначенных членов составляло такое солидное большинство всех участников собора, что если бы даже допустить возможность свободного выбора остальных членов, то и тогда дело по существу не изменилось бы и живоцерковникам было бы обеспечено большинство голосов, но, конечно, о такой свободе выборов речи быть не могло.

Терроризованные православные от участия в выборах отказались **повсеместно;** епархиальные собрания состояли из своих людей, которые сами себя и избирали. Получился удивительно однородный состав членов собора и возможность единогласных постановлений. Обращаясь к последним, сначала скажу два слова об одном инциденте, который очень ярко характеризует безобразную атмосферу обновленческого сборища 23-го года. Некто Петр Блинов, именовавший себя митрополитом всея Сибири, привез целую группу подозрительных личностей (сколько помнится — 14 человек), называвших себя епископами Сибири. Их рукополагал некто — бывший епископ Зосима, лишенный сана и публично от него отрекшийся. Даже решительный Антонин Грановский растерялся на первых порах и хотел устранить сомнительных владык, но последние показали «митрополиту всея России» такой грозный кулак, что «Московский Лютер» на другой день дорукоположил их в экстренном порядке, возлагая омофор сразу на 7 человек и читал над ними молитву рукоположения собственного сочинения. Один из участников собора говорил мне в тот же день, когда совершилось это мнимое рукоположение, что судьба обновленческого движения в этот день была решена; или Церковь должна была окончательно отмежеваться от этого нечестивого Собора — гнусной комедии Антонина, или же Русская Церковь потеряла бы право считать себя ветвью Церк-

ви Вселенской, свято хранящей апостольское преемство иерархии. Главные деяния собора следующие: лишение Патриарха Тихона сана, разрешение 2-го и 3-го брака духовенству и позволение епископам быть женатыми. Пожалуй еще можно прибавить введение нового стиля. Этим исчерпывался весь пыл реформаторского собора. Как видите кругозор собора очень ограничен. Не только не было никакого религиозного воодушевления, но даже религиозный вопрос вовсе не затрагивался: все ограничивалось церковно-административными и церковно-политическими резолюциями. И так, прежде всего, лишение Патриарха Тихона сана само собой, как постановление такого собрания, которое называло себя 2-м Русским Собором, по существу несомненно не могло иметь ни для кого авторитетного значения, и даже для самих участников его, когда через год Красницкий обивал пороги квартиры Патриарха Тихона, а «Великое Предсоборное Совещание 1924 г.» посылало к Патриарху Тихону делегацию за делегацией, предлагая соединение с ними и возглавление их.

Но с формальной стороны постановление о лишении сана Патриарха Тихона было совершенно незаконным. Правилами Вселенских и Поместных Соборов требуется, чтобы суд над епископами производился в присутствии подсудимого. В случае отказа епископа явиться на Собор, после трехкратного приглашения дело слушается в отсутствии обвиняемого. Между тем Патриарх Тихон на Соборе не был и никто его явиться на Собор не приглашал. Никто и к советской власти не обращался за разрешением Патриарху Тихону явиться на церковный суд. Поступили просто и решительно: сначала поносили Патриарха, затем большинством всех против одного лишили его сана и, наконец, через особую делегацию известили его, что он уже не Патриарх, а мирянин, Василий Белавин.

Уже одно такое непонятное пренебрежение в отношении основного церковного закона делает постановление собора незаконным и неканоничным. Но и по существу обвинение Патриарха и суд над ним носили любопытный характер. Патриарха судили не за какое-нибудь религиозное преступление, не за отступление от догматов веры и не за нарушение церковных законов, а за политические преступления. Здесь мне приходят на мысль два соображения, что вообще принципиально карать политические ошибки и заблуждения отлучением от

Церкви и лишением сана нигде и ни в каких церковных законах — не позволено, ни гражданскими постановлениями — **не требуется.** Здесь мы имеем отрицательный пример усердия не по разуму. Второе мое соображение касается именно этой стороны дела. Когда Патриарха Тихона судили в Храме Христа Спасителя, в это самое время гражданский суд вел следствие по делу Патриарха. После последнему была дарована амнистия и он был восстановлен во всех гражданских правах. Посудите сами, какая явилась удивительная несообразность: мнимо-церковный суд так переусердствовал, что за амнистированное гражданское преступление покарал высшей мерой церковного наказания. Подобной гнусности не было и прежде, и понятно, что вся Россия вместе с Патриархом ответила презрительным игнорированием лакейского усердия собора.

Перехожу теперь к единственной реформе, которую ввели в жизнь церкви наши безкрылые реформаторы. Два года они потрясали небо и землю своими красивыми речами о церковном обновлении. Якобы ради этого опрокинули все епископские кафедры, опустошили храмы, а священникам позволили жениться во второй и третий раз. Поистине гора родила мышь. Меня по существу не приводит в ужас ни то, что у нас на Руси появились десятки женатых архиереев, ни то, что батюшки венчали батюшек. Для меня все это гораздо важнее, как показание совершенного убожества обновленческого движения. Но, конечно, канонически это более чем незаконно так как постановления Великого Собора, если и могут быть отменяемы, то естественно не иначе, как Всеправославным Собором, и то лишь в виду обстоятельств исключительной важности. Но вовсе непонятно, какие особые обстоятельства могли потребовать в настоящее трудное время для церкви положить во главу угла церковного обновления вопрос о браке духовенства, не говоря уже о том, что никто и никогда не признает московского сборища законным московским собором. Ясно, что пафос реформаторов питался не любовью к Церкви, а совсем другими инстинктами. Подобное надо сказать и о новом стиле. Ввести его, конечно, можно; но, конечно, и это можно сделать только по соглашению со всеми православными Церквами и по определенно выраженному народному желанию. Но о народе вообще ни разу не вспомнили обновленцы. Еще в начале

обновленческого движения, в период наивысшего подъема церковно-революционного пафоса, странно звучали речи Красницкого, требовавшего указать мирянам их место и не допускать их до церковной работы иначе, как под строгим контролем священника. И этот завет экс-лидера обновленчества всецело осуществился в обновленческой церковной практике.

Выскажу теперь окончательное суждение по поводу сущности современного нам церковно-обновленческого движения. Как Вы видите, мое убеждение таково, что это движение ничего не принесло нашей Церкви, кроме великого соблазна, ненужного раскола, гибели многих достойных пастырей, клеветнически обвиняемых в контр-революции, и разгрома тысяч православных общин.

Что такое после этого — обновленческая церковь? В ответ на этот вопрос я вполне примыкаю к мнению коммуниста Степанова. Как «Живая Церковь» прежде, так и обновленческая церковь теперь имеют одну цель: **разрушить христианство** внутри, **производить смуту** в сознании православного народа; ложью, клеветой губить лучших работников в Церкви, лишать народ права свободного устроения своей церковной жизни и всячески позорить Церковь в лице развращенных представителей «Церковного Обновления». Обновленческая Церковь это как бы добровольный подотдел — антихристианской пропаганды. В этом ее подлинная сущность и, действительно, громадное значение.

Теперь мне кажется ясно, что означало бы простое признание Священного Синода, как наследника, выразителя всего обновленческого движения. Это означало бы примириться с незаконным лишением кафедры достойнейших пастырей Церкви, и отдать Церковь во власть озлобленных врагов ее, служащих в своих рясах и ризах делу разрушения Евангелия в сердцах людей и разрушения православных святынь по лицу нашей Русской Земли: «Только признайте св. Синод», говорят нам. Да, признайте этих атеистов вождями Церкви и тогда исполнится предсказание Степанова, и через какой-нибудь год вновь поднимется реформаторский пафос из «обновителей» до полного предательства нашей веры и поругания всех наших святынь.

Мой дорогой, любимый, когда я заканчиваю это мое письмо к Вам, вся Москва гудит колоколами, и я уже не думаю о

шайке предателей церковных, именующих себя обновленцами. Нет, не разрушить им Церкви Божией на земле! Нет, теперь мне не до страха за Церковь. Гул колоколов переносит мое сердце не только вверх к Богу Живому, но и в далекие края нашей родины, где томятся наши братья и отцы по вере. Их болезни и труды в деле церковном величают наши колокола. Теперь и я зову Вас присоединиться вместе со мною к этому ликованию и верить, что через страдания и молитвы восторжествует церковная правда на земле.

НОВАЯ ПОПЫТКА ПЕРЕВОДА "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ"

Как известно, первый перевод Слова был сделан для издания 1800 г. Рукопись оригинала сгорела в 1812 г., но лет сто тому назад акад. проф. П. Пекарский открыл список Слова, сделанный за год до смерти императрицы Екатерины II. Слово прочно вошло в золотой фонд русской литературы. Из него попали в язык и такие слова как б ы л и н а, б о я н и другие. Лучше первых прозаических переводов на современный русский язык были переводы поэтические XIX и XX в.в., начиная с В. Жуковского и А. Майкова и до советского поэта И. Новикова и др. (См. работу Ю. Панышевой в "Ученых записках Ленинградского университета", — IV, 1939). Интерес к вопросу о подлинности Слова и его художественности, м. б., особенно развился после диспута в Московском университете А. Пушкина с М. Каченовским. Но при всякой научной попытке перевода Слова на современный русский язык, кроме проблематики неясных и темных мест текста, встает вопрос о том, как переводить его — стихами или прозой? Можно ли Слово считать монолитной воинско-политической песней патриота дружинника, или же это сложного состава мозаика из песен, прозы, пословиц, легенд и истории, объединенная неизвестным автором в некое целое. Одной из последних попыток дать научный текст Слова, разбив его гипотетически на стихи в духе былин, дал проф. Е. Ляцкий в Праге (1934 г.). Он же принял в расчет и ряд прежних перестановок в тексте, сделанных проф. А. Соболевским. Дело в том, что в течение веков переписчики, вероятно, по недосмотру перепутали некоторые строки в Слове. Из прежних переводов, еще до революции, интересны Н. Тихонравова, В. Келтуялы, А. Орлова. Из новых В. Перетца на украинский (1926) и проф. Андриановой-Перетц на современный русский язык и отличный перевод проф. Д. Лихачева.

Из зарубежных очень важны прозаический перевод и ком-

ментарий Р. Якобсона. Небезынтересен и дважды переделанный перевод Слова на древнерусский и на современный русский язык С. Плаутина (первое изд. в Париже, 1958).*

Литература о Слове огромна — свыше восьмисот отдельных трудов. Лично я дважды переводил Слово. Первый перевод 1943-1948 гг. сделан мною на сербский. Я был очень недоволен переводом г. Шайковича. Советуясь с проф. А. Соловьевым я получил от него ряд ценных указаний и совет не пренебрегать при переводе сербскими формами имперфекта, хотя они почти вымирают или вымерли в живом разговорном языке XX века.

Настоящий перевод сделан мною в 1964 году для специального курса в Монтреальском университете. Считаю нужным указать на особую разбивку Слова на части и свою пунктуацию. Сам перевод ряда мест сделан согласно моему пониманию результатов работ других ученых или на основании моих собственных изысканий. Так, давно еще в 1931-2 гг. я высказывал мнение и считаю правильным переводить "грозным полочанам", как испуганным, устрашенным. Слово "грозный" в древнерусском обозначало и грозный и испуганный. Конечно, я составил и свой комментарий, но для рядовых читателей это — скучный балласт. Специалисты же сразу увидят на что́ я опираюсь или что пытаюсь объяснить или перевести по-своему. Некоторые варианты, как и многие переводчики до меня, я ставлю в скобки.

Меня постоянно привлекала в Слове звуковая (38 оттенков!) и красочная сторона — червленые щиты русичей на весенней зелени степи! Не менее, а еще более интересно соотношение, совершенно особое, Времени и Пространства, они несколько схожи и в "Слове о погибели Русьския земли". Но это уже отдельная тема.

Р. П.

СЛОВО О ПОХОДЕ ИГОРЕВОМ, ИГОРЯ, СВЯТОСЛАВОВА СЫНА, ВНУКА ОЛЕГА

1

Не следовало ли нам, братцы, начать (песнь) по старому, по бывалому о походе Игоря Святославича, — словами печальных повестей? Да начнется эта песнь по деяниям нашего

---

* La Geste du Prince Igor. N. Y. 1948.

времени, а не по замыслу Бояна. Ведь, вещий Боян, если о ком-либо хотел сложить песнь, то разлетался белкой по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облака. Поминал он, говорят, усобицы первых времен; выпускал он тогда десять соколов на стаю лебедей, и который догонял какую (из лебедей), та первая пела песнь старинному Ярославу, храброму Мстиславу, что зарезал Редедю перед касожскими полками (или) прекрасному Роману Святославичу. Боян же, братцы, не десять соколов пускал на стаю лебедей, но вещие персты свои возлагал на живые струны, а они сами Князьям рокотали славу.

2

Начнем же, братья, эту повесть от прежнего Владимира до нынешнего Игоря, что препоясал свой ум доблестью, а сердце заострил мужеством, исполнился воинственным духом и повел свои храбрые полки за Русскую землю на землю Половецкую.

3

О, Боян, соловушка старого времени! Как бы ты по соловьиному воспел эти полки, прыгая соловьем по мысленному древу, летая умом под облака, свивая прошлое и настоящее во едино, рыская через поля и горы по Трояновой тропе. А Боянову внуку надо было бы так петь песнь Игорю: «Не буря занесла соколов через широкие поля — галки стаями стремятся к Великому Дону». Или бы так воспеть (Игорю), о вещий Боян, внук Велеса: «Кони ржут за Сулою (рекою), звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новгороде!»

4

Соят стяги в Путивле, Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему буй тур Всеволод: «Единый мой брат, свет единый светлый, ты Игорь, (а) оба мы — Святославичи! Седлай, брат, своих быстрых коней, а мои уж кони готовы, оседланы у Курска впереди. А мои, ведь, Куряне опытные воины: под трубами пеленаны, под шлемами баюканы, вскормлены концом копья; пути им ведомы, овраги им знакомы, луки у них натянуты, колчаны открыты, сабли отточены; сами (они) скачут как серые волки в поле, ища себе чести, а князю — славы».

Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел (что) все его воины покрыты от него (солнца) тьмою. И сказал Игорь

своей дружине: «Братья и дружина, лучше быть зарубленным, чем взятым в плен! Всядем же, братцы, на своих борзых коней, да поглядим на синий Дон! Совпал разум со страстным желанием, а стремление отведать великого Дона заслонило от него знамение. «Ведь хочу я, сказал он, с вами, сыны русские, сломить копье на границе степи половецкой, хочу голову свою сложить, либо испить шлемом из Дона». Тогда вступил князь Игорь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою заграждало путь; ночь завыванием грозы пробудила птиц. Поднялся звериный свист; Див взвился, кричит с вершины дерева, велит прислушаться неведомой земле: Волге и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе Тмутороканскому идолу.

А половцы непроезжими дорогами понеслись к великому Дону; телеги (их) скрипят, кричат в полночь — скажешь — лебеди распуганные. Игорь к Дону ведет воинов. — Уже, ведь, птицы стерегут его беды по дубравам, волки в оврагах страх (воем) возбуждают, орлы клёкотом зверей на кости зовут, лисицы лают на червленые щиты. О, Русская земля, ты уже за (пограничным) валом (холмом).

Долго ночь меркнет, запылала заря, туман покрыл поля, замер (уснул) щёкот соловьиный, говор галок пробудился. Русские сыны великие поля перегородили червлеными щитами, ища себе чести, а князю славы.

5

В пятницу спозаранок растоптали (они) половецкие нечестивые полки и, рассыпавшись, как стрелы по полю, увозили красных половецких девушек, а с ними золото и дорогие ткани и шелка (парчи и шелка). Покрывалами, накидками и кожухами и всякими половецкими нарядами стали мосты мостить по болотам и топким местам. Храброму (же) Святославичу (достались) — червленый стяг, белая хоругвь (и) червленый бунчук на серебряном древке.

Дремлет в поле Олегово храброе гнездо, — далеко залетело! Не было оно рождено для обиды ни от сокола, ни от кречета, ни от тебя, черный ворон, поганый половчанин! — Гзак бежит серым волком, Кончак ему прокладывает след к великому Дону.

На другой день, очень рано, кровавые зори рассвет возве-

щают, черные тучи идут с моря, хотят прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синии молнии. Быть грому великому, идти дождю стрелами с великого Дона! Тут будут копья ломаться, тут саблям пообиваться о половецкие шлемы на реке на Каяле у великого Дона. О, Русская земля, ты уже за (пограничным) валом (холмом).

6

Вот, ветры, внуки Стрибога, веют с моря стрелами на храбрые Игоревы полки; земля дрожит (гудит), реки текут мутно, пыль покрывает поля, стяги знаками говорят, — Половцы идут от Дона и от моря, и со всех сторон окружили русские полки; дети бесовские перегородили поля (своим) кликом, а храбрые Русские сыны (поля) перегородили червлеными щитами.

Ярый тур-Всеволод! (Ты) стоишь на бранном поле, мечешь на бойцов стрелы, гремишь о шлемы булатными мечами. Куда, ты, Тур, ни поскачешь, посвечивая своим золотым шлемом, там лежат половецкие нечестивые головы; тобою, Яр-тур Всеволод, закаленными саблями расщеплены аварские шлемы! Не страшна (не важна), тому никакая рана, братцы, кто забыл и почести и достояние и город (свой) Чернигов-отеческий, золотой престол, и свою возлюбленную супругу — прекрасную Глебовну и ее верную преданность.

7

Были века Трояновы; минули лета Ярослава; были рати Олеговы, Олега Святославича. Тот, ведь, Олег мечём крамолу ковал и стрелы сеял по земле. (Бывало) вступает (он) в городе Тьмуторокане в золотое стремя, а этот звон (стремени) слышал давнишний великий Ярославов сын Всеволод. А Владимир каждое утро запирал отверстия в укреплениях в Чернигове. Бориса же Вячеславича слава на суд привела, и на Каяле постлала ему зеленое покрывало за Олегову обиду, молодого и храброго князя. С той же Каялы Святополк (увез) баюкая (тело) отца своего между венгерских иноходцев ко святой Софии, к Киеву. Тогда, при Олеге Гореславиче, сеялись и росли усобицы (и) гибло достояние Даждь-божьего внука, в крамолах княжеских укоротился век людской. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали (кликали), но часто вороны каркали (граяли), деля меж собою трупы, а (и) галки свою речь говорили, намереваясь полететь на клев.

То было в тех ратях и походах, а о такой битве и не слыхано!

8

С раннего утра до вечера, с вечера до рассвета летят каленые стрелы, гремят сабли о шлемы, трещат булатные копья в поле неведомом, среди земли Половецкой.

Что шумит, что звенит мне в дали рано перед зорями? — Игорь полки заворачивает, ибо жалко ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоря... Черная земля под копытами (конницы) костьми была посеяна, а кровию полита: скорбию взошли (они) посевы по Русской земле! Тут, на берегу быстрой Каялы, братья разлучились; тут не хватило кровавого вина. Тут закончили пир храбрые сыны Русские: напоили сватов, а сами полегли за землю Русскую.

Никнет трава от печали, а дерево с горем приклонилось к земле.

Ведь уже, братья, нерадостное время настало, уже прикрыла пустыня силу. Поднялась Обида в силах Даждь-божьего внука, вступила девою на Троянову землю, восплескала лебедиными крыльями на синем море у Дона, плещучи (ими) прогнала благоприятные времена. Усобица князей погубила войну против нечестивых (поганых), ибо сказал брат брату: «Это моё (наследие), да и то — моё же!» И начали князья (и) про малое говорить: «Это важное», а сами начали на самих себя ковать крамолу. А поганые (басурманы) со всех сторон приходили с победами на Русскую землю.

9

О, далеко к морю (залетел) сокол, избивая птиц! А храброго войска Игорева не воскресить! За ним возопила Карна, и Желя поскакала по Русской земле размыкивая жар в пламенном роге. Жены (же) Русские восплакали причитаючи (приговаривая): «Уже нам своих милых мужей ни мыслию помыслить, ни думою сдумать, ни глазами (не) повидать, а золота и серебра и не коснуться». И застонал, ведь, братцы, Киев от скорби, а Чернигов от бед. Тоска разлилась по Русской земле, обильная печаль потекла средь Русской земли. А князья сами на себя ковали крамолу, а поганые же, победоносно налетая (на-

бегая) на Русскую землю, брали дань по серебреннику от двора.

Ведь те двое храбрых Святославичей, Игорь и Всеволод, уже пробудили зло (коварство раздором). Тот раздор, который усыпил было их отец Святослав, грозный, великий (князь) Киевский (своей) грозностью; прибил (притомил) своими сильными полками и булатными мечами; вступил (напал на) (он) в землю Половецкую, притоптал холмы и овраги, замутил реки и озера, иссушил потоки и болота, а поганого Кобяка, словно вихрь, исторг с морского залива из железных половецких полков. И пал ниц Кобяк в городе Киеве в горнице Святослава. Тут Немцы и Венецианцы, тут Греки и Моравцы воспевают славу Святославу, укоряют князя Игоря, который потопил (погрузил) богатство, (и) на дно Каялы реки Половецкой русское золото рассыпал. Тут Князь Игорь пересел с седла золотого в седло раба; стены городов приуныли и веселие (у них) поникло.

10

А Святослав тревожный сон увидел: «В Киеве на горах вчера с вечера окутывали (одевали) меня черным покровом на тисовой кровати, сказал (он). Черпали мне синее вино, смешанное с горем; сыпали мне на грудь крупный жемчуг из опорожненных (от стрел) колчанов нечестивых толмачей и ласкали меня. Уже доски (кровли) без князька в моем златоверхом тереме! Всю ночь эту с вечера бесовские вороны каркали; у Плесньска в пригородах из расселин появились лесные змеи и понеслися к синему морю».

И сказали бояре Князю: «Уже, Князь, умом (твоим) скорбь овладела, ибо два сокола слетели с золотого отеческого престола, чтоб добыть город Тмуторокань, или испить шлемом из Дона. (Но) уже соколам подсекли крылышки саблями, а самих опутали железными путами (оковали). — Ибо настала тьма в третий день: померкли два солнца, оба багряные столпа погасли, а с ними заволоклися тьмою два молодых месяца, — Олег и Святослав, — тьмою покрылись, а у кочевников (Гуннов) пробудили великую смелость. На реке, на Каяле, тьма покрыла свет: по Русской земле распростерлись Половцы, как барсов выводок. Уже позор (хула) покрыл восхваления, уже нагрянуло насилие на свободу, уже Див-чудовище бросился

на землю. Вот и прекрасные Готские девы запели на берегу синего моря, позвякивая русским золотом, воспевают (они) времена Бусовы, лелеют месть за Шарокана. Мы же, дружина, уже (напрасно) жаждем веселия».

11

Тогда великий Святослав изрек золотое слово сквозь слезы: «О, мои племянники — Игорь и Всеволод! Рано вы начали мечами уязвлять Половецкую землю, а себе искать славы. Но (увы) без славы вы одолели, без славы (для себя) и кровь поганых проливали. Ваши храбрые сердца из крепкого булата скованы, и в буйности закалены. Что же сделали вы моей серебряной седине! — А не вижу я мощи сильного и богатого и войнолюбивого Ярослава, брата моего, с (его) Черниговскими богатырями, с Могутами, и с Татранами, и с Шельбирами, и с Топчаками, и с Ревугами, и с Ольберами. Ведь эти, (и) без щитов, с (одними) засапожниками кликом побеждают полки звеня дедовской славой. Но (вы) сказали: «Мы сами помужаемся, сами похитим предстоящую славу, а полученную сами меж себя поделим!» А разве мудрено и старому помолодеть? Когда сокол (по весне) перья меняет, то высоко (он) бьет птиц, не даст своего гнезда в обиду! Но вот зло: нет мне от Князей помощи! На изнанку времена оборотились. Вот, уже у Римова вопят под саблями половецкими, а (князь) Владимир изранен — горе и тоска сыну Глебову!

12

Великий Князь Всеволод! Нельзя ли тебе хоть мыслию издалека прилететь, поберечь отцовский золотой престол? Ты, ведь, можешь Волгу расплескать веслами, а Дон вычерпать шлемами! Если бы ты был (здесь), была бы рабыня по полтиннику, а раб — по четвертаку. Ты, ведь, можешь по суше стрелять огненными снарядами — удалыми сынами Глебовыми!

Ты, буйный Рюрик, и (ты) Давид! Не вы ли (в) золоченых шлемах плавали по крови? Не ваша ли храбрая дружина рычит подобно турам раненым калеными саблями в поле неведомом? Вступите, Господари, в золотые стремена из-за беды этого времени, за землю Русскую, за раны Игоря, буйного Святославича!

Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко (ты) сидишь на сво-

ем златокованном престоле. Подпер ты горы Угорские своими железными полками, загородив королю (Венгерскому) путь, затворивши Дунаю ворота, перенося товары через облака, наводя суд свой до Дуная. Страх от тебя идет по землям; (ты) отворяешь ворота Киева, стреляешь с отцовского золотого престола Султанов за (далекими) землями. Стреляй, государь, (в) Кончака, (в) поганого холопа, за Русскую землю, за раны Игоря, буйного Святославича!

А ты, Буйный Роман и (ты) Мстислав! Храбрая мысль влечет ваш ум на подвиг. Высоко паришь на подвиг (славное дело) с буйной отвагою, как сокол плавающий на ветрах, (что) (хочет) в смелости одолеть птицу! Ведь у вас железные молодцы под шлемами латинскими. От них земля дрожит и многие народы: Гунны, Литовцы, Ятвяги, Деремела, и Половцы побросали свои копья и склонили свои головы под ихние булатные мечи. Но, уже, Князь, для Игоря померк свет солнца и дерево не к добру сронило листву: по Роси и по Суле (враги) поделили города. А Игорева храброго войска не воскресить! Дон тебя, Князь, кличет и зовет Князей на победу. Ольговичи, храбрые Князья уже явились на брань.

Ингварь и Всеволод и все остальные трое Мстиславичей, не плохого гнезда (рода) шестокрыльцы (соколики), (вы) (себе волости) добыли (власть) (не решением победы, а законно). Где ваши золотые шлемы и копья польские и щиты! Заградите ворота степи своими острыми стрелами за землю Русскую, за раны Игоря, буйного Святославича!»

13

Уже, ведь, Сула не течет серебряными струями к городу Переяславлю, и мутно (болотом) течет Двина к тем устрашенным Полочаном под криком нечестивых Литовцев. Единый (из всех) Изяслав, сын Васильков, зазвенел своими острыми мечами по Литовским шлемам; коснулся славы своего деда Всеслава, а сам под червлеными щитами на кровавой траве погублен (был) литовскими мечами. Истекая кровью он сказал: «Дружину твою, Княже, покрыли крылья (хищных) птиц, а звери (её) кровь слизали». Не было тут (его) брата Брячислава, ни другого — Всеволода, в одиночестве же испустил жемчужную душу из храброго тела через золотое ожерелие. Уныли голоса, поникло веселие. Трубы трубят Городенские.

Ярослав и все (прочие) внуки Всеславовы! Уже склоните свои стяги, вложите (в ножны) свои поврежденные мечи, ибо уже лишились вы дедовской славы, ибо вы (ведь) своими междуусобиями начали приводить нечестивых (поганых кочевников) на землю Русскую, на достояние Всеславово. Раздоры (ваши) привели насилие из земли Половецкой!

На седьмом Трояновом веке бросил Всеслав жребий о девице (своей) возлюбленной: Он, опершись на обманы, хитрости, с конями достиг города Киева, (где) (лишь) древком (знамени) прикоснулся к золотому престолу Киевскому. Выскочил от них (Киевлян) рысью в полночь из Бела-города, когда сизая мгла распростерлась; в три попытки успел открыть врата Новгорода, расшиб Ярославову славу, скакнул волком до Немиги с Дудуток. На Немиге как снопы стелют головы, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут — веют душу от тела. Кровавые берега Немиги (реки) не добром были посеяны, (а) костями Русских сынов... Князь Всеслав судил людей, Князьям (же) уделял города, а сам в ночи оборотившись в волка: рыскал, из Киева дорыскивал, до петухов, до Тмуторокани, великому Хорсу волком путь перерыскивал. Ему в Полотске рано (утром) звонили к заутрене у святой Софии в колокола, а он в Киеве (этот) звон слышал. Хоть и вещая душа в отважном теле, но часто (он) страдал от бед. Ему вещий Боян (и) прежде всего припевку сказал: «Ни ученому, ни ловкому, ни ловкой птице, суда Божия не миновать!»

О, стонать Русской земле, вспоминая прежнее время и прежних князей. Того прежнего (старинного) Владимира нельзя было пригвоздить к Киевским горам! А один из его стягов стали (стягами) Рюриковыми, а другие — Давыдовыми, но врозь развеваются полотнища их (стягов), копья поют на Дунае.

14

Ярославны слышен голос, кукушкою в безвестии рано (утром) кличет: «Полечу, сказала, кукушкою по Дунаю, намочу (бобровый) шелковый рукав в реке Каяле, оботру князю его кровавые раны, на могучем его теле».

Ярославна рано плачет на стене в Путивле причитая: «О, ветер-вихорь! (ветер-ветрило) зачем ты, Государь, бурно веешь? Зачем мечешь стрелы кочевничьи своими легкими крылами на воинов моего милого (мужа)? Разве мало было тебе

веять в вышине под облаками, качая корабли на синем море? Зачем (же), Государь, ты развеял по ковылю мою радость (веселье)?»

Ярославна рано плачет (ся) в городе Путивле на стене (на верху стен у ограды) приговаривая: «О, Днепр-Словутич! Ты пробил каменные горы через землю Половецкую. Ты лелеял на себе ладьи Святослава до войск Кобяковых. Прибаюкай, Государь (Господин) моего милого ко мне, чтоб не посылала я слез к нему на море рано (утром)!»

Ярославна рано плачет в Путивле на стене города, приговаривая: «Светлое и пресветлое (тресветлое) Солнце! Всем (для всех) ты тепло и прекрасно. Зачем, Государь, простер ты свой горячий пламень на воинов мужа? в безводном поле жаждою им луки иссушил, печалью колчаны заткнул.

15

Море зашумело (с) плеском в полночь; пошли темные смерчи; Князю Игорю Бог путь указует из Половецкой земли в землю Русскую, к отцовскому золотому престолу. Зори вечера погасли: Игорь спит... Игорь бдит! Игорь мыслию поля мерит от великого Дона до малого Донца! Овлур свистнул за рекою коня в полночь, Овлур, — дает Князю понять: «Князь Игорь должен бежать (исчезнуть)! «Крикнул, дрогнула земля (подалась земля), зашумела трава, переполошились половецкие шатры (вежи), а Князь Игорь поскакал горностаем к тростникам, а белым гоголем — на воду. Вспрыгнул на борзого коня, и соскочил с него злым волком, и помчался к лугам (лугу) Донца, и полетел соколом под мглами, избивая (себе) гусей и лебедей к завтраку и обеду, и ужину. Когда Игорь соколом полетел, тогда Овлур волком побежал, стряхивая собою студеную росу, — ибо оба уже надорвали своих быстрых коней.

Донец сказал: «Князь Игорь! Не мало тебе славы (величия), а Кончаку досады, а Русской земле веселия». Игорь сказал: «О, Донец! Не мало славы тебе, лелеявшему Князя на волнах, постилавшему ему зеленую траву на своих серебряных берегах, одевавшему его теплыми мглами под сенью зеленого дерева. Стерег ты его гоголем на воде, чайками на струях (течения), чернядьми на ветрах (в воздухе). Не то, что, говорят, река Стугна имеющая дурное течение, поглотила мужей русских и ладьи выбросила на кусты. Юному же Князю Ростиславу

затворила Днепр. На высоком берегу причитает мать Ростислава по юноше — Князю Ростиславу. Уныли от плача цветы, и дерево со скорбию к земле приклонилось».

16

А не сороки застрекотали, (то) по Игореву следу едет Гза(к) с Кончаком. Тогда вороны не каркали, приумолкли галки, сороки не трескотали по ветвям (только) ползали, лишь дятлы стуком путь (Игорю) показывают, соловьи веселыми песнями возвещают рассвет. Молвит Гза(к) Кончаку: «Коли сокол к гнезду летит, расстреляем (мы) соколенка своими золочеными стрелами. Сказал Кончак Гзе: «Если сокол ко гнезду летит, расстреляем (мы) соколенка своими золочеными стрелами. Сказал Кончак Гзе: «Если сокол ко гнезду летит, а мы (опутаем) соколенка красною девицею». И сказал Гза(к) Кончаку: «Если свяжем его красною девицей, (то) у нас не будет ни соколенка, ни красной девицы, и станут нас (тогда) (и) птицы бить в поле Половецком!»

17

Во время Святославово сказал Боян, песнотворец старого времени Ярославова, Ольговой Княжей жене: «Тяжко, ведь, голове без плечь, (а) беда и телу без головы», (так) Русской земле без Игоря!»

Солнце светится в небесах, — Игорь Князь в Русской земле! Поют девицы на Дунае, вьются (их) голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву к святой Богородице Пирогощей. Области рады, города веселы. Певши песнь старым Князьям, а потом (надо) петь и о современных: Слава Игорю Святославичу, Буй-туру Всеволоду, (и) Владимиру Игоревичу! Да здравствуют Князья и дружина, борющиеся за христиан против нечестивых полков! Князьям Слава и дружине! (Аминь).*

Перевел Р. Плетнев

---

* Вероятно, позднейшая вставка.

НАУКА И ИДЕОЛОГИЯ

Ни одно учение не остается неизменным. Чем сильнее ускоряется развитие наук, тем больше стареют, казалось бы, незыблемые положения. Не избег этой участи и марксизм, подправленный Лениным. В «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин, называя ученых экономистов «приказчиками класса капиталистов», а профессоров философии «учеными приказчиками теологов», — дает такие указания: — «Задача марксистов и тут и там суметь усвоить себе и переработать те завоевания, которые делаются этими «приказчиками» (вы не сделаете, например, ни шагу в области изучения новых экономических явлений, не пользуясь трудами этих приказчиков) — и уметь отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться **со всей линией** враждебных нам сил **и** классов».

Так утверждается в науке односторонняя коммунистическая направленность, так признается истинной только одна, своя линия. Так обосновывается то делячество, которое получило в СССР имя **партийности** наук, **партийности** литературы и искусства, **партийности** человеческого мышления, выводов, результатов и пр. Так направляется борьба марксистов-ленинцев с буржуазными учеными, с научными теориями **и** открытиями, так марксисты приходят к осуждению «с классовых позиций» целых наук чем-нибудь не соответствующих марксо-ленинской схеме. Так в СССР ЦК КПСС стал научным судьей **и** арбитром, контролером развития науки и марксизм-ленинизм превратился в критерий истинности всех наук. Некомпетентные диктаторы, вроде Сталина и Хрущева, становились толкователями всех наук и научных открытий, административной силой запрещая или поощряя развитие тех или иных дисциплин.

5 сентября 1931 года вдруг появилось, например, знаменитое постановление ЦК ВКП(б), осуждающее педологию, как

Эту статью Ю. И. Мишалов прислал нам незадолго до своей смерти. Редакция скорбит о потере ценного сотрудника. РЕД.

поповщину и мракобесие и запрещающее ее в СССР. Было и личное выступление И. Сталина с осуждением теории Марра в языковедении. Появлялись и более мелкие решения и постановления регулирующие марксистко-ленинскую чистоту наук. Все это и многое другое, к сожалению, не анекдоты, а действительность. И сейчас, вместо свободного развития наук, вместо необходимой в науке честности, в СССР попрежнему практикуется партийный подход в оценке научных достижений и только ЦК КПСС устанавливает отношение к новым научным течениям, теориям и открытиям, только он определяет, что является действительной наукой, а что мракобесием. Сам марксизм-ленинизм (сокр. — м.-л.) из непроверенной на практике политико-экономической гипотезы превратился в вечное, истинное и непогрешимое учение, независимо от того каковы результаты его внедрения в жизнь в СССР.

Суть современного понятия о материализме и идеализме состоит в том, что признается первичным. Если материя признается первичной по отношению к духу, к сознанию, к психике — это материализм. Если же материя признается вторичной, производной от духа и сознания — это идеализм. Да и в материалистическом м-л существуют внутренние противоречия: 1. Идеальное, бесклассовое, ком. общество никогда в мире еще не реализовалось и, следовательно, **первично** существует только в человеческом сознании, в теории, т. е. в духовной, а не материальной области, — следовательно представляет собой чисто идеалистическое понятие. 2. Диалектический материализм, не без оснований видит все в движении, в развитии и изменении. И только одна марксистская теория остается неизменной.

Объясняя неудачи ком. практики м-л философы приходят к такому интересному выводу: «Очевидно, на каком-то уровне самая абстрактная научная теория теряет самостоятельность и упирается в практику. Для любого этапа практики есть такие логико-математические ситуации, которые будучи теоретически возможными, оказываются практически нереализуемыми, т.-е. не переходящими в действительность». («Коммунист», №2, за 1965 год, стр. 24). Вот такое и получилось с ком. теорией при применении ее на практике. И Л. Брежнев, и А. Косыгин, и Н. Байбаков и все прочие ком. лидеры неумолчно твердят о тех широких **возможностях,** предоставляемых социализмом хозяйственникам и теоретикам, говорят даже о громадном преиму-

ществе социализма над капитализмом в предоставлении этих необозримых возможностей. Все дело только в том, что ни за 51 год экспериментирования, ни в обозримом будущем все эти теоретические возможности социализма практически не реализуются, не переходят в действительность. Именно это и случилось с ком. теорией. При применении на практике она не только не реализовалась, но превратилась в регресс, в тормоз развития науки и культуры. Но коммунистические соловьи попрежнему поют старые песни: «Советская общественная наука, марксизм-ленинизм — это самая передовая политическая наука, ибо она последовательно отстаивает интересы рабочего класса, прямо и непосредственно служит народу, открыто поддерживает все политические силы, борющиеся за демократию, национальное освобождение народов, за социализм и коммунизм». («Коммунист», № 4, за 1965 год, стр. 8).

Выходит, что политическое устремление м-л компенсирует все его провалы на практике, которые пережиты в СССР. Да и все здесь искажено. Интересы рабочего класса в представлении КПСС как небо и земля отличаются от тех, которые сформулировали ком. партии Канады и США на совещании в Праге. Что коммунисты понимают под понятием «народ» тоже величина неизвестная. Как же может КПСС одновременно бороться за абстрактное «национальное освобождение народов», а сама заселила мордовские концентрационные лагеря сотнями украинских интеллектуалов во главе с Черновилом, Гервичем, братьями Горынь, М. Осадчим, Я. Ткачуком и множеством других, обвинив их в национализме. Все эти утверждения партийной пропаганды и лживы и пусты. «Таким образом, все учение м-л, вылитое из одного куска стали, не только неразрывно связано с политикой, но и составляет незыблемый научный фундамент внутренней и внешней политики партии». («Коммунист», № 4, за 1965 г., стр. 9).

К сожалению, это именно так. М-л всей силой КПСС и государственного аппарата внедряется в головы граждан СССР, признается и сейчас единственной, истинной идеологией допускаемой в стране, в которой нормальный диалог противоречивых понятий давно заменен монологом КПСС. «В программе КПСС поставлена большая задача в области идеологии: воспитание всех трудящихся в духе идей коммунизма и принципов ком. морали, формирование научного мировоззрения у всех

труженников советского общества, разоблачение буржуазной идеологии, развитие м-л теории, расширение научных исследований, повышение воспитательной роли литературы и искусства. Решение этих программных задач во многом зависит от глубокого и систематического изучения всеми коммунистами м-л теории, от усиления идейно-политической работы во всех ее звеньях и отраслях». («Коммунист», № 4, 1965 г., стр. 3). Постановление апрельского Пленума ЦК КПСС (1968 г.) только повторяет это программное задание и утверждает, что борьба с буржуазной идеологией **усиливается.**

Проследим теперь на советских материалах и личном опыте вот эту самую «идейно-политическую работу» ЦК КПСС в отрасли развития научных знаний в СССР.

Бурное развитие физики и химии углубило понятие о веществе, перевело изучение физики из классического макромира (обыкновенные физические тела) с его нерушимыми законами в сферу составных элементарных частиц атома, одни из которых существуют без изменения продолжительное время, а другие имеют продолжительность жизни всего в 10^{-13} и 10^{-23} сек. Открыты новые частицы и античастицы, как нейтрино, фотон, целый ряд мезонов, пионы, мюоны и пр. с самыми разными характеристиками массы, заряда, магнитного момента, разных спинов и пр. Все это рождается, гибнет, превращаясь во все новые и новые частицы. Таких элементарных частиц сейчас открыто около ста и это не предел. Попытки как-то систематизировать, упорядочить, распределить по свойствам симметрии, или по другим свойствам не привели пока ни к каким результатам. Пытаются искать какие-то другие более мелкие элементарные и в то же время более фундаментальные частицы, из которых можно было бы вывести состав и свойства всех элементарных частиц. Существует уже гипотеза, что самый элементарный элемент состоит из трех различных субэлементов названных кварками и имеющих одну треть или две трети электрического заряда. Гипотеза эта еще ничем не подтверждена и ни в одной элементарной частице еще не найдено дробного заряда. Самый меньший ее заряд или нуль, или численно равняется заряду электрона и кратных ему зарядов. Все эти открытия поставили классический марксизм перед целым рядом новых, не укладывающихся ни в материалистическую схему, ни в диалектическую триаду явлений и фактов. Марксизм

базировался на уровне классической физики и химии, с их телами неизменной массы, находящихся в ни от чего независимом времени и пространстве с механической причинностью и связями. Все это теперь нарушено. Масса тела стала зависимой от скорости его движения. Материя-вещество вдруг исчезла, превратившись в энергию. Электрон при взаимодействии с позитроном превращается в пару фотонов и наоборот. И тот же электрон самопроизвольно превращается в мю-мезон и пару нейтрино. Развитие физических наук выбило неизменную, только материальную форму м-л науки, показав, что даже элементарные материальные частицы имеют весьма сложные и многосторонние характеристики, часто несводимые.

«Многие наши философы явно отстали от достижений современного естествознания, и поэтому их работы не удовлетворяют естествоиспытателя... Более того, встречаются случаи, когда отдельные наши естественники ставят, по сути дела, вопрос о ревизии основных положений диалектического материализма, якобы в связи с достижениями современного естествознания, пытаясь оправдать это творческим характером марксизма... В нашей философской литературе почти обойдены проблемы, выдвинутые развитием современной ядерной физики... По всем этим вопросам существует много неясностей, достаточно определенные решения еще не найдены, и это отрицательно сказывается на развитии как философии, так и естествознания». («Вестник Акад. наук СССР», № 10, за 1956 г., стр. 5-10).

Был и другой выход. Раз буржуазные науки не укладываются в м-л схему, развиваются не в указанном марксизмом направлении, значит необходимо создать свою пролетарскую науку, в которой все было бы истинным, марксистским. Так как созданы в СССР марксистская социология, марксистская педагогика и психология, марксистская эстетика и пр. так нужно было создать и марксистскую физику и химию. Но таких созидателей, творцов м-л наук не оказалось в СССР. За то под дирижерством неучей из ЦК КПСС нашлось много «разрушителей» развивающейся прогрессивной науки даже в среде «научных» работников СССР. И благодаря этой упорной борьбе они определили то реакционное место, которое по праву занял СССР с его государственной комм. идеологией. Физик А. К. Тимирязев создал в СССР целую школу физиков и философов,

которая с позиций марксизма, в продолжении 30 лет вела бесполезную, реакционную борьбу с теорией относительности и этим — по политическим мотивам — задерживала прогресс физики в стране.

«Напомним, что многолетняя борьба А. К. Тимирязева против теории относительности была основана именно на попытке отождествить **физическое содержание** этой теории с теми идеалистическими ее толкователями, которые в изобилии наслаивались на нее всякого рода «популяризаторами»-идеалистами... Борьбу против теории относительности продолжали позднее вести некоторые физики и философы с тех же по сути дела вульгаризаторских позиций, с каких боролся против нее А. К. Тимирязев. В сороковых и пятидесятых годах особенно отличился в этом отношении А. А. Максимов». («Новый мир», № 1, 1965 г., стр. 223).

Делалось все это с разрешения и по указанию ЦК КПСС. Официально коммунисты относятся ко всякой «небуржуазной» науке с уважением, считают и себя каким-то образом причастными к науке («научный» социализм Маркса) и ожидают от нее рационалистического решения всех жизненных проблем. Беда только в том, что коммунисты навязывают науке решения чуждых ей вопросов, которых она решить не в состоянии. Наука — есть продукт человеческой деятельности и потому самая задача руководить человеком ей чужда. Никакая наука не может решать и решить вопросов религии, морали, философии. Никакая наука, будучи результатом творчества человека не в состоянии подчинить себе его творческий дух. Она только дает знание фактов и явлений, на основании которых человек может прийти к тем или иным выводам. Сделать науку руководящей религией, творчеством и воспитанием человека — это ложные претензии коммунистов к науке. Для них она превратилась в идола, которому они поклоняются и от которого требуют **невозможного.** Но уж если этот идол опровергает в чем-нибудь марксизм, тогда ему не сдобровать. И главная задача ученых в СССР, это найти подтверждение марксизма в новых открытиях и фактах современной науки. Над этим работает целый сонм м-л ученых, философов и пр.

Современная наука, разрушив многие старые, усвоенные понятия, еще не имеет достаточно научных данных, чтобы создать единую, объединяющую разные уровни научную тео-

рию или хотя бы рабочую гипотезу, хотя работа в этом направлении не утихает.

Но современное состояние научных открытий не дает оснований для оптимизма марксистов. Пустое ленинское понятие о неисчерпаемости материи, атома и электрона ничего не говорит конкретному знанию или человеческой мысли. Это утверждение без содержания, не дающее ответа на кардинальные вопросы: где же основа основ и причина всех причин — начало и конец мироздания? Существуют ли они или нет?

«Философы, признающие незамкнутость бесконечного ряда структурных уровней материи, неизбежно приходят к признанию, что основание всех оснований — «последняя причина вещей» находится в «необходимой субстанции», называемой «богом». Материалистическая диалектика исходит из того, что свойства любого материального объекта должны быть объяснены из свойств самой природы, а не извне ее. Это заставляет предполагать, что концы бесконечного ряда структурных уровней, простирающегося вверх и вниз, должны где-то в бесконечности сходиться, подобно тому, как сходятся в бесконечности концы безграничной прямой». («Коммунист», № 7, 1965 г., стр. 87). К такому выводу по необходимости пришел советский философ Г. Свечников. Но нет и не может быть в науке доказательства существования или отсутствия Бога, нет и не может быть науки утверждающей или отрицающей религию. Некое советское «общество» — «Знание», проводящее антирелигиозную пропаганду в СССР будто бы на основании «научных» данных, есть чистая ком. спекуляция на науке. При чем там с действительной наукой, не укладывающейся в м-л схему, поступают просто: «Между тем вульгаризаторы типа А. А. Максимова рассуждали иначе: зачем нам возиться с очищением современных физических теорий от идеалистических высказываний, сделанных по их поводу, когда гораздо проще отбросить самые теории, как якобы идеалистический вымысел? Ведь тогда вместе с отброшенными теориями будут выброшены и связанные так или иначе с ними ложные философские высказывания, причем самым радикальным образом: попробуйте философствовать всерьез по поводу теории, которая объявлена ложной». («Новый мир», № 1, 1965 г., стр. 223).

Квантовую механику в СССР постигла та же участь, что и теорию относительности. Теория квантов тоже не укладыва-

лась ни в какие марксистские представления. Сначала ее начисто отвергли. И только многократные подтверждения на опытах и научное удобство квантово-механической модели атома, заставили, хоть с большим запозданием, признать ее и в СССР. И тогда в ней стали искать подтверждения марксизма: «Когда в двадцатых годах нашего века родилась квантовая механика, то она принесла с собой диалектическую идею неразрывности волновых и корпускулярных свойств материи... Действительно в 1927 году было экспериментально установлено, что пучек электронов обнаруживает не только корпускулярные, но и волновые свойства». (Там-же, стр. 231). Дело в том, что кроме «принципа соответствия» Нильс Бор открыл и «принцип комплементарности», который старательно обходят советские философы.

Этот принцип имеет важное идеологическое и гносеологическое значение и потому советские ученые, признавая часть научных открытий Н. Бора (не «противоречащих» м-л) обходят принцип комплементарности еще и сегодня. Ведь если обыкновенные физические тела обладают столькими, разными, несводимыми воедино свойствами, то какое же оправдание может найти м-л в сведении только к материальному аспекту более сложных — живых организмов и даже человека.

В пятидесятых годах появившаяся на Западе новая отрасль науки — кибернетика — в СССР была объявлена шарлатанством и псевдонаукой. Первоосновы, из которых развилась эта наука были заложены инженерами-рационализаторами Ф. Тэйлором и Г. Эмерсоном. Вначале и в СССР заинтересовались их системой, которую назвали научной организацией труда (НОТ). Был создан Центральный институт труда (ЦИТ), издавался журнал «Организация труда». Руководил этим делом энтузиаст А. К. Гастев. Так было пока ЦК ВКП(б) не обратил своего «марксистского внимания» на это движение. «Но, увы, наступил 1937 год, издательство и журнал были закрыты, ЦИТ передали какому-то ведомству, а А. К. Гастева и многих его помощников репрессировали. А. К. Гастев погиб в лагерях». («Знамя», № 3, 1965 г., стр. 134).

Г. Эмерсон писал: «Напряженная работа и производительная работа — понятия не только разные, но и противоречащие друг другу: работать напряженно — значит употреблять большие усилия; работать производительно — значит достичь цели

с меньшими усилиями». В СССР КПСС приняла установку на напряженную работу, ибо в основе, так называемых, «преимуществ коммунизма» лежит обещанная Марксом бо́льшая производительность рабочих, которые сознательно повысят напряженность «работая на себя, а не на капиталиста». Да и Ленин рекомендовал усилить напряженность труда рабочих путем организации среди них «социалистического соревнования». Поэтому ставка на напряженную работу рабочих и колхозников лежит в самой основе ком. организации труда, с упором на несуществующий «трудовой энтузиазм», сознательность, самопожертвование и пр. мифы. Это установка на ударников, передовиков, стахановцев, бригады ком. труда, с которых остальным предлагается брать пример в выполнении и перевыполнении норм. Государственная установка на максимальные, а не на средние нормы выработки — это и есть направленность на напряженный, тяжелый труд и эта направленность остается и сейчас, при теперешнем ком. руководстве, вопреки его неоднократным обещаниям перейти на «научно-обоснованные» методы работы. Теоретически успехи в научно-обоснованном планировании и управлении единым монопольным хозяйством должны бы быть достигнуты в СССР быстрее и проще. В действительности же все вышло наоборот.

«В США, Англии, Канаде и некоторых других развитых капиталистических странах подобные методы управления производством получили уже полные права гражданства. Большинство крупных строительных фирм иначе и не работает... У нас в Союзе за один год, после той конференции, о которой я упомянул в начале своих заметок (в начале 1964 года, **Ю. М.**), Госстроем СССР проделана большая подготовительная работа по переводу многих крупных строек на новые методы управления». («Знамя», № 3, 1965 г., стр. 142). Такие цитаты показывают, что ученые в СССР прекрасно сознают и оценивают реакционную сущность м-л корректирования и осуждения прогрессивных наук. Они видят, что одной из причин отставания СССР от свободного мира явилось осуждение кибернетики ком. руководством. Мало того, вопреки запрету, многие ученые интересовались этой наукой, изучали ее и развивали, не публикуя своих трудов. Поэтому, как только осуждение кибернетики было ком. партией снято, сразу же появилось много трудов по этой науке, оказались целые группы советских ученых кибернети-

ков, до того работавших тайно в этой области. Но отставание СССР оказалось все же очень большим и вину за это пытаются свалить на других: — «У всех в памяти и более свежие события, когда в пятидесятых годах буржуазной, лженаучной была объявлена кибернетика. В этом были повинны и некоторые философы и некоторые естественники и математики». («Новый мир», № 1, 1965 г., стр. 223). Нет, в этом повинно только комруководство и непосредственно Отдел науки и культуры при ЦК КПСС, давший такую установку и направление. Сами лидеры ком. партии стояли на такой низкой ступени образованности, что в объяснениях специалистов о кибернетике они не были способны увидеть громадного завоевания науки, а только трусливо учуяли угрозу своей власти и м-л теории. В самом деле создадут такую электронную машину, запрограммируют м-л теорию, запустят в машину, а оттуда получат ответ: «глупость». Если такие заявления делали ученые, то для них было достаточно лагерей Севера и Сибири, а машине, что ей сделаешь?

Без кибернетических машин, без правдивой информации ни создавать «научно-обоснованных» планов, ни управлять производством на научном основании невозможно. Только для нучного планирования нужно сделать в СССР столько математических операций, что если бы даже все население СССР посадить за эту работу, то оно за целый год сделает этих математических операций в десять тысяч раз меньше, чем это необходимо (данные сов. кибернетика академика Глушко). Современное развитие кибернетики в СССР ясно показывает всем: какие примитивы руководили страной, пытаясь управлять огромным современным производством с помощью дедовских методов. Но задержать на полтора десятилетия развитие передовой науки они все-таки смогли.

Не меньше вреда принесла стране и длительная борьба коммунистов с развивающейся биологией. В особенности неприемлемым для них было изучение явлений наследственности. Известно, что в 1865 году австрийский монах Грегор Мендель, наблюдая наследственность при гибридизации гороха, сделал открытие, что родительские признаки у потомков расщепляются в отношении 1:2:1. То-есть на одного потомка с признаками одного родителя приходится два потомка со смешанными признаками и один с признаками другого родителя. В 1901

году Де-Фриз вывел свою теорию о мутациях. Вейсман создал учение о наследственном веществе. И в 1911 году Морган объединив все эти данные создал хромосомную теорию наследственности. Так началась революция в биологии, так развивалась ее отрасль — генетика. Естественно, что ком. лидеры ничего не хотели слышать о наследственности. Ведь выходило, что пролетариат с худшей наследственностью не сможет стать классом-руководителем. И ЦК КПСС прикладывал все усилия, чтобы опровергнуть генетику, принуждал ученых **видеть** не то, что есть, а что хотелось бы коммунистам по их учению. «Идеализм ухватился и здесь не за упадок и застой, не за тупиковые течения в науке, а за прогресс науки, за ее успехи и достижения, на которых он и начал усердно паразитировать». («Новый мир», № 1, 1965 г., стр. 228).

За упадок и застой, за тупики и регресс ухватились ком. ученые по заданию ком. партии. Их защитой пользовался регрессивный м-л, предрешивший реакцию в биологических науках. Ученый биолог К. А. Тимирязев (отец А. К. Тимирязева-физика) возглавил борьбу с прогрессом в биологии. «Причина того почему К. А. Тимирязев не разглядел по существу ничего положительного и ценного в новых концепциях в биологии, как мне кажется, коренилась в их антидарвинской направленности. Борьбу против Дарвина... он считал доказательством полной антинаучности самых новых биологических концепций, повидимому, носивших в себе антидарвинское начало». («Новый мир», № 1, 1965 г., стр. 229). Важно, конечно, не объяснение почему он стал реакционером, а самый факт и причины реакционности ком. ученых.

Если длительный период научной борьбы с генетикой возглавлялся К. А. Тимирязевым, ученым с мировым именем, то второй период борьбы марксистов с научной генетикой возглавил Трофим Денисович Лысенко, произведенный в академики, даже не имея высшего образования. Но настоящих научных споров об этом даже не потребовалось. «После августовской сессии ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина) 1948 года вопросы биологии были произвольно превращены в чисто политические, и борьба с инакомыслящими велась здесь с не меньшим ожесточением и теми же по сути дела способами и средствами, как и в области политики. Такое же наклеивание порочащих ярлыков на не-

угодные воззрения, такая же расправа с представителями неугодных направлений в науке, такое же преследование честных людей, единственная «вина» которых состояла в их несогласии со взглядами академика Лысенко и его последователей, которые именовали себя «мичуринцами». Достаточно было кого-либо из ученых, даже не биологов, окрестить морганистом-вейсманистом-менделистом, как отпадала автоматически необходимость подтверждать выдвигаемые против него обвинения научными аргументами, а у того, кого обвинили в смертном грехе морганизма-вейсманизма-менделизма, немедленно и столь же автоматически исчезала возможность защищать свои взгляды, доказывать их, приводить в подтверждение их какие-либо факты и теоретические доводы». («Новый мир», № 1, 1965 г., стр. 213).

На этой сессии КПСС, используя неуча Лысенко, объявила научную генетику буржуазной лженаукой, метафизикой, мракобесием, поповщиной и пр. Политическими и административными мерами было покончено с наукой и учеными. Академик Вавилов и его последователи были сосланы в концлагеря, где и погибли. А сессия ВАСХНИЛ принесла огромный вред науке: на 15 лет дала ложную ориентацию биологам. Так неучи в науке, вместе с неучами в руководстве КПСС покончили с генетикой и подменили ее тем, что назвали «советским творческим дарвинизмом». Под ним понималась «сумбурная смесь, составленная из обрывков неоламаркистских и антиэволюционистских (внезапные «порождения» одних видов другими!) воззрений, перемешанных с изрядной долей натурфилософских домыслов». (Там же, стр. 231). Лысенковцы писали: — «Мичуринская биология и, в частности, теория стадийного развития растений, разрабатывалась в непримиримой борьбе против вейсманистских лжеучений, проповедуемых группой советских биологов, потерявших связь с народом. Эти биологи представляли антинаучное, антинародное течение вредное для Родины. Мичуринская биология — прогрессивное научное течение, вытекающее из патриотического служения интересам Родины».

Все эти ярлыки и заклинания против неугодных ком. власти ученых и научных открытий, напоминая худшие периоды средневековья, были не в состоянии остановить прогресса науки за рубежом, но задержать на десятилетия развитие биологии в своей стране они оказались способны. После долгой,

упорной, кровавой борьбы м-л запреты сняты. Полная сумятица и неразбериха царит в СССР в экономических науках. Главное в том, что все их предсказания и прогнозы не осуществились в СССР в течение полустолетия. Нужно всему этому найти какую-то причину, нужно все это каким-то наукообразным способом объяснить и возродить надежду, что в следующем полустолетии все будет соответствовать «творческому» м-л, подправленному соответствующей обстановкой. «Очевидно, было бы неверно отрицать некоторое отставание исторического материализма от хода времени, от запросов общественной жизни и гуманитарных наук». («Коммунист», № 4, 1965 г., стр. 66).

Главную причину отставания пытаются найти в том, что: «медленно преодолевается взгляд на общие законы и категории исторического материализма как на законченные, неизменные начала». (Там же). Пытаются объяснить и тем, что: «научные традиции марксизма были извращены и предавались забвению в период культа личности Сталина». (Там же). Со дня его смерти прошло много лет. Уже нет и Хрущева, со своей порцией обвинений в методологических прегрешениях, а м-л науки в том же положении. Очевидно, дело вовсе не в них. Далеко не все марксистское сопротивление развитию наук и отрицание новых теорий и открытий **уже в прошлом.** Та же установка существует и в настоящем, фальсифицируется наука и сейчас и подгоняются нужные данные и эксперименты под м-л нужды и потребности. Для примера возьмем социологию. В свободном мире без нее не обходится ни одна крупная компания, ни одно солидное частное или государственное предприятие. Анализ современных общественных процессов стал неотъемлемой частью управления и руководства. Только научные социальные исследования могут дать объективный ответ о результатах самых различных мероприятий. Ленин, даже самое возникновение научной социологии приписывает Марксу: «материалистическое понимание истории, открытое Марксом, впервые создало возможность научной социологии». Но возможности возможностями, а научными социологическими исследованиями никто в СССР серьезно не занимается. «До сих пор социальные, в том числе конкретно-социологические исследования не стали еще необходимой составной частью научного руководства общественным развитием в нашей стране». («Коммунист», № 1, 1965 г., стр. 16).

Там занимались прямо противоположным делом: устанав-

ливали генеральную линию КПСС не на основании изучения конкретного положения в промышленности или в сельском хозяйстве, а на основании теории м-л проводили «политически оправданные» мероприятия. Такие, к примеру, как ликвидация НЭП'а или коллективизация проводились не на основании конкретных социальных исследований и изучения положения на местах, а на основании цитат из сочинений марксистов, на основании политического плана построения социализма и коммунизма в одной стране. В любое время нормальные социальные исследования неотвратимо показали бы убийственные, отрицательные результаты этих, да и многих других, ком. мероприятий и опытов. Эти результаты, даже без исследований, бросались в глаза любому наблюдателю. В таких условиях проводить социальные исследования, значило бы обвинить ком. власть в преступлениях против своего народа. Статистическая перепись 1936 года показала **колоссальную убыль** населения СССР по сравнению с переписью 1926 года, как результат ком. экспериментов 10-летнего периода. Постановлением ЦК КПСС перепись 1936 года была ликвидирована, а ее руководство покарано. Новая перепись в 1937 году предусматривала троекратную перепись людей: до́ма, в пути и на работе. Сфальсифицированная, она дала КПСС нужные ей пропагандные цифры. Как же сейчас проводятся конкретные социальные исследования в СССР? Во-первых, снова признают отставание: «пока еще ни масштабы, ни в особенности глубина проводимых социальных исследований не отвечают требованиям жизни». («Известия», 8 июня 1968 г.).

В решениях 23-го съезда КПСС записано, что большую роль играют **только** исследования, «основанные на материалистическом понимании истории и обобщающие конкретные факты жизни советского общества». Остальные, в особенности общие темы социальных исследований, закрыты для сов. социологов. «Социолог-марксист должен учиться этому умению видеть в массе явлений такие, которые особенно ценны для развития комм. начал жизни». («Коммунист», № 1, 1965 г., стр. 15). И только такие. Сравнение эфективности общественного производства или производительности труда рабочих в ком. странах и странах свободного мира исключается. Разрешается сравнивать только в «нашей стране». И это по марксистским утверждениям самое важное и решающее.

Сейчас в СССР для социальных исследований берут толь-

ко темы служебные для ком. мероприятий. Таковы темы: расстановка высшего и среднего руководящего состава, аспекты использования новых форм экономического стимулирования, аспекты занятости в условиях научно-технического прогресса, проблема использования высвобождающейся рабочей силы и т. п. Еще более партийные темы социальных исследований, направленных на будущее — это все темы так называемого комм. строительства: о внутренней структуре рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, о регуляторах **сближения** классов и слоев советского общества, о социально-психологических основах растущей **общности** наций и пр. Все это плавание в облаках будущего вместо конкретного исследования. Вместо общего социального вопроса о **свободе** личности в современных странах, темы ком. социальных исследований ограничиваются проблемой **формирования и развития личности** на данном этапе ком. строительства. «И самое главное: четкое понимание целей исследования. Социальное исследование как раз и должно отличаться от любого другого своим действенным характером, своими выводами и рекомендациями». («Известия», от 8 июня 1968 года).

Это совершенно верно, если целью является выявление объективной истины. Вся беда только в том, что в социальных исследованиях в СССР: «вся его суть — в оказании помощи практике для лучшего решения тех или иных **задач комм. строительства».** (Там же). Такими партийными задачами ограничиваются и сейчас социальные исследования в СССР, сводя социологию, как науку, к роли служанки коммунизма. «Вопрос о необходимости развития конкретных социальных исследований был поставлен в нашей печати еще в середине 50-х годов». (Там же). И вот с **опозданием на 13 лет,** «как наглядное свидетельство заботы нашей партии о развитии новых научных направлений», сейчас в системе Академии наук организуется Институт конкретных социальных исследований.

Проводится партийность в литературе и искусстве. Это тоже задача фальшиво изображать действительность и будущее, подделываясь под ком. потребности.

Сейчас приводится иногда запоздалое признание в **ошибочности и вредности** прошлой борьбы м-л с прогрессом науки. Но это ничего не значит. Новый этап борьбы и сейчас сквозит в партийном подходе к теориям современной науки. Даже в

разоблачительных статьях нет упоминания о принципе комплементарности. В них новые данные пытаются подогнать под наперед заданную схему м-л. Сваливают попрежнему вину на отдельных лиц, вместо осуждения главного — м-л теории. Все это значит, что до действительного осуждения прошлого и настоящего еще не дошли. А в последнее время о нем просто молчат, как молчат и о культе личности. Реакция началась с «юбилейных» празднеств и дальше все усиливается. Установка апрельского Пленума ЦК КПСС (1968 г.) на формирование ком. убеждений у своих граждан, на повышение идеологической бдительности, на борьбу с «буржуазной» идеологией — все это возврат к старому. Все это повторение прошлого. Вот почему и важно на него сейчас оглянуться. Каким оно было?

Юрий Мишалов

Б. Г. УНБЕГАУН

23-го августа 1968 г. исполнилось 70 лет выдающемуся слависту Борису Генриховичу Унбегауну. Эта дата была отмечена в научных кругах Европы и Америки, в которых имя Б. Г. известно, начиная с 30-х годов, как имя одного из лучших специалистов по истории русского языка, русской исторической лексикологии и семантике. Б. Г., бывший долгие годы профессором славянской филологии в Брюссельском и Страсбургском университетах и занимавший с 1953 по 1965 г. кафедру сравнительной славянской филологии в университете в Оксфорде, стяжал себе известность превосходными исследовательскими трудами, печатавшимися на главных европейских языках в лучших издательствах Европы и в ведущих славистических журналах Англии, Франции, Бельгии и Германии. В течение своей многолетней педагогической деятельности профессор Унбегаун заслужил уважение и признательность многочисленных коллег и учеников, которые в свою очередь заняли кафедры славистики, содействуя ее распространению за границей. Два юбилейных сборника, вышедших в Брюсселе и в Нью-Иорке, в связи с семидесятилетием Б. Г. и содержащих ряд интересных исследований видных специалистов-славистов Европы и Америки, красноречивее всего говорят о том месте, которое занимает профессор Унбегаун среди своих коллег и учеников. Некоторые биографические и библиографические данные о Б. Г. помогут лучше понять и осветить его роль в области славянского языковедения.

Б. Г. Унбегаун родился в Москве, где окончил гимназию при Реформатской церкви и получил аттестат зрелости в 1916 году. Поступив в том же году в Московский Институт Инженеров Путей Сообщения, Б. Г. пробыл в нем только один семестр. В феврале 1917 г. Б. Г. стал юнкером Константиновского Артиллерийского Училища в С.-Петербурге и в том же году был произведен в офицеры. Б. Г. принимал участие в Первой мировой войне на румынском фронте, а после октябрьской рево-

люции — в гражданской войне на юге, в составе Белой Армии, где был дважды ранен. После эвакуации из Крыма, несмотря на трудные условия, Б. Г. решил продолжать свое образование и поступил в 1922 г. в Люблянский университет, бывший тогда в периоде своего расцвета. С 1922 по 1924 г. Б. Г. учился там у таких известных славистов как проф. Р. Нахтигаль, Ф. Рамовш, Ф. Кидрич и И. Приятель. В 1924 г. Б. Г. переехал в Париж и поступил в Сорбонну и в Национальную Школу живых восточных языков, получив американскую стипендию для помощи русским студентам. Там его профессорами были знаменитые индо-европеисты А. Мейе, Ж. Вандриэс и слависты П. Буайе, А. Мазон и А. Вайан. В 1925 и в 1926 гг. Б. Г. получил диплом Национальной Школы живых восточных языков по сербо-хорватскому и чешскому языкам. В 1926 г. Б. Г. был удостоен степени Licencié ès-Lettres, а в 1935 г. — степени Docteur ès-Lettres Сорбонны. С 1925 по 1937 г. Б. Г. был библиотекарем Института Славяноведения в Париже, а в 1936 г. был приглашен профессором в Институт Восточной и Славянской Филологии и Истории Брюссельского университета. Б. Г. занимал этот пост до 1953 г. В 1968 г. ему было присвоено звание заслуженного профессора этого университета и поднесена университетская медаль. В 1937 г. Б. Г. был избран профессором Страсбургского университета. Совмещение этих двух постов требовало постоянных поездок из Страсбурга в Брюссель. Во время Второй мировой войны, когда Страсбургский университет был эвакуирован в центр Франции, в Клермон-Ферран, Б. Г. был арестован в 1943 году Гестапо вместе с несколькими другими профессорами и отправлен, как политический заключенный, в концентрационный лагерь в Бухенвальд, где пробыл до мая 1945 г., когда был освобожден американскими войсками. Несмотря на чрезвычайно тяжелые условия в этом страшном лагере, Б. Г. остался и тут верен своему научному призванию, сделав интересные наблюдения над языком заключенных, опубликованные впоследствии в специальной статье.[1]

Начиная с 1948 г. Б. Г. регулярно ездил из Страсбурга в Оксфорд читать курсы по славистике, а в 1953 г. окончательно переехал в Оксфорд, заняв специально для него созданную кафедру сравнительной славянской филологии. В 1965 г. Оксфордский университет дал ему, за совокупность его научной деятельности, степень D. Litt. В том же году, выйдя в отставку,

Б. Г. принял приглашение занять кафедру славянской лингвистики в Нью-Иоркском университете, где и продолжает свою преподавательскую и научную деятельность.

Уже с 1938 г. Б. Г. стал получать приглашения читать курсы лекций в американских университетах: в Колумбийском, Иельском и Нью-Иоркском. Летом 1967 г. неутомимый профессор Унбегаун преподавал в Австралийском Национальном университете в Канберре и в университете в Крайстчерч, в Новой Зеландии. За долгие годы своей академической карьеры Б. Г. читал курсы по сравнительной славянской филологии, славянской библиографии, древне-церковнославянскому языку, по грамматике и истории русского, сербо-хорватского, чешского и польского языков, русской исторической лексикологии и семантике, истории русского литературного языка и русской метрике.

Кроме того, Б. Г. прочел многочисленные эпизодические лекции на разные славистические темы в более чем пятидесяти университетах Европы, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Эту широкую педагогическую деятельность Б. Г. всегда совмещал с интенсивной исследовательской работой преимущественно в области истории русского языка (морфология, словарный состав и семантика, история русского литературного языка), русской метрики и ономастики. Плодом этой работы явились многочисленные публикации, число которых достигает 400 (см. библиографию Б. Г. в Брюссельском юбилейном сборнике). Все труды профессора Унбегауна отличаются чрезвычайной ясностью мысли и изложения, предельной сжатостью и педантичной точностью подлинного ученого. Из огромного числа публикаций Б. Г. прежде всего следует выделить такой основной его труд, как книга о языке Московской Руси, в которой автор исчерпывающе излагает при помощи новых научных методов историческое развитие русского склонения, пользуясь обильным и конкретным материалом. Все, кто занимается вопросами исторической морфологии, неизменно ссылаются на эту основательную, обширную и сугубо научную работу,[2] не имеющую себе равной в области глагола. Русская грамматика на французском и английском языках[3] — настольная книга студентов и преподавателей в разных странах, так как она содержит все самое основное и главное, что надо знать для понима-

ния живого русского языка. Б. Г. обладает редким талантом отбирать только самое важное, отбрасывая бесчисленные детали, которые часто бесполезно загромождают другие учебники. Кроме того, на семи страницах введения к этой грамматике автор в ясной и сжатой форме объясняет происхождение русского литературного языка, прошедшего почти тысячелетний путь сложного развития. То же можно сказать о русской версификации на английском и французском языках,[4] небольшой компактной книжке, которая поистине «томов премногих тяжелей». На пяти страницах введения в ней дана в главных чертах история русского стихосложения. Выбор стихотворных примеров свидетельствует о тонком литературном вкусе автора. Обе книги снабжены ценной выборочной библиографией. Б. Г. всегда интересовался развитием литературных языков других славянских народов и еще в 1935 г. написал научный труд о начальном периоде сербского литературного языка.[5] Как известный специалист по славянской библиографии профессор Унбегаун составил каталог славянских периодических изданий парижских библиотек,[6] а затем библиографический указатель по русскому языку.[7] Кроме того, его перу принадлежит отдел о языке в обширной аннотированной библиографии русских и советских публикаций[8] и в такой же книге, посвященной западно-европейским публикациям.[9] В течение многих лет Б. Г. составлял библиографические обзоры публикаций по восточнославянским языкам для "Revue des Etudes Slaves". Его содержательные и краткие статьи и рецензии на книги по славянской лингвистике печатались на французском, английском, немецком и русском языках во всех ведущих славистических журналах. Меньше всего публикаций на русском языке. Приходится пожалеть, что книги и статьи профессора Унбегауна, написанные с проницательной и тонкой наблюдательностью объективного и свободного ученого еще не переведены на русский язык. В недалеком будущем в Оксфорде выйдет на английском языке большая книга Б. Г. о русских фамилиях, которыми автор издавна интересовался. Свою научную деятельность Б. Г. начал с работ по исторической морфологии русского языка, но с течением времени интересы юбиляра все больше и больше сосредотачивались в двух областях: с одной стороны — история словарного состава русского языка, где внимание автора больше всего привлекала терминология,

связанная с культурой и историей народа, с другой стороны — вопрос происхождения и развития русского литературного языка, в котором Б. Г. не придерживается теорий, царящих в Советском Союзе.[10] Б. Г. интересовался также религией древних славян и написал об этом солидное исследование на французском языке.[11]

Многолетняя педагогическая деятельность Б. Г. побудила его издать «Повести Белкина»[12] для начинающих изучение русского языка. Критическое литературное введение (позже переведенное на голландский язык), точный русско-английский словарь и особенно драгоценные многочисленные примечания полезны не только студентам, но и многим преподавателям. Б. Г. с большим вкусом издал также грамматику Людольфа[13] и написал по-немецки предисловие к трем русским грамматикам 18-го века, издающимся сейчас в одной из серий профессора Чижевского.[14]

Б. Г. часто принимал участие в международных конгрессах, на которых выступал с докладами. Он был участником всех съездов славистов, начиная с первого, в Праге, в 1929 г., конгрессов посвященных лингвистике, ономастике, византиноведению, славянской истории, конгрессов Международной Федерации современных языков и литератур и др.

За свою выдающуюся научную деятельность Б. Г. был избран членом Бельгийской Королевской Академии, членом Академии Наук в Майнце, членом Лингвистического Общества в Париже, Филологического Общества в Лондоне, Индогерманише Гезельшафт и разных других научных обществ. Кроме того, Б. Г. состоит членом правления Института Славяноведения в Париже и членом правления Русской Академической Группы в США. Профессор Унбегаун был награжден командорским крестом бельгийского Ордена Короны и является кавалером Почетного Легиона и Ордена Леопольда.

В свете всех этих научных заслуг неудивительно, что семидесятилетие Б. Г. вызвало такой отклик в кругах специалистов по славистике и смежным дисциплинам. С инициативой выпуска юбилейного сборника в честь Б. Г. выступил сначала Институт восточной и славянской филологии и истории Брюссельского университета, где Б. Г. стал профессором раньше чем в других университетах. На эту инициативу откликнулись видные ученые Франции, Германии, Венгрии, Югославии, Фин-

ляндии, Польши, Израиля, Италии, Норвегии, Швеции, Румынии и Чехословакии. В сборнике приняли участие также известные слависты из Советского Союза, как например, О. С. Ахманова, П. Н. Берков, С. Б. Бернштейн, В. И. Борковский, академик В. В. Виноградов, В. В. Иванов, П. С. Кузнецов и Ф. П. Филин. Сборник статей под ред. проф. К. Баквисс разросся до двух томов (799 стр.[15]), причем во втором помещены отдельно статьи бельгийских коллег и учеников Б. Г. Статьи в какой то мере отражают интересы юбиляра и среди них не мало таких, в которых сделаны ценные научные открытия. Они посвящены истории славянских языков, вопросам фонетики, морфологии и синтаксиса разных славянских языков, славянской литературе и поэтике, семантике, этимологии, мифологии, кончая астрономической ономастикой и собачьими именами в русской литературе.

Второй юбилейный сборник статей в честь профессора Унбегауна вышел в декабре 1968 года в Нью-Иорке, в издательстве Нью-Иоркского университета и включает статьи коллег, учеников и друзей Б. Г. из англо-американских стран. Сборник издан под редакцией профессоров Р. З. Магидова (Нью-Иоркский университет), Ю. В. Шевелева (Колумбийский университет), Дж. С. Г. Симмонса (Оксфордский университет), К. Ф. Тарановского (Гарвардский университет) и Дж. Е. Аллена (Нью-Иоркский университет), секретаря редакционной коллегии.[16] В этот сборник вошли статьи видных представителей главных университетов США, Англии и Канады. Статьи посвящены вопросам славянской лингвистики и поэтики и представляют, как и статьи Брюссельского сборника, большой научный интерес для специалистов. Этот сборник был вручен профессору Унбегауну на торжественном обеде в его честь 27-го декабря 1968 г. в Нью-Иорке, на котором присутствовали его жена, дочь и зять, его коллеги, ученики и почитатели. Среди приветствий следует выделить содержательную речь Ю. В. Шевелева, давшего высокую оценку научных трудов юбиляра.

Кроме этих двух сборников, Оксфордское университетское издательство, в ознаменование юбилея, издало сборник избранных статей проф. Унбегауна, в который вошли 26 исследований, написанных им с 1929 по 1965 год.[17] Профессору Унбегауну были посвящены также очередные выпуски канадской славистической библиографии[18] и славистического журнала

Мельбурнского университета,[19] где Б. Г. читал лекции летом 1967 г. Борис Генрихович не только неутомимый труженик, но и любознательный путешественник. Пожелаем ему, чтобы его творческая научная и педагогическая деятельность продолжались еще многая лета!

Валерия Филипп

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] "Les argots slaves des camps de concentration"; Mélanges, 1945, V, Etudes linguistiques (Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, 108).

[2] La langue russe au XVIème siècle (1500-1550). I. La fiexion des noms, Paris, 1935, 480 pp.

[3] Grammaire russe, Paris-Lyon, 1951. Russian Grammar, Oxford, 1957, 1960.

[4] Russian Versification, Oxford, 1956, 1963. La versification russe, Paris, 1958.

[5] Les débuts de la langue littéraire chez les Serbes, Paris, 1935.

[6] Catalogue des périodiques slaves et relatifs aux études slaves des bibliothèques de Paris, Paris, 1929.

[7] A Bibliographical Guide to the Russian Language, Oxford, 1953.

[8] "Language": Basic Russian Publications. An Annotated Bibliography on Russian & the Soviet Union, Paul L. Horesky Ed., Chicago, 1962.

[9] "Language": Russia and the Soviet Union. A Bibliographic Guide to Western-Language Publications, Paul L. Horecky Ed., Chicago & London, 1965.

[10] «Язык русской литературы и проблемы его развития» — доклад, прочитанный проф. Унбегауном на VI Международном Съезде Славистов в Праге в 1968 г.

[11] La religion des anciens Slaves, "Mana": Introduction à l'histoire des religions, tome 2: Les religions de l'Europe ancienne, III (Paris), 1948.

[12] A. S. Pouchkine: Les Récits de feu Ivan Pétrovitch Belkine. Povesti pokojnogo Ivana Petroviča Belkina. Texte russe accentué avec une introduction et des notes par B. O. Unbegaun, Mâcon, 1943, 1956. A. S. Pushkin: Tales of the late Ivan Petrovich Belkin. Povesti pokojnogo Ivana Petroviča Belkina. Edited by B. O. Unbegaun, Oxford, 1947, 1960, 1964.

[13] Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica Russica, Oxonii, A. D. MDCXCVI. Edited by B. O. Unbegaun, Oxford, 1959.

[14] Грамматики И. Копиевича (1706), В. Адодурова (1731) и М. Гренинга (1750).

[15] Université Libre de Bruxelles. Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves, tomes XVIII-XIX, Dédiés à Boris Unbegaun, Bruxelles, 1968.

[16] Studies in Slavic Linguistics and Poetics in Honor of Boris O. Unbegaun. New York University Press, 1968.

[17] Selected Papers on Russian and Slavonic Philology, Oxford, 1968.

[18] Slavica Canadiana, A. D. 1966, Winnipeg, 1967.

[19] Melbourne Slavonic Studies. Number 2, 1968.

МАРТОВ И ЛЕНИН

ПО ПОВОДУ АНГЛИЙСКОЙ КНИГИ О Ю. МАРТОВЕ*

В этом году исполнилось сорок пять лет со дня смерти известного лидера российской социал-демократии, публициста Юлия Осиповича Цедербаума, писавшего под псевдонимом Л. Мартов. На английском языке в издательстве Кембриджского университета вышла его подробная биография, которая является ценным вкладом в историю российской социал-демократии и обеих русских революций. Автор книги, проф. Гетцлер, рассказывает о детстве Мартова, о его юности, о начале его революционной работы, когда в 1892-м году студент Мартов был впервые арестован, вскоре выпущен на свободу, но из университета был исключен. В том же году Мартов, впервые прочитавший «Капитал» К. Маркса и нелегальные произведения Г. Плеханова, окончательно определился как марксист и вступил в контакт с членами петербургского с.-д. кружка, который вел пропаганду среди рабочих. Вскоре Мартов был опять арестован и, просидев пять месяцев в «Крестах», был присужден к двум годам ссылки. Ему разрешили выбрать место ссылки, кроме столиц и университетских городов. Он выбрал Вильно, где существовали тогда активные с.-д. рабочие кружки. В Вильно на нелегальном первомайском собрании в 1895-м году, где присутствовало десятка четыре рабочих, Мартов произнес речь, в которой говорил о необходимости для еврейских социал-демократов, работающих среди евреев, создания особой еврейской рабочей организации, которая бы руководила еврейским рабочим движением. Мартов тогда фактически формулировал идеологию еврейских социал-демократов Литвы и Польши, которая в 1897 году создала «Всеобщий Еврейский Рабочий Союз в Литве, Польше и России», позже получивший название «Бунд». Интересно отметить, что позже Мартов стал ярым про-

---

* Martov, A Political Biography of a Russian Social Democrat. By Israel Getzler. Cambridge University Press, 1968.

тивником «Бунда». В 1895 году, когда кончился срок ссылки, Мартов вернулся в Петербург и здесь вскоре познакомился и сблизился с Лениным и членами его кружка. Ими был основан Петербургский Союз Борьбы за Освобождение Рабочего Класса.

Вскоре после основания этого Союза, в начале января 1896 года, Мартов, Ленин и другие его участники были арестованы и, до объявления решения по их делу, просидели в петербургском Доме предварительного заключения около года. Все они были приговорены к ссылке на три года в Сибирь. Мартова отправили в Туруханский край, а Ленина и других — в Енисейскую губернию.

В 1900 году срок ссылки Мартова, как и Ленина и их ближайшего товарища А. Н. Потресова, кончился. В конце марта 1900 года Мартов поехал в Псков, куда раньше него приехали Ленин и Потресов. Здесь они организовали встречу и открытые переговоры с представителями, так называемого, «легального марксизма», Петром Струве, М. Туган-Барановским и В. Богучарским. Струве и Туган-Барановский были тогда виднейшими марксистами в России, но «ревизионистами». Мартов вначале был против объединения и даже тесного сотрудничества с ними. Мартов хотел тесного сотрудничества социал-демократов в России только с членами «Группы Освобождения Труда» — Плехановым, Аксельродом и Верой Засулич, которые жили за границей. Но под влиянием Ленина и Потресова Мартов согласился на заключение договора между их группой и представителями «легального марксизма» о сотрудничестве последних в газете «Искра» и в журнале «Заря», которые должны были скоро выйти заграницей. Ленин и Потресов, а потом и Мартов дали даже свое согласие на то, чтобы «легальные марксисты» были признаны представителями «особого течения» РСДРП, которая официально была основана в 1898 году на нелегальной конференции в Минске. Автором первого манифеста РСДРП был Петр Струве. Но против соглашения, заключенного Лениным, Потресовым и Мартовым с представителями «легального марксизма» резко выступил Плеханов. И дело кончилось тем, что соглашение с «легальными марксистами» было расторгнуто. Однако, в первых номерах «Искры» еще были статьи П. Струве.

Когда в Лейпциге вышел первый номер «Искры», Мартов еще был в России. Фактически редактором «Искры» был тогда Ленин, но уже в первых номерах «Искры» появились и статьи

Мартова, которые сразу обратили на себя внимание. По приезде заграницу, Мартов стал активным членом редакции «Искры» и писал почти в каждом номере. По отзывам даже его противников, Мартов был самым талантливым публицистом «Искры». Ленин был в восторге от статей Мартова и от самого Мартова, которого он очень полюбил. Мартов был единственным из социал-демократов, с которым Ленин был на «ты». И до конца жизни Ленин был высокого мнения о Мартове, как писателе и человеке. Об этом говорят в своих воспоминаниях о Ленине М. Горький и Н. Крупская. Мартов, хотя и признавал тогда, что сильное либерально-демократическое движение является существенным элементом в борьбе за политическую свободу, но сильная, последовательно-революционная партия, по его мнению, была еще более необходима для революции, во главе которой станут социалисты, а не буржуазные либералы. На этой точке зрения стоял и Ленин.

Но уже в конце 1902 г. между Мартовым и Лениным возникли разногласия. Проф. Гетцлер, автор книги о Мартове, пишет: — «Есть некоторые доказательства, что Мартов еще до второго съезда РСДРП расходился с Лениным во взглядах относительно характера организации партии, что надлежало определить на втором съезде. В статье, которую Мартов напечитал в польском с.-д. журнале Розы Люксембург в апреле 1903 года, он поставил основной организационный вопрос социал-демократии в России: как соединить необходимость соблюдения строгой конспирации в партийной работе с созданием с.-д. партии рабочих масс на широком базисе. И еще до съезда он собирался выступить против предложенной Лениным системы выборов в центральные учреждения партии».

На втором съезде Мартов впервые открыто выступил против Ленина и сформулировал организационные принципы, ставшие отличительным признаком **меньшевизма.** Партия, настаивал Мартов, не должна быть организацией лишь «профессиональных революционеров». Социал-демократы должны всеми силами стараться вовлечь в свою партию передовые элементы рабочих масс. Для Ленина же членом партии мог быть только революционер, а партия — это организация элиты профессиональных революционеров.

На съезде Ленин как-будто одержал победу, но очень скоро, уже в конце 1903 года обнаружилось, что «Заграничная

Лига Российской Социал-Демократии» и газета «Искра» оказались под контролем меньшевиков. В Совете партии Ленин тоже оказался в меньшинстве, а большевицкие члены ЦК партии заняли «соглашательские» позиции.

Профессор Гетцлер пишет: — «Мартов мог тогда изгнать Ленина из партии, если бы он этого хотел. Но Мартов не был заинтересован в победе по ленинскому образцу. Он хотел восстановить единство в партии и исправить вред, нанесенный попыткой Ленина захватить в свои руки всю власть в партии. Мартов надеялся, что, под контролем высших учреждений партии, Ленин сможет быть ценным сотрудником. Но он ошибся...»

Тогда Мартов порвал и всякие личные отношения с Лениным. Он не только потерял всю прежнюю дружескую привязанность к нему, но почувствовал к нему сильное отвращение и всю свою жизнь он не мог себе простить, что так долго давал Ленину возможность использовать его для ленинских целей.

Мартов порвал с Лениным, но Ленин все-таки всю жизнь продолжал владеть умом Мартова. Несмотря на крайне резкое расхождение с Лениным почти по всем политическим и тактическим вопросам, Мартов все же не переставал мечтать об объединении меньшевиков с большевиками в единую с.-д. партию.

Когда в 1914 г. вспыхнула мировая война, Мартов был заграницей. Он был ярым противником войны и противником защиты отечества. Он агитировал за немедленный мир без аннексий и контрибуций. В качестве лидера меньшевиков-«интернационалистов» он вместе с Лениным и Троцким участвовал в конференциях социалистов-интернационалистов в Циммервальде и в Кинтале. Он, как и Ленин и Троцкий, резко нападал на Плеханова и других так называемых «социал-патриотов» русских и европейских, но в то же время Мартов был противником ленинского лозунга — «превращения империалистической войны в гражданскую».

После февральской революции Мартов вернулся из заграницы в Петербург. Как и Ленин, Мартов был в оппозиции не только к Временному Правительству, но и к руководителям меньшевистски-эсэровского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, и к лидерам меньшевиков, которые были «революционными оборонцами». Однако, Мартов был противником большевицких планов захвата власти, противником гражданской войны. Он считал, что спасти революцию и демократию может

только правительство, составленное из представителей всех социалистических партий, от большевиков до народных социалистов включительно.

Мартов прекрасно знал цену ленинскому «пацифизму». В марте 1917 года Мартов в разговоре с И. Церетели иронически оттенял противоречие между политическими взглядами Ленина, считавшего продолжение войны полезным для революции, и его демагогической агитацией в массах, где он проповедовал необходимость немедленного прекращения войны. — «Для Ленина, — говорил Мартов, — такие явления, как война или мир, сами по себе никакого интереса не представляют. Единственная вещь, которая его интересует, это революция, и настоящей революцией он считает только ту, где власть будет захвачена большевиками. Я задаю себе вопрос, — говорил Мартов, — что будет делать Ленин, если демократии удастся добиться заключения мира? Очень возможно, что в этом случае Ленин перестроит всю свою агитацию в массах и станет проповедовать им, что все беды послевоенной поры происходят от преступления демократии, состоящего в том, что она преждевременно закончила войну и не имела мужества довести ее до полного разгрома германского милитаризма».[1]

25-го октября, в день большевицкого восстания, Мартов был на Съезде Советов в Петрограде. На этом Съезде он был лидером фракции меньшевиков-«интернационалистов». Это была очень немногочисленная фракция. Фракции старого советского большинства, — меньшевики, с.-р. и трудовики, — уже покинули Съезд. Меньшевики-«интернационалисты» оставались, делая попытки, — через умеренных большевиков и левых с.-р., — добиться приостановки штурма Зимнего дворца. Эти попытки потерпели крушение. Не без труда Мартов провел решение об уходе со Съезда...

С заявлением об этом уходе на Съезде выступил сам Мартов. Б. И. Николаевский, присутствовавший на этом заседании, как один из представителей меньшевиков-«интернационалистов», потом описывал это заседание так: — «В переполненном зале было шумно, — и, несмотря на призыв к тишине, глухой голос больного Мартова (у него уже начался туберкулезный

---

[1] И. Г. Церетели. Воспоминания о февральской революции. Париж, 1964. Кн. I, стр. 242.

процесс в горле) был почти не слышен даже передним рядам. Неожиданно в зал ворвался гул далекого пушечного выстрела. Все поняли: начался решающий штурм. И в наступившей тишине донеслись срывающиеся слова Мартова: — Это — похороны единства рабочего класса... Мы участниками не будем».[2]

В письме к своему другу Н. С. Кристи Мартов уже в конце декабря 1917 года объяснял, почему он стал в оппозицию к большевицкой диктатуре. Он писал: — «В прошлом письме я подробно объяснял тебе, почему я остался в «оппозиции» новому «социалистическому» режиму. С тех пор положение еще более определилось. Дело не только в глубокой уверенности, что пытаться насаждать социализм в экономически и культурно отсталой стране — бессмысленная утопия, но и в органической неспособности моей примириться с тем аракчеевским пониманием социализма и пугачевским пониманием классовой борьбы, которые порождаются, конечно, самым тем фактом, что европейский идеал пытаются насадить на азиатской почве. Получается такой букет, что трудно вынести.

Для меня социализм всегда был не отрицанием индивидуальной свободы и индивидуальности, а, напротив, высшим их воплощением, и начало коллективизма я представлял себе противоположным 'стадности' и нивеллировке. Да не иначе понимают социализм и все воспитавшиеся на Марксе и европейской истории. Здесь же расцветает такой 'окопно-казарменный' квази-социализм, основанный на всестороннем 'опрощении' всей жизни, на культе даже не 'мозолистого кулака', а просто кулака, что чувствуешь себя как будто виноватым перед всяким культурным буржуа».

До разгона большевиками Учредительного Собрания, Мартов все еще надеялся на возможность соглашения с большевиками и создания общесоциалистического правительства. Разгон Учредительного Собрания и разгул террора Чека заставили Мартова выступить с резкими протестами против политики большевицкой власти.

Ленин в своих публичных выступлениях резко нападал на Мартова. Но М. Горький в своих воспоминаниях о Ленине пишет, что он слышал от Ленина такую жалобу: «Жаль Мартов не

---

[2] Б. Николаевский. Страницы прошлого. «Соц. Вестн.». Июль-август, 1958 г.

с нами очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек». — Помню, — пишет Горький, — как весело и долго хохотал Ленин, прочитав где-то слова Мартова: «В России только два коммуниста — Ленин и Коллонтай». — А насмеявшись, сказал: «Какая умница! Эх...»

Ленину и его соратникам, конечно, не нравились речи Мартова и других представителей социалистической оппозиции в Советах и они решили исключить из Советов не только правых эсэров, но и левых меньшевиков с Мартовым во главе. На заседании ВЦИК'а 14 июня 1918 г. голосами большевиков была принята резолюция «исключить из своего состава представителей партии меньшевиков и социалистов-революционеров (правых и центра), а также предложить Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов удалить представителей этих фракций из своей среды».

В 1958 г. старая большевичка Е. Драбкина, быв. секретарша Свердлова, председательствовавшего на этом заседании ВЦИК'а, так описывает в московском «Новом Мире» это историческое заседание:

«Призывая бушующее собрание к порядку, Свердлов поставил на голосование вопрос: «Кто за то, чтобы исключить из Советов контрреволюционные партии правых эсэров и меньшевиков?»

Большевики встали и высоко подняли руки. Левые эсэры — воздержались. Правые эсэры и меньшевики выли, стучали ногами, хватали стулья и угрожающе размахивали ими.

— Решение принято подавляющим большинством голосов, — сказал Свердлов. — Прошу членов контрреволюционных партий, исключенных из Советов, покинуть зал заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Выкрикивая своим больным, чахоточным горлом проклятия диктаторам, «бонапартистам», «узурпаторам», «захватчикам», Мартов схватил пальто, пытаясь надеть его, но его дрожащие руки не могли попасть в рукава. Ленин, очень бледный, стоя смотрел на Мартова. Что думал он в эту минуту?... Мартов продолжал мучительно бороться со своим злосчастным пальто. В эту минуту он был трагичен. Одному из левых эсэров он показался смешным. Тыча пальцем в Мартова, этот левый эсэр хохотал.

— Вы напрасно веселитесь, молодой человек, — прохрипел, обернувшись к нему, Мартов. — Не пройдет и трех месяцев, как вы последуете за нами!

Он злобно встряхнул проклятое пальто, перекинул его через руку и, шатаясь, пошел к выходу. Ленин, все такой же бледный, провожал его долгим взглядом. Мартов дрожащей рукой отворил дверь и вышел».

Мартов тогда оказался прав. Не прошло и двух месяцев, как исключили из Советов и левых эсэров. Мартова исключили из Совета, но он продолжал бичевать террористический режим. В августе 1918 года, в самый разгар красного террора, Мартов опубликовал в Москве брошюру под названием «Долой смертную казнь». В ней он писал: «Как только большевики стали у власти, с первого же дня, объявив об отмене смертной казни, они начали убивать пленников, захваченных после боя в гражданской войне, как это делают все дикари. Убивать врагов, которые после боя сдались на слово, на обещание, что им будет дарована жизнь... Так было в многих городах, где шайки негодяев истребляли по спискам мнимых контрреволюционеров без всякого следствия и суда, убивая женщин и малолетних детей. Вслед за этими самосудами, организованными по подстрекательству или попустительству большевиков, начались убийства по прямому приказу органов большевицкой власти. Смертная казнь объявлялась отмененной, но в каждом городе, в каждом уезде, разные 'чрезвычайные комиссии' (Че-Ка) и 'военно-революционные комитеты' приказывали расстреливать сотни и сотни людей... Этот кровавый разврат совершается именем социализма, именем того учения, которое провозгласило братство людей в труде высшей целью человечества... Партия смертных казней — такой же враг рабочего класса, как и партия погромов».

Закончил свою брошюру Мартов словами: — «...Борьба против смертной казни была написана на знамени всех борцов за свободу и счастье русского народа, всех борцов за социализм... Позор партии, которая званием социализма пытается освятить гнусное ремесло палача!»

В первых числах апреля 19-го года почти все активные деятели меньшевиков были арестованы Че-Ка. В числе их был и Мартов. Все арестованные были отправлены в Бутырскую тюрьму, кроме Мартова, который содержался под домашним

арестом. Один из его личных друзей обратился к Луначарскому с просьбой о снятии ареста. Луначарский тут же в его присутствии позвонил по телефону Ленину. — «Нет, заявил Ленин, его освободить нельзя. Мартов слишком умный человек, пус-кай посидит». Через несколько дней, однако, арест был снят.

В 1920 году Мартов выехал за границу. Он приехал в Германию и там выступил с большой речью на съезде «Независимой социалистической партии» в Галле. На этом съезде обсуждался вопрос об объединении этой левой социалистической партии с коммунистической и о вступлении ее в Коммунистический Интернационал. До Мартова на съезде выступил с большой речью Григорий Зиновьев, тогдашний диктатор Петрограда и председатель Коммунистического Интернационала. Мартов в своей речи обрисовал настоящее положение в Советской России под диктатурой большевиков и речь его произвела глубокое впечатление на делегатов съезда. В ре-зультате многие делегаты, которые раньше колебались, голосовали против объединения. Партия тогда раскололась: часть объединилась с коммунистами, другая часть под руководством Гильфердинга, Гаазе, Дитмана, Брейтшайда и других видных деятелей партии, осталась в «Независимой социалистической партии». Позже они объединились со старой германской с.-д. партией.

В 1921 году Мартов, вместе с другим лидером меньшевиков-«интернационалистов» Р. Абрамовичем, основали в Берлине «Соц. Вестнике», который нелегально переправлялся в Россию. В «Соц. Вестнике» Мартов и другие левые меньшевики неустанно критиковали теорию и практику большевизма. Но Мартов до конца своих дней так и остался левым социалистом, «ортодоксальным» марксистом, каким был до революции. Он боролся не только против большевизма, но и против, так называемого, «реформизма» Второго Интернационала. Мартов был одним из создателей и вдохновителей Венского, так называемого «2½ Интернационала», к которому примыкали левые социалистические партии в Европе. Лидеры этого Интернационала верили в Советы и в диктатуру пролетариата, но только без террора. Мартов тогда все еще надеялся на социальную революцию в Западной Европе и верил, что под давлением европейского социалистического движения и «сознательных элементов российского пролетариата» удастся «выровнять

искривленную линию русской революции», то есть, что большевики откажутся от террора и пойдут на честную коалицию с левыми социалистами и вместе с ними будут строить «настоящий социализм». В своей последней статье, которую Мартов опубликовал за полгода до смерти в «Соц. Вестнике», он писал: — «...Целью нашей борьбы, как и прежде, является безболезненный переход от режима диктатуры большевицкой клики к **демократической** республике... Демократическая республика, как политическая форма, относительно наилучше гарантирующая пролетариату и трудящимся массам вообще возможность борьбы за свое конечное освобождение и за немедленное улучшение своего положения: как политическая форма, при которой осуществима действительная власть **трудящихся классов.** Период революционной диктатуры, оправданный фактом гражданской войны, закончился. Основной задачей теперь является переход к **правовому режиму демократии».**

24 апреля 1923 года Мартов, в возрасте сорока девяти лет, умер от туберкулеза горла.

В «Комсомольской Правде» от 21 января 1969 г. напечатаны «Записки Н. К. Крупской» о Ленине в 1923 году. Крупская пишет: «В связи с чтением газеты Владимир Ильич постоянно спрашивал меня то о том, то о другом товарище, посылал — если я не знала сама — справиться по телефону. Спрашивал также о Потресове и Аксельроде. В связи с Аксельродом спросил о Мартове. Я сделала вид, что не поняла. На другой день он спустился вниз в библиотеку, в эмигрантских газетах разыскал сообщение о смерти Мартова и укорительно показал мне...»

Лучшую оценку Мартова, как писателя и публициста, на мой взгляд, дал Н. В. Валентинов-Вольский, автор книги «Встречи с Лениным», который хорошо знал Мартова, но далеко расходился с ним во взглядах. Валентинов писал: — «...Мартов умер в Берлине, в эмиграции в 1923-м году, в возрасте только 49-ти лет. Заседания, собрания, прения, дискуссии, словоговорения и не вынимание изо рта папиросы погубили этого исключительного талантливого человека. Не скажу, что Мартов тургеневский Рудин, но как Рудин он мог бы сказать: «природа мне много дала, но я умру не сделав ничего достойного сил моих». Он написал множество газетных и журнальных статей, несколько книжек, однако то, что он дал, в

лучшем случае только пятнадцать процентов того, что он мог дать. Его способности схватывать и тонко понимать самые трудные вопросы, могли обеспечить ему первоклассное место среди исследователей и теоретиков социальных явлений».

В своей книге «Мартов — политическая биография русского социал-демократа», профессор Гетцлер цитирует почти все устные и письменные высказывания Мартова по партийно-политическим и тактическим вопросам. Все это интересно, но автор значительно преувеличивает роль, которую меньшевики вообще и, Мартов, в частности, играли в обеих русских революциях. В последних главах своей книги профессор Гетцлер, правда, критикует политику и тактику Мартова в революции 1917 года, но он все же считает, что если бы Мартов в 1917 году, в период февральской революции, создал свою собственную, строго выдержанную левую социалистическую партию и забыл бы о Ленине, он, возможно, имел бы гораздо большее влияние на ход событий в России и русская революция не кончилась бы так трагически. В этом можно сильно сомневаться. Мартов несомненно был талантливым человеком, идеалистом и человеком кристально чистым. Он был талантливым публицистом, но не оригинальным мыслителем и не настоящим политическим лидером, который может предвидеть события. Он всегда оставался марксистским догматиком, который до большевицкого переворота фактически расходился с Лениным только в вопросах тактики и особенно не выносил аморализма Ленина.

Д. Шуб

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ВЛАДАС СТАНКА

25 декабря 1968 года в Вашингтоне скончался Владимир Бенедиктович Станкевич — Владас Станка. Это большая потеря для русского зарубежья. В. Б. был известным политическим деятелем, ученым юристом и талантливым писателем. Для меня это потеря старого друга, дружба с которым продолжалась без малого полвека. Я многим обязан встрече с Владимиром Бенедиктовичем. Мы встретились с ним в 1920 году в Берлине. Он был первый, кому из лагеря «перемещенных лиц» я послал только что конченную рукопись своей первой книги «Ледяной Поход». Прочтя ее, В. Б. вызвал меня в Берлин. Времена были тяжелые. Это был послевоенный, голодный Берлин. Ехал я туда из лагеря Хельмштэдт, одетый в рабочий костюм, сшитый из английского одеяла.

Помню, как я пришел к В. Б. на Пассауерштрассе в пансион Паули. Помню, как познакомился с ним и его милой женой Натальей Владимировной, с дочкой Леночкой. Помню, как долго мы разговаривали с В. Б. и о моей рукописи, и о литературе вообще, и о политике. Помню, как из-за начавшейся забастовки транспорта Станкевичи уложили меня спать в одной из комнат их пансиона. Дружба с Станкевичами началась у меня сразу же и ничем не омрачилась в течение почти полувека.

Тогда в Берлине В. Б. затевал издание журнала «Жизнь» и хотел печатать в нем «Ледяной Поход». Он и печатал. И настоял, чтоб я из лагеря перебрался в Берлин и начал литературную работу. Вокруг «Жизни» В. Б. объединил группу молодых начинающих литераторов — Ю. Офросимов, Ф. Иванов, А. Дроздов, я и другие.

В. Б. Станкевич родился 4 ноября 1884 года в Биржах, в Литве, в семье небогатых дворян. Предки его, литовцы Станка, позднее под польским влиянием превратились в Станкевичей. В 1903 году В. Б. Станкевич окончил петербургскую гимназию и там же поступил в университет на юридический факультет,

который и окончил в 1908 году, будучи оставлен при университете по кафедре уголовного права. В 1913 году В. Б. защитил магистерскую диссертацию и в 1914 был утвержден в звании приват-доцента. Но это было военное время, шла война, и В. Б. неожиданно решил бросить научную работу и итти на войну добровольцем. Он поступил в Павловское военное училище, которое окончил фельдфебелем и вышел в саперные войска.

Уже с университетских лет В. Б. начал и свою политическую карьеру. Он был секретарем думской фракции трудовиков, принадлежа к народным социалистам. Когда в 17 году вспыхнула революция В. Б., будучи офицером, был назначен комиссаром Северного фронта. В. Б. стоял на безоговорочной оборонческой позиции. В эти дни он тесно сотрудничал с А. Ф. Керенским, пользуясь его полным доверием. Вскоре В. Б., благодаря своей кипучей энергии, получил назначение Верховного Комиссара при Ставке Верховного Главнокомандующего. В советской истории гражданской войны говорится, что фактическое сопротивление большевикам в Петрограде в октябре оказал только отряд юнкеров военно-инженерной школы под командой Станкевича.

После октябрьского переворота В. Б. должен был уйти в подполье. Он нелегально жил в Киеве, в Петрограде и наконец в августе 1919 года через Киев и Варшаву проехал с семьей в Берлин. Здесь В. Б. и начал издавать журнал «Жизнь» и вскоре выпустил свои «Воспоминания», являющиеся до сих пор одним из ценнейших источников по революции 1917 года.

Журналу «Жизнь» не суждено было долгой жизни. Когда он кончился В. Б. стал во главе издательства «Знание», при известной фирме Рудольф Моссе. «Знанием» было выпущено много книг на русском языке, преимущественно научного и научно-популярного характера. Но в эмиграции все кончается быстро, кончилось и изд-во «Знание». Тогда В. Б. переехал на родину, в Литву, в Каунас, где вскоре стал профессором уголовного права в местном университете и одновременно занялся адвокатурой. В Каунас его и застала вторая мировая война. После года советской и трех лет немецкой оккупации В. Б. вынужден был уехать на запад. В Германии В. Б. с семьей жил в лагере перемещенных лиц, был сначала литовским ректором Балтийского университета в изгнании, а потом и президентом универ-

ситета. В июле 1949 года В. Б. с семьей переехал в США, в Вашингтон, где стал работать в Арктическом Институте. По-русски он писал в «Новом Журнале» и в «Новом Русском Слове».

Перу В. Б. принадлежит множество политических, социологических и мировоззренческих статей на разных языках — русском, литовском, немецком, английском и др. За годы эмиграции В. Б. опубликовал много книг. Упомяну хотя бы главные: — «Воспоминания» (1922), «На великом Севере» (1923), «Менделеев» (1923), «Лекции по уголовному праву» (по-литовски, 1925), «История мировой динамики» (по-русски, литовски, немецки, 1934), «Звезда с Востока. Царь Асока» (1936, по-литовски, по-немецки) и другие.

В. Б. был талантливым писателем и интересным человеком по своему мировоззрению. Начав с русского социализма, в годы эмиграции В. Б. перешел к увлечению философией Востока, результатом чего и явилась его книга о царе Асоке.

Не могу не сказать, что всю жизнь, со студенческих лет, В. Б. и в жизни и в работе помогала его верная подруга, его жена Наталья Владимировна (урожденная Прокудина), скончавшаяся незадолго до него в том же Вашингтоне.

В лице ушедшего от нас В. Б. Станкевича мы потеряли большую культурную силу и редкого человека.

Роман Гуль

Т. И. АЛЕКСИНСКАЯ

Скончавшаяся 20 октября 1968 года, Татьяна Ивановна Алексинская (урожденная Евтихиева), вдова известного политического деятеля, писателя и бывшего члена второй Государственной Думы, — Григория Алексеевича Алексинского, принадлежала к известной семье московской интеллигенции — родом из Сибири.

Она родилась 30 сентября 1886 года в Москве, где и окончила 4-ю Мариинскую гимназию, а затем Высшие медицинские курсы. В 1904-1905 годах Т. И. участвовала в революционном движении, принадлежа к Российской социал-демократической партии.

В 1906 году Т. И., приехав в Петербург, занимает ответственное место секретаря Союза строительных рабочих, а в 1907 году организует по просьбе Г. А. Алексинского, секре-

тариат социал-демократической группы, которую он возглавлял в столице той эпохи, будучи выбранным депутатом в Государственную Думу.

После роспуска Думы, Т. И. уезжает в Финляндию. В 1908 году Г. А. и Т. И. Алексинские приезжают в Женеву. Здесь в Женеве произошел полный разрыв между Алексинскими и Лениным и Крупской. Поставив моральный ультиматум, Т. И. отказалась окончательно работать в секретариате Ленина и Алексинские уезжают в Париж.

Во время войны 1914-1918 годов, когда Г. А. Алексинский, вместе с Г. В. Плехановым, становятся на патриотическую платформу защиты своей страны против «пораженцев» группы Ленина, Т. И. Алексинская едет в Россию и работает в качестве лекарской помощницы в одном из санитарных поездов на германском фронте. В 1916 году, появляется на французском языке, в Париже ее книга «Среди раненых». После санитарного поезда, по ее просьбе, Т. И. переводится в военный хирургический госпиталь в Москву, где ее застает февральская революция. В апреле 1917 года Т. И. едет в Петроград, где, начиная с 1 мая, она занимает место помощницы главного секретаря центрального комитета группы «Единство», — организации социалистов-патриотов группы Плеханова.

После октябрьского переворота Г. А. и Т. И. Алексинские продолжают открытую политическую борьбу за национальную Россию. Во время митинга протеста против Брест-Литовского мира, Г. А. был арестован на трибуне и посажен в тюрьму. Тяжело заболев, он был выпущен под домашний надзор. В 1918 году Г. А. покидает Москву и эмигрирует заграницу вместе с Татьяной Ивановной и их маленьким сыном. В 1919 году Алексинские обосновываются в Париже. Т. И. сотрудничает во французской прессе, а также в ряде русских газет и журналов за рубежом. В 1931 году Т. И. основывает «Союз русских сестер милосердия участниц Великой войны 1914-1918 г.г. имени баронессы Вревской». Союз насчитывал в 1939 году 185 сестер.

Т. И. была глубоко верующей женщиной и большой патриоткой. Она не любила делить русскую эмиграцию на различные лагеря. В маленькой квартире Алексинских, на ее любимом Монпарнассе, между 1919 и 1939 годами, можно было встретить почти всех видных представителей эмигрантской общественности и литературы, а также и военных кругов. Т. И. была

истинной москвичкой и благодаря своему хлебосольству и живому уму объединяла людей всех политических взглядов, монархистов и республиканцев, правых и левых, под флагом непримиримости к большевицкой диктатуре.

За долгие годы эмиграции, Т. И. Алексинская собрала исключительно интересный архив русского зарубежья, затрагивающий все аспекты его жизни, начиная с левой колонии — до 1914 года, и кончая новой волной, прибывшей на запад после 1945 года. В архиве Т. И. есть редкий материал о молодежи в рассеянии, о русской православной церкви за рубежом, о военных организациях, о культурной жизни русских союзов и объединений.

Несколько рассказов и очерков Т. И. появились в парижской газете «Русская Мысль». В 1968 году, в номерах 90, 91, 92 и 94 «Нового Журнала» напечатаны воспоминания Т. И. о революции под названием «1917 год».

За последнее время Т. И. много работала над «архивом Алексинских», продолжая труды Г. А. Алексинского, скончавшегося 4 октября 1967 года. Она заболела в начале октября 1968 года, успев уже закончить свой труд, — приведение в порядок последней части архива. 11 октября ее спешно перевезли в хирургическое отделение госпиталя «Кошэн» в Париже. Ей грозил сердечный тромбоз. Она скончалась от общей слабости на десятый день после операции.

Т. И. Алексинская теперь покоится в семейном склепе, рядом с Г. А. Алексинским, на православном русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, среди ее друзей по эмиграции, во французской земле, — земле той страны, которую она считала своей второй родиной после любимой России.

Г. А.

БИБЛИОГРАФИЯ

БОРИС ЗАЙЦЕВ. *«Река времен»*. Изд. «Русская Книга». Нью Иорк. 1968.

В только что вышедшем сборнике рассказов «Река времен» Борис Зайцев поместил избранное из трех периодов своего творчества: дореволюционного, первых дней революции и позднейшего. Рассказы «Голубая звезда» 1918 г., «Улица св. Николая» 1921 г. и «Река времен» 1964 г. можно причислить к лучшим зайцевским произведениям. Несмотря на годы, отделяющие «Голубую звезду» от «Реки времен», есть в них великая гармония. Как не длинен путь, пройденный автором, от Христофорова («Голубая звезда») до Андроника («Река времен»), это — единый путь. И все три рассказа крепко связаны.

В «Голубой звезде» за двадцать четыре года до появления ахматовской «Поэмы без героя» с ее сонмом ряженых гостей новогодней ночи, Зайцевым уже показан конец эпохи в сцене маскарада. Если Анна Ахматова писала о неизбежном «пятом акте», о ночи, «когда надо платить по счету» и признавалась, что

«С той, какою была когда-то
До долины Иосафата
Снова встретиться не хочу»,

то и зайцевская Анна Дмитриевна могла бы, вероятно, сказать почти то же самое. А Христофоров ощущает еще острее, что «до смешного близка развязка». Думая о маскараде, о щемящих радостях последних дней эпохи, он восклицает: «Кто так устал, так измучен, что создал это? Не жизнь ли человеческая остановилась на распутьи?» И дальше: Христофорову вдруг представилось, что сколь не блестяща, и весела, распущена эта толпа, довольно одного дыхания, чтобы как стая листьев разлетелись все во тьму». Только он не выступает тут в роли «античного хора», который «на себя согласен принять», не судит, просто горестно-удивленно созерцает. Но и Зайцев, и Ахматова говорят об одном.

Видение мира, который будет навеки унесен «рекою времен», дано Зайцевым еще в описании бегов: «В эту минуту физически ощутил Христофоров тучу, нависшую над всем этим огромным скопищем — тучу желаний и жадности». А после бегов «побежденные брели пешком... победители летели по ресторанам пропивать и проматывать». А за этим, обреченным уже миром, — Россия голодная, нищая,

ропщущая. Это она появится в переходную эпоху первых дней революции в «Улице св. Николая».

О довоенных годах кающаяся грешница Анна Дмитриевна говорит: «Дурная жизнь, распущенная, скверная». «В общем дух безалаберной, праздной и веселой жизни», которую скоро смоет потоп. И вот Анна Дмитриевна, начинающая задумываться о своем пути, спрашивает Христофорова: «Что же делать? Как существовать?... все мы развращенные, тяжелые, измученные». Это звучит совсем по-ахматовски:

«Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!»

И даже мистик Ретизанов ощущает некий холодок, созерцая Москву: «Вдруг ему показалось — стоит ветру дунуть, все развеется».

Нужно отметить, что Христофоров стоит особняком среди героев русской литературы. Он поэт в душе. Вся его внутренняя жизнь проходит в нереальном мире. Окружающее он только созерцает, но сам в игре страстей не участвует. Комната Христофорова «похожа на келью». Но в ней все по-детски беззаботно. Он все любит: «Вам все нужно, все нужны», — говорит ему горько Машура. Христофоров к борьбе неспособен: любя Машуру, уступает ее Антону. А когда Машура приходит в его комнату, он знает, что она уйдет: «Комната останется, как прежде. Я останусь. Без вас». Душою он еще очень молод, о «реке времен» не думает. Он говорит: «Мы живем и смотрим, радуемся и любим эти переливы, вечные смены». И только в конце повести Христофорову приходит мысль о смерти: «На минуту я ощутил себя блаженным и бессмертным духом, существующим вечно, здесь же на земле. Жизнь как бы проносилась предо мной миражем, вечными сменами, и уходящих миражей мне не жаль было, а будущие — я знал, придут»... «Быть может, такое состояние, со всегдашним ощущением Света, т. е. Бога, и есть райская жизнь».

«Голубая звезда» и «Река времен» две вершины зайцевского творчества. Одна — молодость, другая — старость. И обе по-своему трагичны, прекрасны, благословенны.

Фон «Голубой звезды» — Москва. Фон «Улицы св. Николая» — тоже. Только «Река времен», жизнь архимандрита Андроника проходит в Париже. Но описанное там Подворье и его обитатели — ведь это тоже Русь.

О Москве Христофоров говорит: «Вот этот серенький день, снег, Москву, церковь Знамения — принимаю, люблю». Ранней весной, «еще гимназистом ходил он тут и такие же были эти закаты, так же томилось его сердце». В «Улице св. Николая» все та же Москва, Арбат, вначале дни допотопные, веселье, беззаботность. Арбат под защитой св. Николая. Является он в образе «седенького извозчика в санках вытертых» — в образе бедняка. Тут мы в самом сердце родины, во дни

ее изобилия, потом скудости. Здесь проза близка к поэзии и повесть эту можно с полным правом назвать поэмой. Но и тут звезды ведут свой таинственный путь. Приходят «испепеляющие годы». Страшен их путь над Арбатом. И повествуя об этих днях, под пером Зайцева возникают другие образы, меняется ритм. Война уносит людей. Старая жизнь ушла. Сурова встреча с новой.

В «Улице св. Николая» мощно, в кратких словах, воспроизведен роковой путь, пройденный родиной. Обвал совершился. Конец болтовне, прекраснодушию: «Туго старой жизни». Но и в эти дни гудели еще колокола трех церквей Святителя. Говоря о священниках первых революционных лет, Зайцев отмечает, что стали они иными: «Будто многое отмылось, вековое, цепеневшее». Эти слова надо запомнить, читая «Реку времен». Архимандрит Савватий с его хозяйственностью, детским честолюбием, крепкими корнями, еще священник прежних лет. Но в архимандрите Андронике и в митрополите Иоанникии, мечтающих о соединении всех христиан, уже другое, более нашим дням отвечающее. И интеллигенты, кутившие раньше в «Праге», наивно мечтавшие о свободе, тоже изменились, спустились на землю: «Борись, отстаивай свой дом, семью, детей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский гражданин Арбата». Этот завет является и заветом скромного привратника Подворья, Леонида Ивановича, бывшего юриста.

В «Реке времен» Зайцев рисует два типа монахов: утверждение и оправдание земного в лице арх. Савватия и образ странника в лице арх. Андроника.

Арх. Андроник — «аристократический нищий». Это тоже своего рода Христофоров, нашедший, наконец, верное пристанище, но до конца не удовлетворившийся, припадков уныния не превозмогший. Его завет тоже «святая бедность». Андроник никогда не был женат, остался одиноким, как Христофоров. Любит тоже все прекрасное: звезды, цветы.

Тема «Реки времен» впервые врывается, когда арх. Савватий заговорил об отказе Андроника стать епископом: «Мало ли чего не было в его жизни? И утекло...» Тут сознание Андроником непрочности всего земного. Бренность земного вызывает грусть и у Андроника, и у автора, который часто стоит за своим героем.

У уверенного спокойного еп. Савватия встречается та же тема, когда говорит о цветах: «Великая краса мира сего преходящего». Но Савватию легче: «Вряд ли знает тоску». А Андронику труден груз воспоминаний: не перегорел еще. Тяжко ему дается монашество, но все же включается молитвой своей об ушедших, живых ли в чудесную цепь верных. В келье его висит портрет Леона Блуа. Андроник его любит за его «тяжкую и одинокую жизнь».

Прозу жизни Андроник, как и Христофоров, не принимает. «Когда

он исповедывал и говорил наедине, перед Евангелием и крестом, глаза его сияли тем особенным светом, которого он хотел бы и для себя самого».

Труднее всего Андронику радоваться. Вот почему ему близка «Река времен» Державина. Но в лучшие свои минуты думает по-другому. Разлука, смерть — самое страшное здесь, но для верующего одиночества нет. И конечный итог «Реки времен» в словах: — «Все пройдет, и меня скоро не будет на земле, но Господь, мир, звезды и еще какой-то мир, неведомый нам, пребывает и пребудет».

Слова эти — преодоление, завещание.

Екатерина Таубер

Г. П. ФЕДОТОВ. *Лицо России.* Сборник статей (1918-1931). Биографический очерк Е. Н. Федотовой. Париж, ИМКА Пресс. 1967 г. Стр. XXXIV + 329.

«Лицо России» — так называется статья Георгия Петровича Федотова, которая была помещена в газете христианского подполья «Свободные Голоса» (1918 г.; перепечатана в «Новом Журнале», кн. 43). Тогда лицо России Федотов увидел в сияющей новгородской иконе, в языческой мудрости славянской песни, в труде и поте великоросса, вынесшего на своих плечах «тягло государства», в гении Петра... Этот отрывок напоминает стихотворение в прозе. Позднее, в годы эмиграции (1925-1951) свои думы о России Г. П. выразил иначе: уже не в поэтической прозе, а в продуманных кованых очерках, на изумительной «русской латыни».

Федотов не верил в бытие той русской идеи, которую утверждали славянофилы, Достоевский, В. Соловьев, Бердяев. Несомненно, есть какая-то правда в их дерзновенной философии истории, но все же она слишком часто бывала опорочена дедукциями. Иначе Федотов: он, прежде всего, стремился изучить, понять и выявить феноменологию русской истории, культуры, русских типов. Это ему и удалось сделать в ряде статей: «Русский человек», «Три столицы», в «Трагедии интеллигенции», написанной в драматической форме, с двумя прологами, в пяти действиях (последние две статьи включены в «Лицо России»). Но это не только очерки ученого: осмысливая судьбы России, Федотов судил ее, верил в нее, и здесь ученый уступал место провидцу. Была у него христианская, пророческая высота суждения. Новые перспективы открылись ему в годы гражданской войны, когда он вступил в подпольное братство «Христос и свобода». В юности Г. П. был членом социал-демократической партии, подвергался арестам, был выслан заграницу, где учился в Берлине и Иене. Но февральскую революцию он принял без восторженных иллюзий, с

недоумением, и сразу же резко отмежевался от победившего в октябре большевизма. Тогда Г. П. и вернулся в церковь. Обращенный христианин остался социалистом, но никакими партийными программами себя не связывал.

Всю жизнь Федотов думал о России. Он любил родину, хотя иногда и резко судил о своем народе, резче, чем о других народах. Из любви к нему многое от него ждал, требовал. В том же очерке 1918 г. Федотов утверждал, что Россия была и будет, и одна его книга о России так и называется «И есть и будет», т. е. — в перспективе истории.

Для понимания сокровенных мыслей Федотова наиболее существенна его статья «Эсхатология и культура» (1938 г.). В противоположность Бердяеву, ценившему преимущественно творческие замыслы, а не их осуществление, Федотов в этом очерке дает замечательную апологию культуры. Пусть Парфенон и Св. София будут разрушены вместе с земным шаром, но наше творчество не бесплодно, наши радости не бессмысленны: «В небесном Иерусалиме (Откр., гл. 21), который завершает эсхатологическую драму, человечество должно увидеть плоды своих трудов и вдохновения очищенными и преображенными. Другими словами, этот Град, хотя и нисходит с неба, строится на земле в сотрудничестве всех поколений». Отсюда федотовская «максима» культурной деятельности: «Работай так, как будто история никогда не кончится, и в то же время так, как если бы она кончилась сегодня. Противоречие? Нет. Трудность? Еще бы...» Мысль едва ли новая, но, кажется, по-русски она прозвучала впервые. После Чаадаева в русской мысли преобладала апокалиптика: не только на верхах, в философии истории, но и в русской интеллигенции, которую Федотов определил так: она всегда была идейной и беспочвенной... Но он знал: было на Руси и в России и строительство. Творцами-строителями были и Рублев и Пушкин, которому Федотов посвятил замечательный очерк «Певец империи и свободы». А прежде всего, и это подчеркивается во всех федотовских писаниях, строила у нас Церковь: строила души, и до сих пор никакие преследования разрушить это строительство не могли и не могут. Синодальная эпоха была печальна, но — просияли Тихон Задонский, Серафим Саровский и душа русского человека все так же просвещалась Христом в Церкви, хотя духовенство часто и бывало не на высоте.

Бердяев говорил: русские или апокалиптики или нигилисты. Все просто, ясно, но едва ли верно. Русская феноменология Федотова куда сложнее, живее, убедительнее. Многие, по латински сжатые, но и очень русские по оттенкам, федотовские формулы легко запоминаются, однако, какого-то окончательного итога, приговора он не дает и давать не хотел. Федотов часто предпочитал антиномии: да, русский человек и бунтарь, и странник, но и себе на уме мужик, и сметливый

купец, и смелый колонизатор. Интеллигенты были не только идейные и беспочвенные, но и земские труженики, и глубоко верующие люди. Прогнозы его менялись: в книге «И есть и будет» он высказывался за просвещенную диктатуру, а в журнале «Новый Град», который редактировал вместе с Бунаковым-Фондаминским, он утверждал христианскую демократию.

Здесь незачем пересказывать отдельные его суждения, оценки, которые он умел «подавать на острие ножа»... «Лицо России» и другие посмертные сборники «Новый Гард» (1952), «Христианин в революции» (1957), недавно переизданные «Святые древней Руси», дополняют друг друга, как и английский труд, тоже недавно переизданный, *The Russian Religious Mind.*

В настоящий сборник вошли многие рецензии, заметки. Все они чрезвычайно интересны: о духовной встрече парижской святой Геновевы и ее современника — сирийского Симеона Столпника, о св. Мартине Турском, о национальном и вселенском, о Вергилии, Пеги, Розанове, Шестове, о съездах РСХД и англо-русской молодежи и другие.

В книгах Федотова немало едких суждений и некоторые его мысли о России, которая есть и будет в истории — самые мрачные. Но христианин не может быть пессимистом. Веры и доверия Георгий Петрович никогда не терял: «Сквозь хаос, обступающий нас и встающий внутри нас, пронесем нерасплесканным героическое да: Богу, миру, людям» (заключительные строки заметки о журнале «Числа»).

В России Федотова еще мало знают, хотя, несомненно, некоторые его книги туда дошли. Я убежден, что он там особенно нужен: его писания — лучший семинар по русской культуре, лучшая школа мысли для новой интеллигенции.

В книгу «Лицо России» включен очерк покойной жены Г. П. — Елены Николаевны. Это единственная его биография и можно только пожалеть, что этот очерк очень короткий. Е. Н. тоже участвовала в братстве «Христос и свобода» и сообщает драгоценнейшие данные о его деятелях — А. А. Мейере, Аскольдове-Алексееве и др.

Ю. Иваск

АЛЕКСАНДР БЕНУА РАЗМЫШЛЯЕТ... Изд. «Советский художник», Москва, 1968. Сборник статей, писем, высказываний А. Н. Бенуа о художественной жизни 1917-1960 годов. Составители сборника И. С. Зильберштейн и А. Н. Савинов.

Потребовались многие годы, чтобы можно было в СССР говорить и писать с уважением о группе художников «Мир Искусства». Совсем недавно им приписывались еще самые тяжкие грехи: космополитизм,

эстетство, реакционность и т. п. Признавалась с оговорками заслуга этих художников в области театральной деятельности и книжной иллюстрации. Так как А. Бенуа являлся идейным главой всей группы, то к нему и относились главным образом все обвинения.

Цензурные послабления, наметившиеся в СССР в отношении трудов скончавшихся артистов и писателей эмигрантов (Шаляпин, Коровин, Бунин), были приложены к художественному и литературному наследию скончавшегося в 1960 г. А. Н. Бенуа. Он как бы посмертно «реабилитирован».

«Первой ласточкой» реабилитации можно назвать переиздание в 1964 г. «Медного Всадника» с рисунками А. Бенуа. Затем в 1965 году появляется обширная монография М. Эткинда, в которой, несмотря на многие замалчивания и почти полное отсутствие сведений об эмигрантском периоде жизни Бенуа, все же признается за художником большой вклад, внесенный им в русское искусство.

Недавно появился в СССР сборник художественно-критических статей и писем А. Бенуа под несколько претенциозным названием «Александр Бенуа размышляет...» Перед составителями сборника — И. С. Зильберштейном и А. Н. Савиновым — стояла трудная задача, как уместить огромное количество статей и писем Бенуа в один том? Решено было сосредоточить главное внимание на тех статьях, которые были написаны Бенуа в эмиграции, кроме небольшого числа статей, написанных им еще в России. По понятным причинам дело не обошлось без многих сокращений (хорошо еще, что места выпусков отмечены многоточиями с угловыми скобками), но и за то, что теперь опубликовано, можно быть весьма благодарным составителям. Советские читатели давно не слышали такого страстного проповедника и защитника подлинного искусства. Зарубежные читатели в свою очередь будут благодарны составителям сборника, ибо отыскивать в архивах и в старых газетах статьи А. Бенуа не всем под силу.

До революции в газете «Речь», а в Париже в газете «Последние Новости», регулярно появлялись «Художественные письма» А. Бенуа, как отклик на события в мире искусства. Кроме 17-ти статей, написанных еще в России, в настоящий сборник включены 63 статьи, написанные Бенуа в годы эмиграции и 115 писем к родным, друзьям и знакомым.

Бенуа обладал удивительной способностью блестяще формулировать свои мысли; язык его, живой и богатый, делает каждую статью или письмо увлекательными. Не надо думать, что взгляды его на искусство на протяжении всей жизни не менялись. Бенуа признается, что на склоне дней подверг переоценке многие юношеские взгляды. Но в главном он остался верен себе. «Я больше всего в искусстве ненавижу надуманность, — повторяет несколько раз Бенуа, — и больше всего поклоняюсь **искренности**». В конце жизни он подтверждает:

«Мой фундаментный вкус требует в первую голову **правду,** искренность, убеждение и, обыкновенно на правдивости утвержденную, **убедительность...** Я от природы одарен способностью узнавать, различать то, что принято называть прекрасным, высоко художественным... Я до этого чуток до чрезвычайности». И протестует, когда от искусства требуют постоянно чего-то нового. «О, как мне ненавистны эти «самые последние слова»! Они ненавистны мне как явления тлетворные, подрывающие в самом корне все живое, все радостное, все, что идет непосредственно от сердца, от души, что дышит жизнью и правдой...» Обладая всеми необходимыми профессиональными знаниями художника, Бенуа восстает против одного профессионализма и пишет сыну: «...Тебе грозит нечто очень страшное — превратиться окончательно в профессионала, иначе говоря, в человека, из которого вынуто живое горячее сердце, на место которого положена какая-то заводная машинка».

Известно, что со стороны отца Бенуа французского происхождения, а со стороны матери — итальянского. Заслуживает интереса признание художника — «к французам у меня всегда был род какого-то отдаления» — и в противоположность к этому слова: «...желаю подчеркнуть мою любовь к Италии, мало того, мой очень глубокий **итальянизм»**. Но это не помешало ему любить Россию и на склоне дней, уже в Париже, признаться: «...Россию, которую, странное дело, я только недавно... и после всех горьких испытаний последних лет действительно признал за матушку, за родимый и нежно любимый край... я сейчас чувствую себя несравненно более русским (без привкуса национализма), нежели прежде».

Мы привыкли так принимать созданное зап. европейскими художниками недавнего прошлого и современности за неоспоримые достижения, что всякие критические замечания по их поводу вызывают в нас некоторую неловкость и смущение. Но Бенуа не напрасно часто вспоминает андерсеновскую сказку о голом короле и указывает на несуществующие наряды короля.

Прекрасные статьи о творчестве Мане, Моне, Дега, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Сера, Гогена, Сезанна, Вюйара полны тонкого анализа их работ, но это не слепое преклонение перед ними, а желание увидеть, что каждый из них дал положительного, но вместе с тем и указать, как часто сами художники неправильно видели свое назначение и шли не по свойственной им дороге. О Мане Бенуа говорит, что «превращать его в какого-то героя-борца, в революционера, в пророка и вождя — это нелепо... он не был ни тем, ни другим». Для советских читателей особый интерес будут иметь замечания Бенуа об искусстве Ренуара, которые легко можно отнести к современной советской живописи. «У нас в России очень много было сделано для приближения искусства к народу... Все передвижничество построено на этом. Но

не потому ли там это не привело к желанным результатам, ...что столько там было обличительного, наставительного? Напротив, искусство Ренуара — это просто настежь открытые двери на жизнь, на вольный воздух. Тут и тени нет назидания или хотя бы какой-то указки».

Всеобщее увлечение искусством Гогена не находит у Бенуа отклика. «Экзотика Гогена, — говорит Бенуа, — создав ему особый ореол, сообщив его искусству особую остроту, отняла у него самое ценное — убедительность. Мне лично именно эта экзотика, пусть и вполне искренняя, но все же чуждая, всегда мешала **любить** Гогена и подрывала какое-то к нему **доверие.** Это искусство — нарочитое, вымышленное, это искусство, созданное как бы в отместку, «на зло» из чувства глубокой обиды. И уже окончательно я не могу поверить, чтобы оно выражало какое-то обретенное счастье».

Также и мысли о Сезанне идут у Бенуа вразрез с общепринятыми. «Душе моей Сезанн ничего не говорит, ...я не мечтаю о нем и никак не могу причислить, доставляемые его живописью, наслаждения к тем, из-за которых «жить стоит»... Сезанн, действительно, один из самых «тупых» и «беспомощных» художников, каких знает история живописи... То, что в нем есть чарующего, проступает наружу как-то помимо этого... Тайна Сезанна — в краске, в том, как он красками «лепит формы», каким внутренним светом насыщена его палитра».

Подлинный гнев прорывается у Бенуа, когда он пишет об искусстве Пикассо. «Мир переживает тяжкую болезнь, быть может, и смертельную! Может быть, это агония, а та пестрота, чем угощают абстрактивисты, или то шутовство, которым заняты все с растущим успехом Пикассо, Дали, — все это предсмертный бред?... Только и видишь всюду мерзкое надоевшее гаерство Пикассо и его бесчисленных бездарных (сам он не бездарен — о нет — но тем тяжелее его преступность) адептов, только и слышишь отовсюду растерянный вопрос: «а как вы относитесь к абстрактному искусству?»

Жаль, что составители сборника не включили в число публикуемых писем письмо А. Бенуа к Е. Климову от мая 1946 г. (опубликованное в «Новом Журнале» № 62), одно из наиболее ярых высказываний Бенуа о Пикассо.

Для советских читателей особый интерес представят статьи Бенуа о русских художниках, оказавшихся в эмиграции. С большой теплотой Бенуа вспоминает К. Коровина, Браза, Билибина, Добужинского, своего старшего брата — Альберта — чудесного акварелиста, Зинаиду Серебрякову, считая ее одной из лучших современных портретисток, отмечает исключительное, граничащее с чудом, мастерство А. Яковлева, говорит о прекрасных рижских графиках — Рыковском и Пузыревском, а в лице Бориса Григорьева видит «наиболее цельный

образ художника, который он представлял без всякого наигрыша, в силу одних только велений своей натуры». Перечислить всех, упоминаемых Бенуа, русских художников трудно, их очень много.

О деятельности Рериха можно прочесть следующее: «...Мне лично все это мессианство Рериха не по душе, и главным образом потому, что оно, с моей точки зрения, даже мешает Рериху-художнику исполнять свою настоящую, свою худ. миссию».

Признавая за Шагалом мировую известность («настоящая ведетта, вроде, ну, скажем, Чаплина»), Бенуа находит, что Шагал «действительно подошел к эпохе, он шевелит в людях такие чувства, которые почему-то тянет испытывать. Можно еще найти в этом искусстве элементы бесовского наваждения или действия сил нечистых, однако, об этом говорить не позволяется, а если разрешается, то не иначе как в ироническом тоне, или как о некоей «аллегории». Если же когда-нибудь в дальнейшем захотят в музеях будущего понять нашу эпоху по произведениям Шагала, то «вычитывая душу нашего времени из этих типичнейших для него произведений, скорее почтут за счастье, что подобный кошмар рассеялся, и обратятся к небесам с мольбой, чтобы он не повторялся».

В публикуемых письмах Бенуа еще непосредственнее, чем в статьях. В них встречаются замечания как бы брошенные мимоходом, но блещущие заостренной мыслью. Мысли же одолевали его в последние годы весьма мрачные. Он видел страшное падение искусства, как на Западе, так и в СССР. Не попало в сборник и то место в письме к Е. Климову, где Бенуа говорит: «...Противно и то, когда «здоровое искусство» силой насаждается и поддерживается, как это происходит в Советии. Не знаю, кого предпочту: какого-нибудь Герасимова, или Шагала? Чур, чур...»

Бенуа видел вокруг себя в последние годы «свистопляску самого дикого шарлатанизма и самообманного любительства».

Говоря о своем «западничестве», Бенуа подтверждает, что он «всегда был склонен глядеть в то окошко, что прорубил Петр I и, через которое так интересно и занимательно любоваться всей стелющейся перед взором мировой панорамой... Я с таким же основанием назвал бы в качестве своего идеала обожаемого мной Пушкина. При всем несомненном и горячем патриотизме Александр Сергеевич не замыкался в нем, но с великим вниманием следил за всем, что появлялось замечательного где бы то ни было. И вовсе он не считал нужным это скрывать!...»

Думается, что советские читатели должны быть особенно благодарны составителям сборника, ибо давно уже не имели возможности читать столь сильно и свободно написанные очерки. Насколько мне известно, все издание (10.000 экз.) было распродано в Москве в несколько дней.

Е. Климов

KONSTANTINE MOCHULSKY. *Dostoevsky*. Trans. Michael Minihan Princeton University Press. 1968.

Наконец, благодаря усердию и профессиональной заинтересованности М. Минигана, вышла по-английски замечательная книга К. Мочульского о Достоевском. На первый взгляд эта книга кажется простым изложением материалов. На самом же деле, то, что сделал Мочульский это — синтез двух «школ» в литературоведении: идейной и формалистической. Для него произведение литературы представляет собой одновременно и художественный объект и выражение живой идеи. Он понимает всю «кухню» литературы — «как это сделано» — но никогда не теряет из вида более широкого жизненного охвата, так напр., хотя бы — нравственно-философских вопросов Достоевского. В этом смысле подход Мочульского «серьезный». Употребляю это слово не в смысле наукообразности и накопления фактов, а в смысле ценности задания.

Естественно чувствуется, что Достоевский «религиозно гениальный», с его «выстраданной» философией, должен был быть близок религиозному мировоззрению Мочульского. Мочульский подчеркивает в Достоевском «совпадение противоположностей». В свое время Мочульский писал в «Новом Граде»: «разум изнемогает перед противоречиями, которыми питается вера». Подход этот можно принимать или нет, но он во всяком случае свободен от той ограниченности, за что Карл Юнг так осуждает т. н. «вульгарный позитивизм». Подход Мочульского не стесняет свободы восприятия, он оставляет неприкосновенной «игру воображения» (так же нужную для понимания творения писателя, как и «игра приемов»).

На протяжении всей книги Мочульский разбирает в хронологическом порядке ряд произведений Достоевского. Он видит в них не столько «артифакты», законы которых он обнажает, сколько ряд **встреч.**

Французский критик С. Дубровский, например, пишет, что «произведение искусства нас пленяет полнотой, даже переполненностью своего присутствия». Считая это тоже **главным,** Мочульский приступает к изучению творческой лаборатории Достоевского, распутывая разные тематические нити в самом доступном для читателей анализе тетрадей. Кстати, сейчас эти «планы» к романам переводятся на английский с комментариями Э. Васёлека.

Мочульский уважает текст **и полновесное слово как выражение идеи.** Сочетание «слово и идея» более присуще ему чем правильно отброшенные формалистами «форма и содержание». Через понимание словаря, даже говорка Достоевского, он намечает те основные темы-остинато, которые составляют как бы скрытую гармонию несомненно полифонического искусства писателя: так напр., проклятые вопросы, живая жизнь, совиновность, богоборчество, раненое сердце и т. п.

Мочульский намечает, но не «вещает» эти темы. Нужно сказать, что Достоевский, — в отличие от систематического Данте, с кем Мочульский его в конце книги сближает, — постулирует всегда свободную игру или борьбу идей — даже Бога и диавола, Мадонны и содома. Как мыслитель, он может надеяться, что читатель постигнет добро, но как художник он не может его «насиловать». Compellare entrare бл. Августина ему ненавистна. Его добро незаметное. Его Христос молчит. Гармония скрыта, чтобы сохранилась свобода (кстати, в этом согласны и Бердяев и Бахтин). Но остается вопрос свободы и целеустремленности — «свобода для чего и чтобы делать что?»

А. Небольсин

ГУМИЛЕВ КАК ПРОЗАИК И КРИТИК*

Вышел четвертый, последний, том собрания сочинений Николая Гумилева под редакцией проф. Г. Струве и Б. Филиппова. Редакторами проделана большая работа по выверке и подготовке текстов, по отысканию мало известных и даже вовсе неизвестных произведений Гумилева, и все издание в целом — лучшее из существующих.

Если после выхода третьего тома читатель переоткрыл Гумилева-драматурга, то с выходом четвертого он переоткрывает Гумилева-прозаика. В отчетный том вошли рассказы сборника «Тень от пальмы» (это три новеллы из цикла «Радости земной любви», рассказы «Принцесса Зара», «Золотой рыцарь», «Последний придворный поэт», «Черный Дик», «Дочери Каина», «Лесной дьявол», «Скрипка Страдивариуса», «Путешествие в страну эфира»). Затем даны в отрывках или целиком такие прозаические произведения Гумилева, как «Гибели обреченные», «Черный генерал», «Веселые братья», «Африканская охота». Но что придает изданию особую ценность, это публикация «Записок кавалериста». Вот что о них пишут редакторы издания: — «Эти корреспонденции Н. С. Гумилева с фронта печатались в газете «Биржевые Ведомости» (утренний выпуск) между 3 февраля 1915 и 11 января 1916 года... «Записки кавалериста» никогда не перепечатывались и огромному большинству читателей и почитателей Гумилева неизвестны».

Вошли в четвертый том и статьи Гумилева этнографическо-географического характера. Возможно, конечно, что от внимания соста-

---

* Н. Гумилев. Собрание сочинений в 4-х томах, под ред. Г. Струве и Б. Филиппова. Том IV. Рассказы, очерки, литературно-критические и другие статьи. Вступительная статья В. В. Вейдле. Изд. книжного магазина В. Камкина. Вашингтон. 1968.

вителей ускользнули некоторые прозаические произведения Гумилева. Так, Ирина Одоевцева в замечаниях о четвертом томе собрания сочинений Гумилева говорит, что в 1916 году в «Биржевых Ведомостях» был напечатан рассказ Гумилева «Ленивец и пальма». Видимо, составителям не удалось найти его, а также получить доклад Гумилева в Этнографическом музее в Петербурге, куда он из своих странствий привез дикарские вещи. Однако, редакторы и не вводят в заблуждение читателя, они, естественно, не претендуют на исчерпывающую полноту издания.

В четвертый том входят также статьи Гумилева о поэтике, о русской поэзии, статьи об иностранной поэзии, об искусстве и др. В этой книге Гумилев хорошо представлен как прозаик и как литературный критик.

В художественной прозе Николая Гумилева есть две линии: первая — фантастико-романтическая, в ней писатель дает волю своему богатому воображению; вторая — описательная, реалистическая, в ней художник ярко воспроизводит то, что «глаза мои видели». Иногда обе линии переплетаются, и тогда вполне реальному придается некая метафизическая окраска. Так, «Записки кавалериста» — это цикл фронтовых корреспонденций, как бы альбом батальных зарисовок, объединенных внутренней связью. Гумилеву веришь, когда он пишет, какие испытания пришлось ему выдержать на фронте. Это — очерки о переживаниях человека, нашедшего в себе мужество подавить естественный страх.

О Гумилеве и говорили и писали, что на фронте он закуривал папиросу под неприятельским огнем. Это была, вероятно, бравада, как метод преодоления страха, как закалка мужества. «Записки кавалериста» показывают, что Гумилев-прозаик — выдающийся баталист в русской литературе. Его фронтовые очерки поднимаются до уровня подлинной художественности. Вот характерный отрывок:

«Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я, не отрываясь, смотрел на врагов. Мне было ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий, пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы

преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.

Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности.

Но вот и конец пахотному полю — и зачем только люди придумали земледелие?! — вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился».

Фронтовые зарисовки Гумилева захватывают. В них яркость батальных эпизодов сочетается со стремительным темпом. И в то же время повествование приобретает какой-то «потусторонний» характер. Вот еще один отрывок из «Записок кавалериста»:

«Иногда мы останавливались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные, ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Кабалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в огромный кусок матово-белого льда и полетит вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры».

«Записки кавалериста» — лучшее достижение Гумилева, как прозаика-реалиста, в то время как бóльшая часть рассказов сборника «Тень от пальмы» показывают нам другого Гумилева — романтика и фантаста. К наиболее выдающимся представителям позднего романтизма в русской художественной прозе надо отнести Александра Грина и Николая Гумилева. Именно сборник рассказов «Тень от пальмы» выявляет некую и духовную и формальную общность прозы Грина и Гумилева. Известно, что Грин открыл своим воображением новую часть света, застроив ее городами, заселив людьми. Идя по следам Грина, Гумилев тоже открывает существующую только в его воображении страну. Вот характерный для Гумилева-романтика отрывок из его замечательного рассказа «Путешествие в страну эфира».

«Закрыв глаза, испытывая невыразимое томление, я пролетел уже

миллионы миль, но странно пролетел их внутрь себя. Та бесконечность, которая прежде окружала меня, отошла, потемнела, а взамен ее открылась другая, сияющая во мне. Нарушено постылое равновесие центробежной и центростремительной силы духа, и как жаворонок, сложив крылья, падает на землю, так золотая точка сознания падает вглубь и вглубь, и нет падению конца, и конец невозможен. Открываются неведомые страны. Словно китайские тени, проплывают силуэты, на земле их назвали бы единорогами, храмами и травами. Порою, когда от сладкого удушья спирается дух, мягкий толчок опрокидывает меня на спину, и я мерно качаюсь на зеленых и красных, волокнистых облаках. Дивные такие облака! Надо мной они, подо мной, и густые, и пространства видишь сквозь них, белые, белые пространства. Снова вырастает удушье, снова толчок, но теперь уже паришь безмерно ниже, ближе к сияющему центру. Облака меняют очертания, взвиваются, как одежда танцующих, это безумие красных и зеленых облаков.

Море вокруг, рыжее, плещущее ярко...»

Эти прекрасные строки говорят, конечно, что и в своей художественной прозе Гумилев оставался, прежде всего, большим и своеобразным поэтом.

Гумилева-прозаика переоткрываешь с большим волнением. Но в отчетном томе Гумилев предстает перед читателем и как критик и как специалист по поэтике, в частности, по теории стихосложения. В четвертый том включены его статьи о поэтике: «Жизнь стиха», «Наследие символизма и акмеизм», «Читатель», «Анатомия стихотворения». В пределах краткой статьи нет необходимости подробно останавливаться на теории и практике акмеизма, основоположником которого был Гумилев. Укажу только, что его теоретические статьи выявляют близость Гумилева к формальной школе и в то же время показывают существенное отличие Гумилева от этой школы. Если формалисты в исследовательских интересах занимались анатомическим вскрытием стихотворных трупов, то Гумилев всегда дарует жизнь живым стихотворным организмам.

Статьи и заметки Гумилева о русской поэзии — исключительно ценны и для литературоведа, и для поэта, и для прозаика. Пусть Гумилев не всегда бывал прав в своих суждениях и оценках, но эти его суждения и оценки всегда интересны и обогощающи для русской поэзии.

Гумилев писал и о первоклассных, и о второстепенных и даже о третьестепенных поэтах и прозаиках: о Брюсове и Фофанове, об Андрее Белом и Сандро Корона, об Анненском и Бермане, о Вячеславе Иванове, о Клюеве, о Кузмине, о Балтрушайтисе, о Валериане Бородаевском, о Мандельштаме, о графе Комаровском и многих других. Пересказывать его суждения и давать им оценку — значит перели-

стать много страниц истории русской поэзии начала века. Укажем на немногое. Вот что писал Гумилев об Анненском, как авторе «Фамиры Кифареда»:

«Он ни за что не хотел покинуть существующего, с его ярким, образным языком и нюансами психологии, ради унылой отвлеченности, но для трактовки мифа ему был необходим налет необычности, и он достигал его, причудливо соединяя античность с современностью. Его персонажи взяты из античного мира, они не делают ничего, что не было бы свойственно их эпохе, но их разговоры, за исключением общепоэтической повышенности (драма написана в 1906 году), остро современны».

Если мы обратимся к драматической поэме Николая Гумилева «Гондла», то и там увидим то же сочетание древнего с современным. И в «Гондле», где действие происходит в древней Исландии, Гумилев соединяет свою тему с современностью. Отметим еще (хоть он и очень спорен) отзыв Гумилева о прозе Михаила Кузмина. Этот отзыв, думается, интересен тем, что дает ключ к пониманию прозы самого Гумилева: — «Язык М. Кузмина ровный, строгий и ясный, я сказал бы: стеклянный. Сквозь него видны все линии и краски, которые нужны автору, но чувствуется, что видишь их через преграду. Его периоды своеобразны, их приходится иногда распутывать, но, раз угаданные, они радуют своей математической правильностью. В русском языке есть непочатые богатства оборотов, и М. Кузмин приступает к ним иногда слишком смело, но всегда с любовью... Пушкин интуицией гения понял необходимость такого культа языка и в России и создал «Повести Белкина», к которым жадная до ученичества современная критика отнеслась как к легкомысленным анекдотам. Их великое значение не оценено до сих пор. И неудивительно, что наша критика молчанием обходила до сих пор прозу М. Кузмина, ведущую свое происхождение, помимо Гоголя и Тургенева, помимо Льва Толстого и Достоевского, прямо от прозы Пушкина».

Перейдем теперь к комментариям редакторов. Они какие-то урезанные. Впрочем, скомканность комментариев можно отчасти объяснить размером книги (в ней больше 650 страниц, не считая вступительной статьи), а отчасти м. б. и тем, что проза Гумилева недостаточно исследована. Вступительная статья «Петербургская поэтика» В. В. Вейдле очень интересна, но она уделяет преимущественное внимание поэзии Гумилева и о его прозе не говорит. В комментариях к этому тому, как и к предыдущим Глеб Струве выражает свое неудовольствие высказываниями Георгия Иванова о Гумилеве. Но это вряд ли справедливо. Я думаю, что лучше Георгия Иванова о Гумилеве никто не писал. Г. Иванов с большой художественной силой изображает живого Гумилева: поэта, человека, офицера, художника. Что же касается Г. Струве и Б. Филиппова, то они подходят к мерт-

вому Гумилеву, как работники от литературоведения. Слов нет — они проделали очень большую и кропотливую работу, доказав тем самым, что в литературоведении без статистики тоже не обойтись и их нужно за это поблагодарить.

Вяч. Завалишин

ВЛАДИМИР Ф. ОДОЕВСКИЙ. *Русские ночи.* Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1967.

В серии «Славише Пропилеен» (серия издается проф. Д. Чижевским при участии Дитриха Герхардта, Людольфа Мюллера, Альфреда Раммельмайера и Линды Садник-Айтцетмюллер) фотографическим способом переизданы «Русские ночи» В. Ф. Одоевского (с издания Цветкова, Москва. 1913). С 1913 г. «Русские ночи» переиздаются на русском языке в первый раз. Русскому тексту предпослано обстоятельное вступление Альфреда Раммельмайера (на немецком языке). Автор статьи, как в подходе к творчеству В. Ф. Одоевского в целом, так и в интерпретации «Русских ночей» очень близок к труду П. Н. Сакулина «Из истории русского идеализма. — Князь В. Ф. Одоевский, мыслитель-писатель», Москва. 1913. Чрезвычайно основательно изучив Сакулина и другую литературу об Одоевском, автор дает сжатую, но полную сводку того, как изучалось творчество Одоевского до 1917 г. (тут главная роль принадлежит Сакулину), а также и после революции (здесь автор выделяет Евгению Хин и Ореста Цехновицера). Цель статьи — исключительно информационная, статья не намечает никаких новых путей в изучении литературного наследия В. Ф. Одоевского. Принимая во внимание сравнительно малую известность Одоевского среди современных западных (да и русских) читателей, информационный характер статьи можно считать вполне закономерным. С другой стороны, некоторая методическая и концептуальная однобокость использованных автором критических работ об Одоевском (Сакулина в первую очередь) естественно придает статье Раммельмайера односторонний характер. Так, например, «Русские ночи» статья трактует исключительно в философском аспекте, хотя даже Сакулин, безразличный к литературоведческому анализу, как таковому, помнит об Одоевском-писателе. Статья Раммельмайера тоже, конечно, знает Одоевского-литератора, но в ней, вслед за Сакулиным не содержится почти никаких литературно-эстетических оценок. Безусловная однобокость труда Сакулина искупается его большой эрудицией и тем, что он создал по существу единственный и очень ценный справочник по Одоевскому. Кроме того, нужно помнить, что труд Сакулина не был закончен. В настоящее же время от работ, посвященных творчеству писателей, естественно ждать чисто литера-

туроведческих оценок и постановки литературоведческих проблем (так, неплохо бы было заново пересмотреть вопрос о «Русских ночах», как об определенной художественной структуре, показать Одоевского, как мастера композиции и т. д.). Эти проблемы в рецензируемой статье не затрагиваются. Намеченный в статье вопрос о шеллингианстве Одоевского (тоже в рамках труда Сакулина) ограничивается перечислением биографических фактов и высказываний Одоевского, но не подтвержден соответствующим анализом структуры его произведений. Остается незатронутым чрезвычайно интересный вопрос о связях Одоевского с Жан-Полем Рихтером (материал об этом у Сакулина есть).

Несколько излишняя традициозность постановки вопроса во вступительной статье к новому русскому изданию крупнейшего произведения Одоевского вполне искупается са́мым фактом такого издания и тем исключительным вниманием, которое немецкий исследователь уделяет В. Ф. Одоевскому. Материалы об Одоевском разбросаны по разным изданиям и старым журналам, даже труд Сакулина практически мало доступен. Альфред Раммельмайер собирает их в одной краткой статье. В этом основная заслуга его работы.

О. Ильинский

ЭСТОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИЗГНАНИИ*

Составитель этой книги, профессор Антс Орас преподает английскую литературу в университете штата Флорида, в США. Эстонские поэты и писатели должны быть благодарны ему не только за этот труд, который знакомит огромный мир английского языка с литературой маленькой Эстонии, но также и за его прекрасные переводы эстонских поэтов на английский и немецкий языки.

Эстонская литература в изгнании — это своего рода чудо, творимое народом, который даже в лучшие времена своей независимости насчитывал всего около миллиона человек. За границей — в рассеянии по всему миру — эстонцев сейчас около 70 тысяч. Самые крупные эстонские культурные центры находятся в Швеции, где основано книгоиздательство «Кооператив эстонских писателей» во главе с поэтом Бернардом Кангро, и в Канаде — книгоиздательство «Орто». В США и в Австралии тоже много эстонцев, но живут они там более разбросанно, их книгоиздательства — «Культуур», «Естотайп» — на много меньше. Работа всех этих издательств в послевоенные годы была настолько интенсивна, что общее число страниц выпущенной ими худо-

---

*** Estonian Literature in Exile. Ants Oras, Bernard Kangro. Eesti Kirjanike Kooperativ Lund — Sweden. 1967.**

жественной литературы, по подсчетам поэта Кангро, доходит сейчас до 95 тысяч, тогда как в Советской Эстонии за это же время напечатано всего 65 тысяч страниц.

О чем же пишут эстонские писатели и поэты в изгнании? Свой обзор профессор Орас начинает с маститого поэта Густава Суйтса. Суйтс подлинный поэт изгнания. Свои лучшие стихи он написал еще до независимости Эстонии и потом — после бегства в Швецию в 44 году. Когда Эстония была свободна и независима, Суйтс мало писал. Но для эстонцев он всегда был и остался любимым поэтом, хотя центральное место в эстонской поэзии теперь принадлежит Марии Ундер. «Ее последние стихи освещены внутренним светом и твердым решением довести-дотерпеть до конца. Живость и жизненность ее не померкла даже в последних стихах, написанных, когда ей минуло уже за восемьдесят», пишет профессор Орас. Дальше проф. Орас перечисляет поэтов эмиграции и дает краткие характеристики творчества каждого.

Затем он переходит к прозаикам. Тут можно выделить отдельные темы, близкие эстонскому писателю в изгнании. И я невольно сравниваю их с темами русской эмигрантской литературы того же времени, т. е. после второй мировой войны. «Ощущение трагичности очень глубоко, — пишет проф. Орас, — однако трагичность скорее укрепила нравственную ткань эстонского писателя и никак не умалила его чувство юмора, столь необходимое для душевного равновесия. Для эстонского писателя литература — не предмет роскоши и не средство для материального благополучия. Ведь в эмигрантских условиях совершенно очевидна призрачность коммерческой выгоды. Литература для эстонца — средство выражения сути и смысла его бытия. Жизнь в больших городах не обезличила его, он сохраняет связь с природой даже в чуждом ему окружении». Так пишет профессор Орас о самом основном в эстонском писателе: о его связи с природой, с землей. Эстонцы называют себя «деревенским народом». В Эстонии всегда было одно сословие — крестьяне, поэтому эстонская интеллигенция не «выходила из народа», как в России, а оставалась в глубине своей тем же крестьянином. Даже у такого утонченного поэта, как Алексис Раннит, встречаются в стихах крестьянские мотивы. Эстонские писатели в эмиграции немало строк посвящают воспоминаниям о деревне, о родном хуторе, рассказывают деревенские истории о милой, независимой родине.

Аугуст Мяльк, с острова Сааремаа, пишет в основном о самом близком прошлом и о людях, окружавших его с детства, об эстонских островитянах, непохожих на эстонцев с большой земли, о людях странноватых, суровых, скрытных. Эстонская история дает богатый материал двум другим писателям — Хельбемяе и Кальмус. Средние века, владычество Ливонского Ордена, датчан и шведов, начало христиан-

ства в Эстонии — все эти темы как-то внутренне перекликаются с сегодняшним подневольным положением Эстонии.

Интересно сочетает прошлое, настоящее и будущее Эстонии Бернард Кангро в серии романов о его родном городе Тарту. «Кангро возрождает атмосферу университетских лекций, жизни студентов, их споров, мечтаний в кафе, в тени парков, в прогулках по реке Эмайыги, — пишет профессор Орас. — Все это правдиво списано с жизни и все-таки все преображено, доведено до границы между явью и сном». В старом, в военном, и после-военном Тарту живет и действует провинциальный юрист Пернамбук, существо полу-реальное, скорее дух самого города, в который автор, под именем Марана, возвращается после войны и изгнанья. Жаль, что проф. Орас не отметил своеобразный прием, как у Кангро, так и у Альберта Кивикаса, тоже прибегавшего к фантастике. У них обоих герои, такие, какими они стали на чужбине, на какое-то время — и не совсем реально — попадают на оккупированную родину. Оба писателя мастерски использовали разность в языке эмигрантов, говорящих на чистом эстонском, и местных эстонцев, говорящих уже на сильно советизированном, как бы переводном с русского, языке.

Выберу из книжки профессора Ораса еще нескольких писателей, пишущих на темы, которые почти не встречаются в русской зарубежной литературе, например, о дипийных лагерях. Герт Хельбемяе в романе «Непрожитая жизнь» описал быт дипийного лагеря близь Любека; жизнь в бельгийских шахтах и судьбы перемещенных лиц отражены в романе Айно Тоен «Страна серых холмов». Трудное одиночество, усугубленное условиями дипийного прозябания в лагере — тема романа «Путь и истина» писательницы Реед Морн. Продолжение дипийной темы с вплетающейся в нее темой жизни уже на новой родине — в Канаде — в романах молодого писателя Арви Корк. Он начинает с «Четырех мушкетеров» — приключения четырех молодых эстонцев в послевоенной Германии. Затем в романе «Короли улицы» показывает борьбу полицейского из эмигрантов (вероятно, самого автора, — указывает проф. Орас), с бандой молодых преступников в Канаде. «Строители плотины» — третий роман Корка, рассказывающий о постройке плотины в медвежьем углу Канады и о том, как сплетаются судьбы эмигрантов и канадцев в этой суровой стране. О Канаде, о том, как вживаются эстонцы в новую родину пишет и Сальме Экбаум в романе «Дом теней», о буднях большого канадского госпиталя.

Отдельно от других писателей стоит Арвид Вийрлайд, писатель с совершенно необыкновенной судьбой. «Две его книги — обе об условиях жизни за железным занавесом — возбудили большое внимание и были переведены на многие иностранные языки, — пишет проф. Орас. — Это «Могилы без крестов» — потрясающий фактический

отчет о деятельности партизан, «лесных братьев», в оккупированной Эстонии; и «Дождь в реку» — роман о злоключениях эстонского офицера в советских концлагерях и его бегство из Советского Союза». Профессор Орас считает эти книги, особенно последнюю, «честным документом, вызывающим на размышления и обнадеживающим». Нам, русским, тяжело их читать из-за кипящей ненависти ко всему русскому, ибо Вийрлайд не делает разницы между казенной идеологией и народом.

Совершенно в ином духе светлые и добрые исторические романы Карла Ристикиви. Начал он «реалистом 19-го века», — пишет о нем проф. Орас. Но бегство из Эстонии, как из охраняемой стражами тюрьмы, изменило писателя. Десять лет эмигрантской жизни прошли в молчании, и потом вышла «Ночь всех святых», не роман, а скорее аллегория, в полусонных видениях вскрывающая суть эмигрантского существования.

Дальше вышли исторические романы, которые на первый взгляд должны были бы увести читателя от сегодняшнего дня в седую старину времен крестовых походов. Но они не уводят. «В большинстве из них описывается борьба за дело, с самого начала отмеченное безнадежностью. В его романах падают последние крепости, гибнут последние рыцари, уходят последние крестоносцы», — пишет проф. Орас. Я измеряю героев Ристикиви моей эмигрантской меркой. Нерастленные неверием, они с верой гибнут во имя идеи, поэтому гибель их светла и не бесполезна.

Русские послевоенные эмигранты мало обращают внимания на приютившие их страны. У эстонцев это иначе. Германия, Бельгия, Канада, Англия органически вливаются в повествование об эстонских судьбах. Карл Аст-Румор многие годы был эстонским представителем эмиграции при бразильском правительстве. Отсюда его роман «Распятие» — о религиозных фанатиках в глуши Бразилии, живущих в условиях почти каменного века. Проф. Орас выделяет этот роман как произведение, в котором Гомер, Рабле и Аристофан сплелись в одно исключительно богатое целое.

Характеризуя того или иного писателя, проф. Орас часто употребляет выражение «хмурый юмор эстонца». Но к Аугусту Гайлиту это не подходит, он по натуре пересмешник, рассказчик. В независимой Эстонии он был лучшим юмористом. Беженство укротило его безбрежное воображение, но Гайлит остался острым наблюдателем, рисуя резкие и острые картины эмигрантского быта, смеша и смеясь сам. Кандидатом на титул лучшего юмориста в изгнании проф. Орас предлагает молодого профессора университета в Турку — Финляндия — Ильмара Тальве. Его «Странствия Югансона» — полуавтобиографический отчет о приключениях группы молодых эстонцев, участников финско-советской войны, попавших под занавес в Германию, с легкостью может вызвать на соревнование «Солдата Швейка».

Третье поколение эстонских писателей в изгнании уже не видело родной страны. «Они принимают, как неизбежное, свое положение между двумя мирами, — пишет проф. Орас, — чужеземное влияние в них сильнее, они более «современны» в смысле отражения существующих на Западе литературных течений». Они пишут еще по-эстонски, но уже не на эстонские темы.

«Эстонская проза в изгнании остается живой, остро отзывающейся на проблемы сегодняшнего дня, и творчески воскрешает прошлое... Это здоровое творчество, не скрывающее трагичности, но не бедное и юмором. Эстонская проза — плод крепкого и много испытавшего народа». Так заканчивает проф. Орас главу об эстонской прозе в изгнании.

Мемуарам не писателей, а прежних общественных и политических деятелей, литературной критике и периодической печати посвящена отдельная глава. Проф. Орас упоминает также о деятельности эстонских эмигрантских издательств, печатающих труды опальных в оккупированной Эстонии писателей. Переиздаются и эстонские классики.

Эстонская эмиграция моложе русской. Начало ее можно отнести к осени 44-го года. Но у эстонцев долгий, семисотлетний опыт борьбы с иноземным окружением за сохранение своего национального лица. Этот опыт, вероятно, и погогает 70-ти тысячам эстонцев не раствориться в многомиллионном мире.

Т. Петровская

В. ПАНОВА. *«Тредьяковский и Волынский».* Историческая драма. «Нева», № 6, Ленинград, 1968.

Несмотря на тяжеловесный подзаголовок — «историческая драма» — пьеса Веры Пановой — довольно необычный в современной советской литературе пример сочетания интересных мыслей с легкостью и даже «изяществом» выражения. Как и в современной западной, в особенности французской, «исторической драме» — язык почти разговорный, и разговор — на темы близкие и волнующие. Нет излишества архаизмов, ничего затрудняющего тему; и в то же время ненавязчивым и часто неуловимым образом привнесен дух той эпохи, когда жил Тредьяковский, перекликающейся с совсем близкой нам современностью.

Вся пьеса — на одном большом и широком дыхании, вся она — прелюдия страшного (но не длинного) монолога, заключающего пьесу и ее мысль:

«Господи... спаси меня, грешного... Спаси от вражды, от клеветы, от сих кровожаждущих, свирепствующих, друг друга и людей губящих бессмысленно... Господи, оставь мне смиренный мой удел, риф-

мы мои мне оставь и труды мои в поисках слова... Ибо какой ни есть мой удел, но насколько же ихний страшнее...»

Тредьяковский, «рифмы» которого могут показаться, на наш сегодняшний взгляд, несколько незамысловатыми — фигура прежде всего созерцающая, пассивная. Главное в пьесе — противопоставленный и, как правило, враждебный ему мир насилия, интриг, жестокости и зависти, мир, которого придворный поэт не может избежать, как ни бежит — как белка в колесе он вертится вместе с ним. Он и не может без власть имущих и «содрогается их». С его судьбой чем-то сходна судьба поэта 20-го века О. Мандельштама.

Тредьяковский разработал «двухсложных стоп падение», владевшее русским стихом после него в течение 200 лет. Он, повидимому, «предчувствовал» даже больше, чем мог высказать, но это «предчувствие» — в толковании В. Пановой — он пронес в своей жизни высоко, несмотря на трудную, почти страшную судьбу.

Во второй, пожалуй, лучшей сцене пьесы — разговор Тредьяковского со своей «музой» и с Марфой Петровной:

«**Марфа Петровна:** Уж вы скажете. Чего ради мне-то пустяками заниматься?

Тредьяковский: Ан не пустяки. И, верую, услышу себе за свои занятия спасибо от потомков.

Девушка с лютней: Услышишь. Веруй.

Марфа Петровна: ...Жалко мне вас, Василий Кирилыч. Все-то **вы** беспокоитесь, все-то колотитесь, кто его знает об чем.

Девушка с лютней: Пускай беспокоится. В этом его счастье».

Я. Б.

ИРАИДА ЛЕГКАЯ. *«Попутный ветер»*. Изд. Камкина, Вашингтон, 1968.

Просматривая литературную критику 1920-ых гг., замечаешь что о женщинах, писавших стихи, тогда было принято говорить как о какой-то отдельной категории поэтов. Самый разительный пример такой, повидимому бессознательной, «сегрегации» дает книга Льва Троцкого о русской литературе, где почти каждое упоминание имени Ахматовой ведет за собой неизбежную вереницу имен Цветаевой, Одоевцевой, Шкапской и т. д. По такому «половому» признаку объединялись в группу поэты ничего иного общего между собой не имевшие. Да и эмигрантские критики того времени, давая отзывы о Цветаевой, неизменно считали нужным сравнивать ее с Ахматовой, и только зоркий и независимый кн. Д. Святополк-Мирский сопоставил Цветаеву с Пастернаком (а Ахматову — с Ходасевичем), что исходит из творческого облика сравниваемых поэтов и, конечно, более плодотворно для понимания их поэтической сути. И не стремилась ли

большой поэт Зинаида Гиппиус избежать такого особого «загона для поэтесс» когда так упорно писала в своих стихах о самой себе в мужеском роде?

Теперь этот обычай разделять пишущих стихи на поэтов и поэтесс как будто вышел из употребления. Не приходится и странно было бы доказывать, что поэтесса поэтессе рознь. Более того, можно даже предложить как раз противоположную классификацию (не претендующую, конечно, на литературоведческую серьезность): женщин, пишущих стихи, можно попробовать разделить на поэтесс и на поэтов-женщин. В первом случае в тематике, в ви́дении мира, в системе разрабатываемых поэтических приемов явственно проступает чисто-женский подход (Ахматова, Одоевцева), во втором — общечеловеческий опыт заслоняет специфически-женское в данном поэте (З. Гиппиус). Марина Цветаева была ярко выраженной поэтессой в своих первых двух сборниках, но с книги «Версты I» стала поэтом вообще. Среди русских поэтов-мужчин 20-го века преобладают поэты tout court, хотя известны случаи, когда у поэтов сугубо-мужское преобладает над общечеловеческим: Гумилев и, пожалуй, Маяковский. Можно даже постулировать добавочную категорию мужчин-поэтесс, в творчестве которых наличествует и женская оптика и женская отделка формы: Игорь Северянин, например, или Анатолий Штейгер, с его прозрачной, как бы девической лирикой, чувствительной и целомудренной.

Ни к литературным достоинствам, ни, тем менее, к интимной жизни упомянутых поэтов эти наблюдения, конечно, отношения не имеют. Речь идет о разновидностях и оттенках душевного склада поэтов. Возникли же эти соображения в связи с попыткой пишущего эти строки понять «в чем же, наконец, существо» поэзии Ираиды Легкой, «и в чем ее особенность».

Да, повидимому, Ираида Легкая — поэтесса. Подход к поэзии, круг затрагиваемых вопросов, интимность, повышенный интерес к собственным душевным движениям, — все это очень женское или, если угодно, дамское, в том очень хорошем смысле, который в английском языке выражается словом ladylike. Но вчитываясь в стихи сборника видишь, что главное в нем не в этой бросающейся в глаза дамскости. Есть в сборнике и очевидная выучка парижской школы 30-ых годов — шепоток, бормотанье, скромность, «несколько слов о самом главном». Но эти парижские нотки, как и дамская интимность, в стихах Ираиды Легкой только внешняя оболочка, только необходимая (и очень изящная) шелуха, легко отсеивающаяся при внимательном прочтении книги.

Главное же — в очень своеобразном поэтическом дыхании этих стихов, в этом свежем ветре, который озорно и радостно веет сквозь всю книгу. Сборник озаглавлен на редкость удачно. Именно «Попутный ветер» — основной образ, центральная метафора лучших стихов

Ираиды Легкой. Она — поэт ветра, как ранний Пастернак был (по мнению Цветаевой) поэтом дождя. Не блоковский ветер, от которого «на ногах не стоит человек», не брюсовский ветер «Третьей осени», метущий просторы России и не пастернаковский вихрь, а разве скорее цветаевский — хороший, сквозной ветер, который по ночам беседует с поэтом и может дуть «сквозь стенки тонкие груди — в грудь». Этот-то свободный ветер сдувает со стихов Ираиды Легкой налет обыденности, разрывает привычную последовательность поэтических строк и образов и делает эти стихи своеобразными и самостоятельными. Дольники, вольный стих, канонические размеры, рифмованные и нерифмованные строки причудливо перемешаны. Знаки препинания? Они Ираиде Легкой как-то не понадобились и она ими не пользуется. Есть стихи очень произвольные, разбросанные по форме и рядом строгое применение музыкального приема раководной имитации (canon cancrizans) в стихотворении «С ветром заодно». Все это делается сознательно, все органично и оправдано, без оригинальничания.

Стихи Ираиды Легкой по настоящему оригинальны внешне и внутренне и эта оригинальность радует. Ей есть, что сказать, читать ее увлекательно и интересно.

Поэтесса ли после всего сказанного Ираида Легкая или женщина-поэт? А не все ли равно?

Семен Карлинский

HYMNOLOGIE STAROCHORVATSKA.

Редакция «Нового Журнала» получила из Праги некоторые книги и оттиски. Отчетная работа представляет собою отдельный оттиск из издания 1890 г. «Вестника королевского чешского о-ва наук», 78 страниц. Автор ее — К. Конрад был одним из известных знатоков славянской, главным образом, чешской и польской церковной музыки и пения. Если о столь старом оттиске я решаюсь написать, то потому, что теперь в России опять пробудился интерес к древним церковным напевам, к осьмогласию XVI и XVII вв., к т. наз. **знаменным** распевам (большому и малому). Работы И. Гарднера и М. Бражникова это доказывают. В труде К. Конрада приведен ряд интересных нот по гимнологиуму издания 1757 г. Это известный сборник «Кифара осьмиструнная». Здесь отмечены два слоя — народно-хорватский, югославянский напев и грегорианский. Сделаны интересные ссылки на работу 1651 г. Петра Петретича, где он нападает на «нехристианские» песни народа в церкви. Для изучающих наши древние распевы очень полезно вспомнить и использовать труд К. Конрада. После 1788 г. в Хорватии уже не пелись в церквах песни народного типа.

Р. П.

SLAVOMIR WOLLMAN. Slovo o pluku Igorově jako umělecké dilo. Praha. 1958.

В «Известиях Чехословацкой Академии Наук» за 1958 г., тетрадь № 10, вышла обширная работа Славомира Воллмана «Слово о полку Игореве, как художественное произведение». В этой чешской работе сделана интересная попытка разбить «Слово» на стихи. Деление отличное от попыток и Е. Ляцкого и Д. Лихачева. Работа С. Воллмана вышла давно, но она только сейчас дошла до нас и о ней хочется отозваться.

Воллман делает упор на разбор художественной стороны «Слова о полку Игореве», т. е. упор на «проблемы художественного строя, структуры «Слова»; он ищет в самом «Слове» «закономерность его собственной художественной структуры». Поэтическая намеренность является нераздельной частью основной художественной идеи «Слова», цели произведения. «Слово» — «намеренное сцепление чередующихся образных экспозиций эпического и лирического характера».

Автор отмечает эвфемизмы, стилизацию, сокращения, тропы в тексте произведения, вводные формулы и специфические концовки, а равно метафоры, восклицания, апострофы и антитезы. По мнению исследователя, в тексте наличествует ритмическая расчлененность, которой соответствует и стилистико-синтаксическое деление, два или больше стихов образуют строфу. Для своего деления на стихи Воллман преимущественно опирается на **фигуры повторений,** ритм же «Слова» «основан на **изосинтаксизме».** «Слово» предназначалось-де для громкого музыкального исполнения (гусли), оно доказывает «существование древней русской поэзии».

Работа интересная и написана человеком вполне знакомым с трудами многочисленных специалистов по древнерусской письменности и народной поэзии. Но само деление «Слова» на стихи очень спорно. Корш, Ляцкий, Лихачев и Воллман далеко не сходятся. Сам смысл ряда мест тоже не всегда ясен: «и схоти ю на кровать и рек» (Орлов); «исходяй кровию, тъи рек» (Ляцкий); «а с хотию на кров, а тьи рек» (Воллман) и т. д. Или: «Утрѣ же вонзи стрикусы» (Воллман); екатерининская копия дает «утръже вазнистри кусы». Якобсон, Соловьев и Лихачев читают «Утр'же вазни с три кусы». Тогда, если здесь древнерусское слово **вазнь,** что приблизительно было — удача, счастье — то текст совсем имеет другое значение, т. е. — урвать с три куска удачи. А. В. Соловьев уже давно доказал, что слово **стрикус** неизвестно ни в Византии, ни на Руси, ни на Западе или среди тюрков. Слово же **вазнь** упоминается уже в Изборнике 1073 г. (Срезневский, «Материалы для словаря»). Е. Ляцкий хорошо знал русские былины и умел петь их, как северные сказители. Ляцкий, напр., так делит песнь о бегстве от половцев князя Игоря:

«Игорь спит, Игорь бдит,
Игорь мыслию по́ля ме́рит».

Воллман же совершенно иначе:

«Игорь спит,
Игорь бдит,
Игорь мыслию поля мерит».

Вообще он делит «Слово» на очень краткие стихи, что противоречит русской и даже древней югославянской эпической поэзии. Против же деления на гипотетические неравносложные стихи были такие знатоки древней письменности как Тихонравов, Орлов, Гудзий и др. Все же книга Воллмана интересна свежим подходом к поэтике и реторике «Слова». Автор ее очень чуток к ритму и его связи с фигурами, припевами, аллитерациями и вообще к словесно-звуковой инструментовке «Слова».

Р. П.

ПРОТ. С. ЛЯШЕВСКИЙ. *История христианства в земле русской с I-го по XI-й век и Очерк по преистории России.* Балтимора. 1968.

Когда пишешь библиографическую заметку, то невольно думаешь и о читателе и об авторе. Книга протоиерея С. Ляшевского трогает любовью к России, христианству, самоотверженным изданием труда на свой счет. Но, увы, этот труд есть смешение далеко идущих гипотез, неучитывания элементов сравнительного языкознания, опущения капитальных трудов больших ученых. Просмотр библиографии нас сразу настораживает. Нет иностранных трудов или трудов на иностранных языках больших ученых, мирового значения. Где Е. Миннс «Скифы и греки», 1913; где трехтомный труд на английском языке проф. Ростовцева (1941) «Социальная и экономическая история эллинистического мира»? Куда пропали все труды самого крупного археолога-историка по славянским древностям Любора Нидерле? Но зато дважды приведены ненаучные брошюры С. Лесного. Нет в книге и основного для ученого отбора и серьезной критики источников. «Влесовая летопись», эта подделка без знания развития прославянских черт языка, без знания и в области древнерусского, вводится, как важнейший элемент. Напрасно о «Влесовых таблицах» отрицательно отозвалась и Академия Наук СССР и такие крупные знатоки Византии и русской древности, как проф. Женевского университета А. В. Соловьев. Отец Ляшевский этим пренебрегает. Книга его напомнила мне несерьезный двухтомник Ю. Сазоновой. Любовь, чтение того, что нравится, смелость фантазии, преданность России. Для лиц сведующих и могущих отличить факты от домысла интересны стр. 73-78 и 95-103 и стр. 7 о Тавроскифах.

Р. П.

ИЗВИНЕНИЕ

Редакция «Н. Ж.» вынуждена принести своим читателям извинение. В кн. 93 «Н. Ж.» были опубликованы, как «неизвестные» три стихотворения И. Бунина. На самом деле неизвестным является только одно (первое). Два других были напечатаны еще до революции и вошли в собрание сочинений, опубликованное в СССР. Мы получили эти стихи от Л. Ф. Зурова из архива Бунина, но, к сожалению, в спешке не успели проверить были ли они напечатаны. РЕД.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Г. В. ПЛЕХАНОВ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В кн. 92 «Н. Ж.» в интересных воспоминаниях недавно скончавшейся Т. И. Алексинской о событиях 1917-1918 гг. говорится (как и у многих других мемуаристов), что Г. В. Плеханов в свое время сказал: «Если в России революция победит, то победит как рабочая революция». Не знаю, кто первый пустил в оборот эту фразу, якобы сказанную когда-то Плехановым, но ее повторяли даже и такие знатоки истории русской общественной мысли и революционного движения, как М. В. Вишняк и М. А. Алданов, а между тем она совершенно неверна. Плеханов **ничего подобного никогда не сказал** и **не мог сказать.** А вот что Плеханов действительно сказал в своей речи на Учредительном Конгрессе Второго Интернационала в 1889 году в Париже:

«Силы и самоотвержение наших революционных идеологов могут быть достаточны для борьбы против царей, как личностей, но их слишком мало для победы над царизмом, как политической системой. Задача нашей революционной интеллигенции сводится поэтому к следующему: она должна усвоить взгляды современного, научного социализма, распространять их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. **Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может».** (См. женевский сборник группы Освобождения Труда «Социал-демократ», 1890 г., стр. 29). Плеханов говорил не о победе «рабочей», то-есть социалистической революции в России, а о победе **революционного движения рабочих** в борьбе против самодержавия. С начала 80-ых гг. и до революции 1917 года Плеханов не переставал указывать, что ближайшая задача революционеров и социалистов в России — завоевание политической свободы и установление демократического строя. А в революции 1917 года он проповедывал необходимость объединения всех жи-

вых сил страны для победы над внешним врагом, укрепления демократического строя и проведения коренных социальных реформ, необходимых для дальнейшего развития и процветания России. Как и в 80-ых гг., так и в 1917 году Плеханов неустанно повторял: «Толковать об организации социалистического общества в нынешней России значит вдаваться в несомненную и притом крайне вредную утопию». (См. Г. Плеханов. «Год на родине». Статьи и речи 1917-1918 гг. Париж, 1921).

Д. Шуб.

Многоуважаемый г-н редактор,

Наше примечание № 6 к письму Федина к Замятину от 13.11.1933 г. («Н. Ж.» № 92) попало в печать сокращенным и это изменило его смысл. Не откажите в любезности напечатать его полностью:

6. Судя по тому, что Федин заехал в Москву по пути заграницу, эта встреча писателей с членами правительства состоялась в первой половине октября 1933 г. Следует отметить, что даже в самых объемистых советских трудах о Горьком и советской литературе эта встреча совсем не упоминается. Говорится лишь об аналогичной встрече на квартире Горького 26 окт. 1932 г., когда Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ» и высказал свое мнение о социалистическом реализме.

Федин не мог присутствовать на встрече 26 окт. 1932 г., он в это время лечился в Германии (см. наше предисловие к его письмам). Попутно мы хотели бы исправить нашу ошибку в названии г. Санкт-Блазиен, который указан в примечаниях как Сан-Блазиен.

Г. Ермолаев, А. Шейн

КОГДА НАПИСАНО «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»?

Многоуважаемый Роман Борисович!

Читая интересную статью проф. Д. Чижевского «Эвгемеризм в старославянских литературах» («Н. Ж.» № 92), в разделе пятом я нашел следующее утверждение: «От летописи... мы можем сделать шаг ко времени на несколько десятилетий более позднему: к «Слову о полку Игореве», написанному между 1185 и 1187 годами». Мне кажется, что исследованиями и трудами многих современных ученых, в том числе Д. Лихачева, убедительно доказано, что «Слово о полку Игореве» было написано в 1187 г. Оно заключается славой молодым князьям, в том числе и Владимиру Игоревичу, вернувшемуся из половецкого плена только в том же, 1187 году. Конечно, «Слово о полку

Игореве» написано по свежим следам недавних событий, оно полно напоминаний о непритупившемся горе и непосредственных впечатлений участника похода. Поэтому можно полагать, что его свидетельство об участии в Киевском торжестве Владимира Игоревича является достоверным. В пользу этого говорит и отсутствие упоминаний о событиях, имевших место после 1187 года: — смерть Ярослава Осмомысла Галицкого к концу 1187 года, смерть буй-тура Всеволода в 1196 г. и многие другие события последующих лет. Мы не в состоянии указать точное время написания «Слова», но год написания, 1187, мне думается, не подлежит сомнению. Хотелось бы услышать мнение по этому вопросу проф. Д. Чижевского.

Уважающий Вас

Проф. В. Седуро

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

В. ВЕЙДЛЕ. *Безымянная страна.* ИМКА-Пресс. Париж. 1968 (166 стр.)

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. *В круге первом.* Роман. Харпер энд Роу. Нью Иорк. 1968 (515 стр.)

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. *Раковый корпус.* Повесть в 2-х частях. ИМКА-Пресс. Париж. 1968 (446 стр.)

Н. ГУМИЛЕВ. *Собрание сочинений.* Т. 4. Под ред. проф. Г. Струве и Б. Филиппова. Изд. кн. маг. В. Камкина. Вашингтон. 1968 (654 стр.)

ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ. *Поздний гость.* Т. 1. Стихи. Изд. кн. маг. В. Камкина. Вашингтон. 1968 (243 стр.)

СЕРГЕЙ КОСМАН. *Маяковский. Миф и действительность.* Париж. 1968 (83 стр.)

АННА АХМАТОВА. *Сочинения.* Т. 1 и 2. Редакция Г. Струве и Б. Филиппова. Вступ. статьи А. Раннита, В. Франка, Никиты Струве и Б. Филиппова. Межд. Лит. Содружество. Вашингтон. 1968 (467 и 615 стр.)

РОМАН ГУЛЬ и ВИКТОР ТРИВАС. *Товарищ Иван.* Пьеса в 3-х актах и 9-ти картинах. Изд. «Мост». Нью Иорк. 1968 (64 стр.)

ГР. В. П. ЗУБОВ. *Страдные годы России. Воспоминания о революции (1917-25).* Финк Ферляг. Мюнхен. 1968 (157 стр.)

Н. ЕЛИНА. *Данте. Критико-биографический очерк.* Изд. «Художеств. Литература». Москва. 1965 (198 стр.)

А. ВОЛЬСКИЙ. *Умственный рабочий.* Международ. Лит. Содружество. Нью Иорк. 1968 (432 стр.)

Н. М. МЕЛЬНИКОВ. *А. М. Каледин — герой луцкого прорыва и донской атаман.* Изд. «Родимого края». Испания. 1968 (374 стр.)

К. АРЕНСКИЙ. *Письма в Холливуд.* По материалам архива С. Л. Бертенсона. 1968 (264 стр.)

Д. КАНЕВСКИЙ. *На запад.* Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1968 (178 стр.)

С. М. ШВАРЦ. *Социальное страхование в России в 1917-1919 годах.* Изд. Russian Institute, Columbia University. Нью Иорк. 1968 (204 стр.)

М. М. ГЕОРГИЕВИЧ. *Свет и тени.* Воспоминания. Изд. автора. Сидней. 1968 (104 стр.)

А. ХИРДОВ. *Нашей жизни дни.* Скетчи, юморист. рассказы и др. Лос Анжелос. 1969 (200 стр.)

ГАЛИНА СЕЛЕГЕНЬ. *Прехитрая вязь.* Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1968 (222 стр.).

А. ФЕДОРОВ. *Острые годы.* Стихи. Изд. автора. Мюнхен. 1968 (54 стр.)

ROMAN JACOBSON. *O Cheshskom Stikhe Preimushchestvenno v Sopostavlenii s Russkim.* Brown University Press. Providence. 1969 (p. 125)

WILLIAM W. ROWE. *Dostoevsky. Child and Man in His Works.* N. Y. University Press. New York. 1968 (p. 242)

MIKHAIL BULGAKOV. *Heart of a Dog.* Transl. by Myrra Ginsburg. Grove Press Inc. New York (p. 123)

DMITRIJ TSCHIZEWSKIJ. *Abriss der Altrussischen Literatur.* Fink Verlag. Muenchen. 1968 (S. 152)

Last Door to Aiya. A selection of the best new science fiction from USSR. Edited and translated by Myrra Ginsburg. S. G. Phillips. N. Y. 1968 (p. 192)

SVEN LINNER. *Dostoevskij on Realism.* Almqvist-Wiksell. Stockholm. 1967 (p. 211)

PETER HERRMANN. *Die Verfassungspolitischen Vorstellungen der Russischen Emigration.* Muenchen. 1968 (S. 142)

VLADIMIR MARKOV. *Russian Futurism: a History.* University of California Press. Berkeley. 1968 (p. 467)

ALEX M. SHANE. *The Life and Works of Evgenij Zamjatin.* University of California Press, Los Angeles. 1968 (p. 302)

D. B. POWERS. *Dictionary of Irregular Russian Verb Forms.* John Wiley & Sons, Inc. New York. 1968 (p. 353)

ANDRE VON GRONICKA. *The Russian Image of Goethe.* University of Pennsylvania Press. Philadelphia. 1968 (p. 304)

Essays in Russian Literature. The Conservative View: Leontiev, Rozanov, Shestov. Translated by Spencer E. Roberts. Ohio University Press. Athens. 1968 (p. 392).

СТРАННИК

«УПРАЗДНЕНИЕ МЕСЯЦА», поэма.
Цена — 2 доллара

ИВАН ЕЛАГИН

«ОТСВЕТЫ НОЧНЫЕ», стихи.
Цена — 2 доллара

РОМАН ГУЛЬ и ВИКТОР ТРИВАС

«ТОВАРИЩ ИВАН», пьеса в 3-х актах.
Цена — 2 доллара

ROMAN GOUL and VICTOR TRIVAS

"COMRADE IVAN". A Play in 3 Acts.
Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood.
Price — $2.00

ЮРИЙ КРОТКОВ

«ПИСЬМО МИСТЕРУ СМИТУ».
Цена — 1 дол. 50 ц.

•

Заказы на эти книги можно направлять в «Новый Журнал».

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ПАНТЮХОВ

«О ДНЯХ БЫЛЫХ».

Воспоминания. Детство на Кавказе. Тифлисский корпус. Киев. Павловское училище. Служба в Царском Селе. Скауты. Государь. Война и многое другое.

Роскошное издание, 360 стр., 52 фотографии.
Цена 7 дол. 50 ц. с пересылкой.

•

Заказы направлять:
DURAND HOUSE, Publishers.
Post Office Box 162, Maplewood, N.J. 07040.USA

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

•••

В 1969 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

•••

Подписная цена 10 долл. в год (за 4 книги)
Цена одной книги — 3 долл.
Во Франции — 10 франков

•••

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.